

Констанция де ла Мора

Р178361

ВМЕСТО
роскош

ОГИЗ

ГОСЛИТИЗДАТ

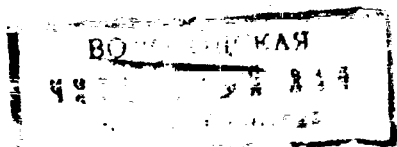


КОНСТАНСИЯ ДЕ ЛА МОРА

ВМЕСТО РОСКОШИ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
М. КЕССЕЛЬ

106/1



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1943

Constancia de la Mora

In Place of Splendor

*The Autobiography
of a Spanish Woman*

I

ДЕТСТВО В СТАРОЙ ИСПАНИИ

(1906—1923)

Я родилась в Мадриде, в холодный январский день 1906 года. Нищих, что сидели на ступеньках церкви Лас Салесас, на площади Дворца юстиции, как раз за нашим домом, насквозь пронизывал резкий ветер, дувший со Сьерры,—ветер, который «не задувает и свечи, но убивает человека».

А в спальне моей матери было тепло и уютно. В нашем доме, одном из немногих мадридских домов, имелось центральное отопление. Драпир из тяжелой, упругой голубой парчи защищали от ветров Сьерры мою мать, лежавшую на широкой кровати стиля Людовика XV. Старая толстая акушерка и домашний врач не отходили от нее.

В соседней комнате нервно шагал молодой супруг и думал о своем сыне, который с минуты на минуту должен был появиться на свет. Ребенка ожидало блестящее будущее. Мой отец, Херман де ла Мора, несмотря на молодость, был главным директором одной из двух крупнейших мадридских электрических компаний. Он получал хорошее жалованье; кроме того, ему досталось небольшое состояние от отца. Но самым важным в судьбе своего первенца он считал то, что это будет внук дона Антонио Мауры — друга испанских королей, лидера консервативной партии, неоднократно занимавшего пост премьер-министра.

Херман де ла Мора остановился перед фотографией своей жены, Констансии Маура, приглушенные стоны которой доходили к нему сквозь тяжелую парчу. Снимок был сделан еще до замужества Констансии: ей тогда шел двадцать второй год. На садовой скамейке, выпрямившись, сидела де-

вушка в плотно облегавшем ее фигуру платье и огромной, отделанной фиалками, шляпе. По счастливой случайности фотографу удалось отчасти передать красоту и обаяние этой черноволосой девушки, с прямым носом, немного полной нижней губой и гордой посадкой головы. Ее не портила ни убийственная шляпа, ни безвкусный фон.

Херман де ла Мора женился на ней по любви,— в тог-
дашнем Мадриде это носило характер скандала. Прекрасно
воспитанная, знатного рода, Констансия обладала всеми ка-
чествами, каких требует от жены испанский аристократ.

Дон Антонио Маура и его крайне набожная супруга вос-
питали Констансию в весьма строгих правилах. Чтобы усо-
вершенствоваться во французском языке, она, как и все
юные испанские аристократки того времени, отправилась в
Париж и поступила в школу Сердца Христова. Большого
приданого у нее не было: дон Антонио Маура принадлежал
к числу тех немногих испанских политических деятелей, ко-
торых даже злейшие враги считали честными людьми. И все
же мой отец с глубоким удовлетворением думал о том, какой
удачный выбор он сделал, и о маленьком сыне, который вот-
вот огласит комнаты своим криком.

Дверь спальни отворилась. Вошел врач и сообщил о моем
рождении. Мечта о сыне не сбылась. Отец стоял неподвижно,
глядя на плачущего ребенка, красного, с темным пушком на
голове. Наконец он улыбнулся. Все-таки это его ребенок.
может быть и лучше, что сначала девочка.

В течение ближайших лет мои родители напрасно мечтали
о сыне: он появился значительно позже. Сперва в этой самой
комнате, завешанной голубыми парчевыми драпри, мать, одну
за другой, родила четырех девочек.

Моя кормилица приехала в Мадрид из галисийской де-
ревни. Своего ребенка ей пришлось оставить на попечение
мужа, который, как и все батраки в Галисии, сидел зимой
без работы: ее жалованье должно было обеспечить семье
кусочек хлеба. Приехала она как раз во-время. Моя жизнь
находилась в опасности: у матери пропало молоко, а мадрид-
ским врачам не удалось заставить меня сосать из бутыл-
лочки.

Мать вырядила кормилицу в зеленое бархатное платье и
кремовые кружева, и когда эта редкой красоты женщина ка-
тала меня в коляске по площади Дворца юстиции, то на нее
засматривались прохожие. Многие подходили к ней и просили
показать внучку дона Антонио Мауры. Обычно она закры-
вала меня и говорила, что меня нельзя беспокоить: ей было

стыдно показывать такого некрасивого ребенка, лежавшего в такой красивой коляске.

Мне было четыре года, когда однажды к нам в детскую вошла мать с новой бонной-ирландкой, мисс Норой Уэлш. Бонна не знала ни слова по-испански, а в доме у нас никто не говорил по-английски. На наше счастье, у мисс Норы не оказалось серьезных недостатков. Мою младшую сестру Маричу и меня она в течение трех лет воспитывала на свой страх и риск. Мать так и не выучилась английскому и не могла давать указаний мисс Норе, а мисс Нора так и не выучилась испанскому и не могла давать отчет моей матери в воспитании ее девочек. Разумеется, это часто ставило мою мать в весьма затруднительное положение, но в то время иметь англичанку считалось в Мадриде хорошим тоном, а моя мать была чрезвычайно тонкой женщиной. Как бы то ни было, языковой барьер, существовавший в нашем доме, заставил меня и Маричу выучиться английскому, и вскоре мы уже свободно болтали,— правда, с резким ирландским акцентом, скорей надминавшим выговор ирландских крестьян, чем английских аристократов. К счастью, мать так этого и не поняла.

В Мадриде мисс Нора была не одинока. Ее сестра Мэгги тоже служила бонной в одной из мадридских семей. Воспитанницы мисс Мэгги, маленькие Вальдес-Фаули, были нашими однолетками, и мы два раза в день совершали с ними бесконечные прогулки по чудесной авеню Кастьяна, на которую отбрасывали тень старые, разросшиеся деревья. Четыре девочки шли впереди, а в арьергарде, оживленно болтая, шествовали сестры-ирландки. В то время все мадридские аристократы держали английских бонн, и, проходя по Кастьяна, вы вряд ли могли услышать другой язык, кроме английского.

Ирландские «мисс» враждовали между собой, а мы, дети, им подражали. Неприязнь, которую питали друг к другу бонны, иногда объяснялась разницей в возрасте, иногда — неодинаковым общественным положением их хозяев. Помню длительную вражду между нами и Консуэло и Пакито Андес, верней, между нашей и их бонной, пожилой леди, почему-то невзлюбившей сестер Уэлш. В течение нескольких лет мы фыркали на детей Андес, когда они проходили мимо нас по авеню, а у них злобно сверкали глаза, когда к ним приближались девочки де ла Мора.

Андес были нашими близкими родственниками, но это ни-

сколько не повлияло на отношения сестер Уэлш и бонны семьи Андес. Консуэло и Пакито доводились нам двоюродными сестрами. Старший брат моей матери, граф Мортера, будущий герцог Маура, женился на сестре графини Лос Андес и, таким образом, стал обладателем половины огромного состояния, нажитого на крупнейшем кубинском пивоваренном заводе. (Конечно, об этом никогда не говорилось вслух.)

Громкие романские титулы, вероятно, поражали слух англичан. Во всяком случае, они должны были производить впечатление на молодых ирландок, приехавших в Испанию воспитывать будущих герцогов, графинь, баронесс. Между тем, это была лишь кажущаяся пышность. В 1912—1913 годах испанская аристократия уже не отличалась былой монолитностью. Лишь несколько древних родовитых семей еще сохраняли традиции предков. Герцог Альба, например, мог разговаривать, не роняя своего достоинства, только с самим собой да еще с двадцатью герцогами, но не больше. У этих грандов были поместья, но они не выходили из мадридских клубов и казино; им принадлежали оливковые рощи, но они жили на подати, взимавшиеся с нищих крестьян.

За этими двадцатью грандами, которые так кичились своим происхождением, что и короля втайне считали чем-то вроде выскочки, шли менее знатные испанские аристократы. Если английские аристократы свято оберегали титулы и ранги, то проникнуть в среду титулованной испанской аристократии было сравнительно легко. Моему деду, например, король неоднократно предлагал титул, но тот всякий раз отказывался, предпочитая оставаться просто самым знаменитым политическим деятелем Испании. Только это необычайное презрение моего деда к «герцогству» и отличало нашу семью от прочих испанских аристократических семей. Зато дети его оказались менее щепетильными: не успел Антонио Маура умереть, как мой дядя получил титул герцога.

Ношение титула стоило денег, и большинство детей, гулявших по Кастельяна,—сыновья и дочери «графов» и «графинь»,—происходили из семей, титулы которых были куплены или «подновлены», тоже за деньги, дедами или прадедами. Новая знать рождалась в процессе постепенной индустриализации феодальной Испании. Банкиры, владельцы шахт и рудников, электрических компаний и транспортных фирм женились на обедневших титулованных дворянках, или получали титул непосредственно от короля (это служило ему богатейшим источником дохода), или же извлекали из архив-

ной пыли имя какого-нибудь титулованного, но разорившегося предка, в свое время лишенного возможности передать титул наследнику.

Грандов в Испании было слишком мало, и они не могли поддержать в испанской аристократии кастовый дух. Самые богатые, самые могущественные и самые знатные из новоиспеченных аристократов появлялись при дворе так же часто и пользовались таким же успехом, как и обломки старинной испанской аристократии. Испанские титулованные богачи часто конкурировали между собой, добиваясь высокого положения или славы, и, тем не менее, среди них наблюдался своеобразный демократизм, который, разумеется, не выходил за пределы их круга.

Так, например, дети «среднего сословия» никогда не гуляли по Капельяна. Ни одна мать не осмелилась бы посягнуть на преграду, стоящую между ее ребенком и ребенком Андес или де ла Мора. Сравнительно немногочисленное среднее сословие занимало в Испании свое, строго определенное место, а за ним стояли голодные, недовольные крестьяне и рабочие — бедняки, которых боялись и ненавидели.

Я не помню, чтобы мне внушали в детстве, что я принадлежу к привилегированному классу, к классу богатых. И все-таки я узнала об этом прежде, чем научилась произносить это слово по-испански.

Однажды мы гуляли по авеню в новых клетчатых платьях, казавшихся нашей матери последним криком моды. Моя сестра, чистенькая, хорошенькая, упитанная девочка, шла рядом со мной. Неожиданно из-за угла выскочил мальчуган, такой грязный, оборванный и худой, что Маричу и я в испуге остановились. Мисс Уэлш поспешила к нам и взяла нас за руки. Мальчик выругался, прыгнул в канаву, схватил ком грязи и, швырнув в нас, бросился бежать. Мое нарядное платье было забрызгано грязью, но заплакала я не от этого, а оттого, что в глазах мальчика я прочитала ненависть и презрение. Этот взгляд испугал меня.

На страстной неделе мать объявила, что мне пора говеть. Первый раз в жизни я должна была исповедываться и причащаться. Мать позвала меня к себе и велела стать на колени на скамеечку. Я со страхом осматривала роскошную обстановку в ее комнате: обитую голубым бархатом мебель красного дерева стиля Людовика XV. «Загляни к себе в душу», — сказала мать. Я была самым обыкновенным ребенком, все сверхъестественное было мне чуждо, но торжествен-

ный тон матери и великолепии обстановки взволновали меня. Мать велела мне вспомнить мои грехи: ведь, чтобы покаяться, надо предварительно согрешить. Наконец, вспомнив одно прегрешение, я побрела вместе с мисс Норой к отцу Рубьо. Но, увы, грех мой был так невелик, что о нем не стоило и упоминать. Отец Рубьо явился к матери и спросил, правильно ли она мне все объяснила, ибо мой грех — ложь шестилетней девочки насчет какой-то зеленой лампы — не так велик, чтоб из-за него стоило исповедываться.

Но через несколько месяцев я действительно согрешила. Маричу и я подружились с Лулу и Бэби, питомицами другой мисс Уэлш. Часто после наших прогулок по Кастельяна мы заходили к ним поиграть. В семье Вальдес-Фаули родились две девочки. Однажды нам показали близнецов на руках у кормилиц. Тут я в первый раз увидела, как женщина кормит ребенка грудью. Вернувшись в детскую, мы постарались возможно точнее воспроизвести только что виденную сцену. Мисс Нора и мисс Мэгги, которые, как всегда, были заняты разговором, вдруг с ужасом увидели, чем мы занимаемся. Мисс Нора, испустив отчаянный вопль, закричала: «Дети, вы совершили смертный грех! Вы должны исповедаться!»

Следующие двадцать четыре часа я дрожала, как в лихорадке. Никто из нас, детей, не знал, что такое смертный грех, и не понимал, чем мы провинились перед богом. Маричу уверяла, что мы попадем в ад, а Лулу и Бэби, настроенные более оптимистически, были убеждены, что нас ждет тюрьма, но непременно — «с крысами».

Наутро богобоязненные бонны повели нас в резиденцию отцов иезуитов на Калье де ла Флор и попросили нашего духовника, отца Рубьо, исповедать нас. Нужно отдать справедливость отцу Рубьо, он не считал, что нашим душам грозит погибель. Лулу и я отделались тем, что десять раз прочитали «Богородицу» и один раз — «Отче наш».

Летом в Мадриде не оставалось никого... кроме большинства населения. Богачи и высший свет покидали столицу в начале лета.

Когда я была еще совсем маленькой, наша семья проводила три летних месяца у моей бабушки в Сантандере, на берегу моря. Затем, когда мне исполнилось четыре года, мои родители совершили путешествие в свое имение — Ла Мата дель Пирон, в котором до этого они почти не бывали.

Ла Мата — это обширное поместье, ранее принадлежавшее королю. Наша семья приобрела его в 90-х годах прошлого

столетия. И хотя оно находилось милях в семидесяти от Мадрида, бабушка, донья Рехина, так за всю жизнь и не рискнула посетить его. В молодости мой отец иногда ездил туда: сначала — поездом, до ближайшей к Ла Мате железнодорожной станции Сеговия, а оттуда — верхом. Матери Ла Мата понравилась, и в начале лета отец принялся за постройку дома, конюшни и каретника. Вся семья находила особое удовольствие в обедах на воздухе, под огромным тентом. Спали мы в доме управляющего.

Но даже после того как дом в Ла Мате был отстроен, мы всегда проводили август на берегу моря — не потому, что кастильское солнце было слишком знойным, а потому, что моя мать, пробыв в имении с неделю, уже начинала скучать и ее неудержимо тянуло прочь из деревни.

Несколько лет подряд мы проводили август в Стране Басков, близ Сан Себастьяна, в самом модном тогда курорте Сараусе. Останавливались мы в единственном, по мнению матери, приличном сараусском отеле — ведь в любом курорте мира можно было найти только один приличный отель, в котором позволила бы себе остановиться аристократка, — и любовались ослепительной улыбкой хозяйки отеля, француженки, мадам Брэнжон, женщины с пышным бюстом и крашеными черными кудряшками. Как-то один из наших лакеев по неопытности снял более удобные и дешевые комнаты в отеле попроще, но мы там даже не переночевали. Моя мать не могла допустить подобного нарушения правил хорошего тона.

Местные крестьяне, горничные, шоферы и лакеи приезжающих каждый вечер танцевали на Главной площади, и вечерний воздух был пронизан весельем баскской музыки и старинного грациозного танца аурреска. Но так веселился «простой народ», обитатели же «Гранд-отеля» и роскошных вилл никакого участия в этих увеселениях не принимали. Мы появлялись на улицах только в сопровождении бонны, которая торжественно вела нас во дворец герцога Гранадского, где мы играли в ненастные дни.

В Сараусе я впервые почувствовала себя чужой в своей семье. Мой протест нарастал и крепнул в течение двадцати лет, но я хорошо помню, что враждебное чувство к семье, к окружению, ко всей этой жизни зародилось во мне именно здесь.

Летом в Сараусе жили, главным образом, испанские аристократы и дипломатические представители, аккредитованные при короле. Страшная скука, неизменная спутница жизни

испанских аристократов, повисла над Сараусом, как тяжелое покрывало. И хотя я каждое утро играла на берегу, а днем — в великолепных парках, с детьми, у которых были красивые, звучные аристократические фамилии, я уже тогда испытывала к ним какое-то непонятное чувство, не позволявшее мне любить их и стать такой, как они. Я, вероятно, очень скоро забыла бы это странное чувство, если бы оно не преследовало меня и позднее. всю мою юность, вплоть до того времени, когда я осознала себя испанской гражданкой.

Мать моего отца, донья Рехина, умерла летом 1913 года. Нам в Ла Мату прислали телеграмму, вызывавшую моих родителей в Сантандер. Через несколько дней пришла вторая телеграмма с известием о ее смерти. О бабушке у меня сохранилось довольно смутное воспоминание. Помню только, что это была высокая, стройная, надменная старуха. Сохранился в моей памяти и один из самых замечательных рассказов об ее исключительной чопорности.

Второй ее муж, Херман Гамасо, был министром. Однажды бабушку пригласили во дворец, куда ее часто приглашали и раньше. На этот раз она не могла найти подходящего предложения, чтобы отказаться, и, надев свое лучшее черное парчевое платье, отправилась во дворец. Ее своеобразная красота и самый факт ее появления во дворце привлекли всеобщее внимание. Вдовствующая королева Кристина, которая была в то время регентшей Испании, прощаясь с доньей Рехиной, спросила, весело ли ей было во дворце.

— Очень весело, сеньора, — ответила бабушка, — даже слишком. И поэтому я никогда больше сюда не приеду.

Суровый, чопорный двор габсбургской принцессы показался бабушке слишком веселым и легкомысленным, тогда как все считали его самым скучным двором в Европе.

Похоронив бабушку и вернувшись осенью в Мадрид, мои родители решили переехать в более комфортабельный и просторный особняк. Мы получили в наследство два имения в Саламанке, и то ли нам посчастливилось, то ли здесь сыграла роль ловкость юриста, но досталась нам и Ла Мата. Мадридский дом, в котором мы жили, отошел к старшему брату моего отца. Тот в свое время мечтал и о Ла Мате (ему нравился дом, который выстроил мой отец), и теперь, потерпев неудачу, он злился на моих родителей. Думаю, что это и было главной причиной нашего переезда.

Решив покинуть старый дом, в котором я родилась, мои родители, конечно, не намеревались снять или приобрести

новый. Испанские семьи, как правило, живут целыми кланами. Мы уехали от родственников отца, чтобы поселиться у родителей матери, у дона Антонио Мауры и доньи Констансии Гамасо. Дону Антонио принадлежал громадный дом близ парка Ретиро, огромного старого парка, некогда окружавшего летнюю резиденцию королей. Мадрид быстро рос, и замечательные ворота Алькала, построенные Карлом III и прославившиеся во время нашествия Наполеона, уже не указывали границу города, а просто украшали улицу, на которой жил с семьей мой дед.

С домом на улице Леальтад, позднее названной именем моего деда, с парком Ретиро и с воротами Алькала связаны лучшие воспоминания моего детства. Особенно запомнился мне такой случай. На портик нашего дома был поставлен мраморный бюст моего деда, но торжественному открытию его воспрепятствовал диктатор Примо де Ривера. И все же открытие этого бюста — правда, без всяких торжественных церемоний — состоялось: однажды, ранним утром, внучка дона Антонио сорвала с него покрывало и со всех ног бросилась бежать. Но это произошло значительно позже.

Когда я, семилетней девочкой, впервые увидела этот дом, он был перестроен применительно к потребностям все увеличивавшейся семьи дона Антонио. Это был огромный особняк. Дедушка и бабушка занимали бельэтаж и половину второго этажа, где у дедушки было несколько кабинетов, рабочих комнат и библиотека, — одна из лучших частных библиотек в Мадриде. Потом в них помещался музей, а тогда это были самые тихие комнаты во всем доме. Весной и летом над квадратным патио, где, как обычно в Испании, росли пальмы, висел полосатый тент, и здесь в сумерки вся семья пила кофе. Вокруг патио тянулась широкая галерея: в каждом ее углу была дверь, которая вела в одну из жилых комнат. Так, безвкусно отделанной, золотисто-белой залой пользовались раз в год: в день именин дона Антонио. Рядом с этой залой были комнаты моих дядей — Антонио и Онорио, которые занимали их лишь на время краткого пребывания в Мадриде, куда они со своими женами-аргентинками изредка приезжали из Южной Америки. Прямо против залы, через патио, находилась большая неудобная столовая, а за ней — спальня дедушки и бабушки, обставленная массивной мебелью красного дерева. За спальней шла гостиная бабушки, откуда попадали прямо в домашнюю часовню, стены которой были расписаны белыми и голубыми лилиями.

Мы поселились как раз над комнатами дедушки и бабушки.

И хотя мы заняли лишь половину второго этажа, наша большая семья все же терялась в этих громадных комнатах. Мы с Маричу получили отдельные спальни и одну общую комнату для игр, из окон которой был виден старый летний дворец, позже превращенный в музей. Здесь мы ели, и здесь же, в этой веселой, залитой солнцем комнате, гувернантка учила нас азбуке. Детская моих младших сестер помещалась рядом с нашими, а комнаты родителей и библиотека, служившая в то же время кабинетом для секретарей отца, находились в фасадной части дома. Особая лестница вела от нас в помещение для слуг, занимавшее весь третий этаж.

Таким образом, у нас была обособленная квартира, свои слуги, свой отдельный вход, и жили мы в общем независимо, но до известной степени, ибо вся жизнь в большом старом доме была сосредоточена вокруг главы клана, дона Антонио, и его жены.

Дон Антонио, уроженец острова Майорка, получил юридическое образование в Мадриде. Поступив в адвокатскую контору Гамасо, он познакомился с сестрой своего патрона, тогда еще совсем молоденькой девушкой. Впоследствии она стала женой дона Антонио и матерью его десяти детей. Между супругами никогда, в сущности, не было ничего общего. Отношения их носили такой строго официальный характер, что их можно было принять за посторонних. В разговорах друг с другом они были изысканно вежливы, ни одно резкое слово не срывалось с их уст, но каждый жил своей жизнью.

Я никогда не видела такого красивого старика, как мой дед. Держался он так величественно, что даже взрослые сыновья не решались назвать его «отцом», они называли его: «дон Антонио». Нам, детям, строго-настрого было запрещено прерывать болтовней нить его размышлений. Большую часть времени он проводил вне дома, и никто из семьи, в том числе и жена, не делил с ним тягот его карьеры. Мы знали, что он — премьер-министр Испании. Но, кроме этого, мы ничего о нем не знали, и даже бабушка не осмеливалась задавать ему никаких вопросов.

Бабушка являлась полной его противоположностью. Она была некрасива: цвет лица у нее был землистый, а волосы приобрели какой-то желтоватый оттенок, оттого что парикмахерша каждое утро очень неискусно, но весьма усердно завивала ее. Бабушка часами сидела у себя в гостиной, в кресле, и вязала или, сложив руки, устремляла неподвижный взгляд в пространство. В это время компаньонка читала ей

вслух житие ка́кого-нибудь святого. Передвигалась бабушка с трудом и иногда по целым месяцам не вставала с постели. Оправившись от очередного тяжкого приступа своей болезни, она возвращалась в кресло, иной раз выходила в столовую обедать, а когда чувствовала себя совсем хорошо, то выезжала на часок подышать свежим воздухом. Автомобильной тряски она не выносила и поэтому ездила в карете, запряженной парой лошадей. Для нас с Маричу считалось особой честью сопровождать ее. Но мы были в ужасе от этих поездок, по крайней мере я, потому что бабушка пользовалась случаем, чтобы проникнуть в наши самые сокровенные мысли.

День бабушки всегда начинался с мессы, которую служили в ее часовне. Если она чувствовала себя плохо и не выходила в часовню, то двери из ее комнаты во время мессы оставляли открытыми, чтобы она могла видеть и слышать капеллана. По вечерам вся семья, кроме дедушки, собиралась у нее в гостиной и, перебирая четки, читала молитвы.

Несмотря на болезнь, бабушка продолжала жить интересами своей многочисленной семьи. После второго завтрака ее сыновья с женами и дочери с мужьями собирались у нее в гостиной и обсуждали семейные новости. Дедушка же, встав из-за стола, садился на несколько минут в обтянутое красной кожей большое кресло. Ежедневно, перед уходом в школу, а по воскресеньям — по приходе, мы подходили к дедушке, когда он сидел в этом кресле, и почтительно целовали его. Затем мы, дети, переходили в гостиную к бабушке и робко стояли в стороне, пока взрослые беседовали. Сигналом к прекращению полуденной беседы служили шаги дедушки, раздававшиеся в соседней комнате, где он переодевался. Воцарялось молчание. Через несколько минут, держа в руке пригнутую сигару, он входил в гостиную, почтительно целовал жену, потом детей и внуков и отправлялся в министерство или в свой кабинет, где снова погружался в работу или в свои мысли — и так до обеда, который, по обычаю мадридских аристократов, подавался поздно вечером.

Я поступила в школу в 1915 году, когда мне еще не было девяти лет. Мы жили в доме дедушки уже два года, и я любила и наши комнаты, и патио, и сады. Вероятно, наша мать ничего не имела бы против, если бы мы с Маричу провели здесь все детство, но в 1915 году последняя английская гувернантка выехала из Мадрида на родину, охваченную войной, и перед испанскими аристократами встал вопрос: кому поручить воспитание дочерей?

Как раз в это время сестры ордена Сердца Христова от-

крыли школу для девочек из аристократических и богатых семей. Предполагалось, что эта школа, созданная по типу школы для мальчиков, которой руководили иезуиты, станет самой «передовой» школой в Мадриде. Ее помещение, безвкусно отделанное и холодное, действительно, было обставлено на современный лад, но образование мы там получали далеко не современное.

Мы надели черные шерстяные форменные платья: юбка в бантовую складку, высокий воротник и шелковый пояс. Платья эти были столь безобразны, что, когда мы приходили домой, мать не позволяла нам входить к ней в комнату, пока мы не переоденемся.

Но это бы еще ничего! Каждое утро, в четверть восьмого, под окном раздавался гудок школьного автобуса. Мы стремглав летели вниз по лестнице, а за нами неслась наша горничная, сменившая гувернантку, — с шарфом или с книгами, которые мы забывали в спешке. В автобусе, с сонными лицами, уже сидели другие школьницы. Нас сопровождала пожилая женщина, которой надлежало следить за порядком в автобусе: это была единственная мирянка во всей школе. Хотя нам полагалось хранить полное молчание, — мы даже не имели права здороваться друг с другом, — нашей беспомощной спутнице никогда не удавалось утихомирить нас. Но она жаловалась школьному начальству только в том случае, если кто-нибудь из прохожих обращал внимание на нашу болтовню и дикие крики. Тогда наказывали всю школу: нас лишали большой, сорокапятиминутной перемены. В автобусе завязывалась и крепла моя дружба с одноклассницами, и эти поездки были единственным светлым пятном в моей школьной жизни.

Мы приезжали рано, чтобы не опоздать к мессе и причастию. Прежде чем переступить порог школы, мы старались вволю наговориться друг с другом, потому что нам не разрешалось не только разговаривать, но даже шептаться в течение всего долгого учебного дня. Мы пользовались этим правом только во время нашей любимой большой перемены. Как только мы приезжали в школу, нам немедленно выдавали белые или черные покрывала, хранившиеся в специальной комнате возле часовни. Белые покрывала брали те девочки, которые чувствовали себя готовыми к принятию святых таин, черные — те, что считали себя недостойными. И горе тем девочкам, которые являлись в черных покрывалах: учительницы требовали, чтобы они подробно рассказали о своих проступках.

После мессы мы шли в длинную трапезную и садились за мраморные столы: начинался унылый завтрак. Нам предлагали на выбор: шоколад, сваренный на воде, или жидкий кофе. Завтрак, как и все трапезы, проходил в полном молчании.

Занятия начинались в девять часов: к этому времени автобусы успевали проделать второй рейс и привезти в школу остальных учениц, — всех нас было 140. В классах было так же холодно и мрачно, как и везде в школе. За уроками девочки сидели молча, слушая монотонный голос монахини, имевшей весьма смутное представление о том предмете, который она преподавала. Проучившись шесть лет в монастырской школе, я все же очень плохо знала основные предметы. История Испании и всеобщая история, в том виде, как их проходили у нас, скорей напоминали мифологию, но в этом я разобралась значительно позже. Правда, я научилась вычитать и умножать и два года изучала предмет, именовавшийся «логикой», но что такое логика — это я опять-таки поняла много лет спустя. Преподавание моего любимого предмета — истории искусств — было у нас поставлено более чем оригинально. С великими испанскими художниками я знакомилась не в знаменитых мадридских музеях, — нас туда не водили, — а по книге, в которой все иллюстрации были замазаны белой краской, так что мы могли видеть только голову, руки и ноги изображенного на картине человека. Испанскую литературу в нашей испанской школе совсем не проходили. Впрочем, однажды, в присутствии школьниц и родителей, я прочитала сочинение о Сервантесе, но оно было написано монахиней, а я только выучила его наизусть.

Большую часть времени мы проводили за вышиванием. У каждой ученицы была своя плетеная корзиночка, обшитая розовым шелком; в ней хранилось ее рукоделье. К большому неудовольствию моей матери, я ненавидела рукоделье, и когда вся школа надолго усаживалась за шитье, я неизменно предлагала свои услуги в качестве чтеца. Как сейчас вижу моих подруг, одетых в безобразные черные платья, склонившихся над тонкой вышивкой, и себя — стоящую за кафедрой и без всякого выражения, как того требовали монахини, читающую житие святого.

«Свободой» мы пользовались сорок пять минут. В эти чудесные минуты мы могли громко разговаривать и играть в школьном саду. Конечно, нам запрещалось кричать, играть в шумные, «не подходящие для девочек», игры. И, конечно, мы не имели права разговаривать друг с другом наедине.

Дружба находилась под запретом: в течение этих сорока пяти минут мы должны были вести общий разговор.

Но никакие строгие правила не могли удержать девочек от проявлений страстной, пламенной дружбы. Мы были одиноки не только в школе, но и дома, и это одиночество подогревало нашу и без того жаркую дружбу.

Под партией, рискуя быть замеченной, я сочиняла пламенные послания Марии Вальехо и Марии Моренес, которые в течение долгих лет были моими самыми близкими подругами. В письмах я называла их Флоренсией и Корнелией, а подписывалась Патрисией. Хотя обе мои подруги очень меня любили, я все же никогда не была удовлетворена их ответами на мои письма. В конце концов нам пришлось прекратить переписку, так как мать Марии Вальехо однажды нашла у своей дочери письмо, подписанное «Патрисией». В этом письме выражалась горячая надежда на то, что когда-нибудь Мария будет тонуть, а я ее спасу и этим докажу всю силу моей любви. Как раз этим летом Мария Вальехо получила в Португалете первый приз по плаванию для девочек, а я едва умела держаться на воде. Мать пригрозила Марии, что возьмет ее из школы, и я больше не писала ей безумных писем.

По воскресеньям обе Марии и я встречались — чаще всего у меня — просто для того, чтобы поболтать. Шесть дней мы молчали, зато весь седьмой болтали безумолку, стараясь наговориться на неделю вперед. Что могло быть дурного в дружбе школьниц, в этой обыкновенной, чистой дружбе, я никогда не могла понять. Я часто думала над этим и не переставала удивляться монахиням, которые утверждали, что когда два человека разговаривают друг с другом, даже если это двенадцатилетние школьницы, то между ними всегда стоит дьявол.

В 1916 году мои родители решили съездить в Бордо. Вернулись они очень скоро. На их лицах появилось такое страдальческое выражение, словно они и в самом деле побывали на фронте, а ведь они видели только сестер милосердия, поезда, в которых перевозили раненых, и относительно благополучные города Южной Франции. Несколько слов, сказанных родителями мне и Маричу, да их испуганный взгляд — вот мои первые впечатления от мировой войны. Это была тень, которая мелькнула и тут же исчезла, а через год возвратилась снова.

В начале мировой войны консервативное правительство,

возглавлявшееся доном Эдуардо Дато, заявило о нейтралитете Испании. Либералы, республиканцы и социалисты протестовали. «Победа Антанты — это и наша победа, поражение Антанты — это и наше поражение!» — доказывали они. Но средние и высшие классы и военщина были против вступления Испании в европейскую войну. Настаивая на нейтралитете, они тем самым проявляли свою симпатию к Германии, так как именно в центральных державах реакция видела оплот против растущего недовольства масс.

Король, недавно вступивший на трон, пребывал в нерешительности. Он то выражал сочувствие союзникам, то выступал почти как друг кайзера. Гранды шептались, что это жена-англичанка сбивает короля с «истинного» пути. Люди более проникательные догадывались, что на безвольного монарха влияют крупные испанские промышленники. Так или иначе, Альфонс никому не сумел угодить. С первых же дней у него начались нелады с представителями реакционной Испании. Когда же он пытался проявлять особый интерес к армии, то и консерваторы и либералы, попеременно занимавшие министерские посты и проводившие почти одну и ту же политику, единодушно выражали ему свое неудовольствие. Королева-мать, во времена своего регентства, всегда умела сломить сопротивление оппозиции и провести тот закон или декрет, который она считала нужным. Она формировала кабинет во главе с генералом. Этого бывало достаточно. И консерваторы и либералы немедленно утверждали закон, а марионеточный генерал уходил в отставку. Альфонс пытался подражать своей матери, но он постоянно воевал с кортесами, а кортесы воевали с ним.

Желая во что бы то ни стало укрепить свою власть и поддержать свой авторитет, политические партии иной раз доходили до ребячества. Так, однажды министерство «экономических реформ» устами председателя кортесов торжественно внесло на обсуждение очередной законопроект. «В целях получения ежегодной экономии в несколько тысяч песет» министерство требовало изменить всю систему бесплатного снабжения конфетами депутатов испанских кортесов. До этого «переворота» каждый депутат имел право съесть или вынести из величественной залы законодательной палаты сколько угодно и каких угодно конфет. Но на беду депутаты оказались страшными сластенами; кроме того, они в таком количестве преподносили эти конфеты своим друзьям, что, по подсчетам «министерства экономических реформ», расход на них достигал огромных размеров. Согласно новому законопроекту

конфеты распределялись следующим образом: первый сорт конфет правительство могло бесплатно раздавать только министрам, депутаты же должны были довольствоваться вторым. Мой дедушка, который очень любил сладкое, всегда получал лучшие сорта конфет, даже когда он не был министром. Этими-то конфетами он и угощал нас, когда мы приходили к нему здороваться.

Мы с Маричу впервые по-настоящему столкнулись с понятием «война» весной 1917 года.

В одно из воскресений, возвращаясь после мессы домой в школьном автобусе, мы увидели у нашего дома огромную толпу, которая восторженно кричала: «Маура, си!»¹, «Маура, си!», «Маура, си!»

Дома слуги рассказали нам, что произошло. В это утро наш дедушка, дон Антонио Маура, произнес в цирке для боя быков блестящую речь. Он заявил, что «хотя по самой своей сущности и по своему географическому положению Испания принадлежит к блоку союзников, но она была и останется нейтральной». Наш лакей Лукресью, расставляя тарелки для завтрака, старался объяснить нам, что этим заявлением дедушка успокоил сторонников Антанты.

В это воскресенье родители не обедали дома. А вечером, когда мы вошли к ним в гостиную (перед сном мы непременно целовали им руку, а они крестили нас), они ни словом не обмолвились о триумфе дона Антонио. Наши отношения с родителями были строго официальные, даже холодные, и мы сразу поняли: своим упорным молчанием они как бы предупреждают нас, что мы не должны задавать никаких вопросов.

В своей речи Антонио Маура определил направление испанской внешней политики. Вскоре после этого, несмотря на энергичный протест германофилов, Испания и Англия подписали торговый договор. Испания отправила в Англию продовольствие, в котором та терпела острую нужду, а в обмен получила уголь. Союзники облегченно вздохнули: теперь они были уверены, что им не придется стягивать войска к франко-испанской границе.

1917 год был тяжелым, черным годом для Испании. Даже мы, наивные, ничего не понимавшие школьницы, ощущали на себе тревожное дыхание 1917 года.

В старую, обветшалую феодальную Испанию вливались огромные капиталы. Пока Европа разорялась на удушливые

¹ Да здравствует Маура!

газы и винтовки, нейтральная Испания превратилась в гигантский сундук, куда сыпались деньги: в то беспокойное время, когда все кругом было охвачено войной, они нуждались в надежном хранилище. Старинная земельная аристократия с бешеной завистью смотрела на золото, плывшее в страну. На долю древних грандов приходилось немного: несметные богатства, которые наживала Испания на мировой войне, попадали в руки новой промышленной знати. Правда, то один, то другой аристократ внезапно умел: покинув свои невозделанные поля и неграмотных крестьян, он запускал руку в поток золота, но большинство испанских грандов бездельничали и с презрением следили за тем, как входили в силу и славу ненавидимые нувориши.

Непосредственным результатом запоздалого вступления Испании на путь промышленного и финансового развития явилось недовольство в армии. Реакционные аристократы оказывали давление на армию, в которой было слишком много генералов, а вместе с тем и на короля. Военные хунты, то есть офицерские комитеты, созданные для защиты интересов военной касты, вскоре начали диктовать правительству свою политику. Король сперва слабо сопротивлялся вмешательству военщины в государственные дела, но потом стал пленником собственной армии. В новом кабинете, сформированном кортесами, портфель военного министра получил генерал Примо де Ривера, дядя Мигеля, будущего диктатора Испании. Но и это не успокоило хунты. Старый генерал не удовлетворял их, так как он впитал в себя кое-что от «новых идей».

Военщина отказалась сотрудничать с ним.

Хунты нарушили неустойчивое равновесие, сохранявшееся на протяжении многих лет между либералами, республиканцами, социалистами и консерваторами. Республиканцы и социалисты создали самостоятельный и крепкий блок. Тогда же, к великому ужасу нашей семьи, выступила новая сила: всколыхнулся рабочий класс Мадрида и Барселоны.

Это были тяжелые времена для бедняков, о которых мы так мало знали. Дряхлых испанских аристократов раздражал промышленный подъем Испании, вызванный мировой войной, но они все еще сытно ели на потускневших золотых тарелках, они все еще выколачивали подати из своих нищих крестьян. Рабочие тоже не получали никакой прибыли от этого процветания, но у них не было ни герба, ни полуразрушенного замка, которые могли бы их утешить. Они питались хлебом и луком, в то время как люди, спекулирова-

шие на войне, обедали в фешенебельных ресторанах, — новшество, появившееся в Испании во время войны.

А тут еще железнодорожные компании подлили масла в огонь. Они отклонили требования, выдвинутые союзом железнодорожников, претендовавших на очень скромную долю в той огромной прибыли, которую приносила война испанским железнодорожным компаниям. Тогда союз объявил забастовку, которая вскоре переросла во всеобщую. Это была самая крупная забастовка в Испании XX века. До этого народ восставал в 1909 году, — когда мой дед запятнал свое имя испанского патриота и честного лидера консервативной партии, подписав вместе с королем смертный приговор анархисту Франсиско Ферреру.

Феррер был благородный человек, но он не был человеком действия. Перепуганное, беспомощное правительство сделало его жертвой событий, известных в Испании под названием «кровавой барселонской недели».

Восстание 1909 года было вызвано поражением испанской армии в Марокко, в бою при Барранко дель Лобо, когда испанские генералы уложили полторы тысячи испанских солдат, после чего немедленно поставили под ружье женатых запасных. Рабочие знали, что только им нечем откупиться, что только они обязаны расплачиваться за рискованную авантюру. Началось восстание. Тридцать шесть церквей запылало, тела похороненных в монастырях были выброшены из склепов на улицу. Дети из сиротских домов, содержащихся духовенством, без всякого призора бродили по городу. Вероятно, многие знают об этой давно минувшей трагедии больше, чем они думают сами: снимки, сделанные в Барселоне в 1909 году, были широко использованы франкистами в 1936—1937 годах как «доказательства» жестокости республиканцев.

Но барселонское восстание больше напугало, чем пролило крови: было убито всего два священника и один монах. Зато во время последовавших за этим репрессий гражданские гвардейцы убили 102 рабочих и несколько сот было брошено в тюрьмы или казнено.

По сравнению со всеобщей стачкой 1917 года барселонское восстание 1909 года кажется детской игрой. Тогда правительство тоже тряслось от страха, дрожал в своем дворце король, несколько дней во всей Испании не ходили трамваи, автомобили, поезда, но как только восстание было подавлено, испанские аристократы почувствовали себя в полной безопасности. И вот теперь испанский рабочий класс снова поднял

ся, и опять задрожали аристократы в своих поместьях и богатых в городах.

А затем пришли вооруженные пулеметами гражданские гвардейцы. В один день на улицах Мадрида и Барселоны было убито 70 рабочих, 2000 были отправлены в тюрьму. Руководители рабочего движения бежали за границу. Военщина носилась с «благородной» идеей: вывести из тюрьмы наиболее видных заключенных, таких, как Прието, Кавальеро, Бестейро, Марселино Доминго, и приказать взводу солдат расстрелять их. Но ей все же не позволили оказать родине эту «патриотическую услугу».

Одним из тех, кто не допустил расстрела республиканцев и социалистов, арестованных гражданской гвардией, был мой дед. Но в доме у нас говорили об этих людях с таким видом, словно произносили имя дьявола.

В 1918 году король поручил моему деду сформировать «правительство национального единения» и потребовал от него «спасти отечество». С тех пор дон Антонио стали называть «спасителем отечества».

Мы с Маричу были равнодушны к политике, но тут неожиданно почувствовали к ней острый интерес. В школе мы сразу оказались в центре внимания. Все, начиная от капеллана дон Томаса и кончая скромной сестрой-привратницей, которая отпирала монастырскую дверь, связывавшую нас с внешним миром, стали относиться к нам как-то особенно предупредительно: ведь мы доводились внуками тому, кого сам король назвал «спасителем отечества».

Новый успех деда привлек к нему новых друзей. Герцог Инфантадо, один из самых родовитых и самых надменных испанских аристократов, решил сменить радости охоты на радость оказывать помощь «спасителю» Испании. Страстный поклонник моего деда, он попытался сплотить вокруг него земельных аристократов, своих родственников и друзей. К несчастью для герцога-энтузиаста, его друзья были слишком ленивы, слишком невежественны и развращены, чтобы интересоваться политикой. Они швыряли деньги на мадридских танцовщиц, охотились в своих старинных имениях и больше ничего не желали знать.

В школе нас с Маричу не знакомили с деятельностью нового правительства: наставники считали это слишком земным и недостойным для себя занятием. Тем не менее, мы страшно важничали всю эту зиму и задирали носы перед подругами, ни одна из которых не была внучкой «спасителя» Испании.

Но, увы, наш триумф продолжался недолго. Маричу и двух младших сестер родители неожиданно отправили в деревню. Мне же объявили, что я на некоторое время останусь в школе пансионеркой. Мне тогда было двенадцать лет. Бóльшого несчастья я не могла себе представить. Я просила объяснить мне, чем вызвано это решение, и горько плакала, когда отец и мать категорически отказались ответить на мой вопрос. Я думала, что от меня скрывают какую-то страшную тайну, мне казалось, что наша семья чем-то опозорена, что над нами нависла катастрофа.

Подруги были поражены столь таинственной переменой в моей судьбе. Будучи пансионеркой, я уже не могла встречаться с ними вне школы. Мне пришлось вести жизнь затворницы. Молчание, которое уже несколько лет было для меня обязательно в школе, теперь окутало всю мою жизнь. Моими подругами стали те несчастные узницы, что за весь учебный год ни разу не покидали стен школы.

Они встретили меня хорошо, так как я внесла некоторое разнообразие в их невыносимо скучную жизнь. Почти все они были провинциалки, дочери богатых родителей. Нам не разрешали разговаривать друг с другом даже после занятий: в дортуарах царило не менее строгое молчание, чем в столовой, в коридоре, в классе. Но, несмотря на усиленную слежку, нам все же удавалось иногда пошептаться. Девочкам хотелось знать, почему я стала пансионеркой. А я сама ничего не знала и оттого плакала и злилась на своих новых, всегда печальных подруг, этих жалких провинциалок, на которых я привыкла смотреть сверху вниз.

Так прошли две мучительные недели, когда я или молчала, или тщетно пыталась объяснить подругам, почему меня изгнали из дома, а сестер отправили в деревню. Наконец настал мой первый приемный день. В приемную вошла моя мать. И тут старшие девочки сразу поняли, почему я стала пансионеркой: моя мать была беременна. Родители заставили меня, двенадцатилетнюю девочку, в течение двух месяцев переживать тяжелую драму для того, чтобы скрыть от меня естественный рост новой жизни.

После этого пансионерки начали донимать меня насмешками. Они хихикали и пользовались каждым удобным случаем, чтобы обозвать меня дурой за то, что я не догадалась о беременности матери. Монахини следили за нами не спуская глаз, но скучавшие пансионерки, которым это событие служило единственным развлечением, все же улучали минутку, чтобы пошептаться.

Наконец в июне у моей матери родился сын, и мне разрешили вернуться домой. Увидев мать в постели, с ребенком на руках, я не посмела спросить, как она себя чувствует, как ее здоровье. Я боялась, что она солжет и что тогда придется лгать и мне: делать вид, будто я не знаю, как появился на свет этот маленький сморщенный комочек, лежащий на вышитой шелковой подушке, хотя ученицы самой строгой монастырской школы в Мадриде рассказали мне то, что должна была бы рассказать своей дочери мать.

Одну из великопостных недель у нас в школе целиком посвящали молитве и покаянию. Семь дней мы молились в полнейшей тишине. Четыре раза в день слушали поучения отца-иезуита. Его любимой темой были грехи, совершаемые молодыми девушками, например, участие в танцах и в иных светских развлечениях, разговоры с мужчинами и другие подобные преступления, а также те наказания, которым они подвергаются за это. Проповедники менялись у нас ежегодно. Одни подробно и очень живо описывали все те ужасные грехи, которые можно совершить во время танцев. Другие слегка касались преступлений, но зато весьма обстоятельно повествовали о кипящей смоле и острых вилах, которые ожидают грешников в царстве Люцифера.

Я была нервным, впечатлительным ребенком. Для своего возраста я слишком быстро развивалась и не выдерживала того напряженного состояния, в каком мы находились в течение всей этой трудной недели. Раз в день, а то и чаще, я падала в обморок, у меня шла носом кровь, на лбу выступал холодный пот. Монахини считали это божьим благословением и никогда не освобождали меня ни от слушания длиннейших проповедей, ни от бесконечных молитв в церкви. Но особенно торжественно проводили мы последний день этой недели, когда все «духовные упражнения» бывали закончены. По крайней мере три часа стояли мы в ярко освещенной церкви, убранной лилиями, и слушали гнусавое пение монахинь, плохой орган и последнюю проповедь отца-иезуита. Темой этой последней проповеди являлось описание рая, хотя его описывали далеко не так подробно, как ад. Приятное чувство облегчения всегда охватывало меня и других девочек, когда мы смиренно преклоняли колена в золотисто-голубой церкви и каждая из нас давала обет благочестия.

Весной 1919 года, постом, моя мать, которая взяла на себя роль свахи в нашей семье, решила, что настало время выдать замуж двух девушек-сироток — племянниц моего отца.

Мои двоюродные сестры были невесты с прекрасным приданным, и уже одно это могло привлечь к ним женихов. Раньше моя мать никогда не была в Севилье, но она знала, что в этом городе постом устраивают торжественные процессии, в которых принимают участие богачи и знать. Она повезла туда меня, тринадцатилетнюю девочку, и моих сестер-невест, и мы провели в Севилье страстную неделю.

Севилья, или, вернее, севильские женщины пробуждались от спячки два раза в год. Разумеется, я говорю не о тех, что живут по ту сторону Гвадалквивира, в ветхих, но всегда побеленных и потому кажущихся менее жалкими лачугах, не о тех женщинах, что поют, бранятся с соседками или кричат на детей, стараясь отвлечься от мысли о ребенке, которого они носят под сердцем и который родится на свет слабым и хилым, так как они едят только хлеб с луком. Конечно, для этих женщин один день ничем не отличался от другого. Но женщины, чьи дома стояли по эту сторону реки, — богатые женщины, — пробуждались к жизни два раза в год: во время апрельской ярмарки и на страстной неделе. В эти дни они выходили из своих старых каменных домов и начинали жить по-человечески. Остальное время года они проводили в комнате, у окна, забранного железной решеткой, и смотрели на узкие улицы древнего города. Улицы в Севилье необычайно узки: строившие город арабы старались защитить будущих жителей от жаркого солнца и не подумали об автомобилях.

Но Севилью и ее праздных женщин нельзя понять до тех пор, пока не пройдешь по улицам ночью. Утром севильские женщины, со скромно опущенным взором, в черных мантильях, с четками в руках, затянутых в черные перчатки, в сопровождении матери или дуэньи, мелкими, осторожными шажками семят в ближайшую церковь. Но как только на город спускается ночь, эти черные глазки мгновенно теряют всю свою скромность.

Во всех севильских домах окна забраны решетками, так называемыми *rejás*. *Rejas*—это единственная отдушина в бесчеловечном севильском кодексе морали. Оставив своих дочерей у зарешеченного окна, с вышивкой или невинным романом в руках, матери спокойно отправляются спать. Часов в одиннадцать огни в комнатах гаснут, и весь дом погружается в сон. И тогда для молодой девушки наступают те единственные, неповторимые мгновенья, ради которых только и стоит жить. Раздается тихий стук. Девушка робко отворяет окно. За окном стоит ее поклонник. Их разделяет только же-

лезная решетка, да и она иногда тает в сумраке южной ночи.

Мужчины в Севилье (я имею в виду помещиков, сыновей богатых родителей, офицеров) ведут совсем иной образ жизни, чем их сестры, дочери, жены. Это — типичные испанские сеньорито. Они интересуются лишь боем быков и лошадьми. Опытные дегустаторы вин, они умеют дегустировать и женщин. Обычно они сидят в клубе на Калье де ла Сьерпе или на Сиркуло де Лабрадорес. Перед ними высокие бокалы из тонкого стекла, наполненные золотистой мансанильей, и тарелки с сочными зелеными оливками, которые поступают в город из их собственных оливковых рощ. Сеньорито ведут разговоры о быках, о лошадях, о женщинах. Чаще всего — о женщинах: о новых обитательницах публичных домов и о том, чем они отличаются от старых. Правила поведения испанского кавальеро позволяют им говорить и о девушках из хороших семей, — девушках, что ждут их у зарешеченных окон.

Наступает вечер. Вино выпито, лакеи уносят остатки ужина; севильянцеы встают. Одни идут ухаживать за девушками, которые дожидаются их у окон, другие — в «веселые дома», где они не ухаживают, а покупают. Но куда бы они ни пошли, под окно ли богатого дома или в публичный дом, — везде их встретят богобоязненные девушки. В каждой комнате «шикарных» домов терпимости висит изображение знаменитой Макаренской¹ божьей матери. Изваяние это убрано в бархат и шелка и увешано драгоценными камнями, совсем как во время процессии на страстной неделе. Бедные девушки верят, что божья мать помогает им привлекать и удерживать гостей. Немало драгоценностей, украшающих божью мать во время процессии, принесено в дар богомольными севильскими проститутками.

Такова жизнь в Севилье. Я приехала туда тринадцатилетней девочкой и, конечно, не подозревала о том, что скрывается под таинственным покровом старинного уклада жизни в этом прекрасном южном городе.

Мы приехали в Севилью в вербное воскресенье и остановились в гостинице. Мать наняла у хозяина ландо с парой лошадей. Каждое утро одна из подруг моей матери, с которыми она когда-то училась в парижской школе и которые потом вышли замуж за севильянцеы, заходила за нами, и мы выезжали осматривать старинный андалузский город. Подруги матери были в очень красивых черных мантильях, заколотых

¹ Макарена — предместье Севильи.

на голове высоким гребнем, однако совсем не таким высоким, как на картинках в американских журналах, где изображают испанок, идущих смотреть бой быков. После второго завтрака они надевали шляпы: это были как раз те немногие дни, когда им представлялся случай надевать их; остальное же время года они жили пленницами в каменных стенах своих домов и садов.

Днем мы осматривали город, а вечером перед нами предстала монархическая Испания, со всем своим мишурным блеском и со всей трагичностью своих контрастов отражавшаяся в тех процессиях, которые всегда устраивались в Севилье на страстной неделе.

По узким, извилистым улицам шло духовенство, гражданская гвардия, помещики, а за ними голодные *trianeros*¹, жившие в лачугах по ту сторону реки.

Покачиваясь на худых плечах *trianeros*, проплывали скульптурные изображения страстей господних. Здесь можно было видеть статуи Христа и богородицы, выполненные великими мастерами XVIII века, и отвратительные в своей грубой натуралистичности скульптуры, воспроизводившие тот или иной евангельский эпизод. На тяжелом деревянном помосте *trianeros* несли стол, за которым сидели, изваянные во весь рост, Христос и его ученики, а на столе стояла настоящая еда,— все это изображало «Тайную вечерю». За ней следовало «Моление о чаше»; «Снятие со креста» и, отдельно, две скорбные фигуры Христа и богородицы, сплошь униженные драгоценностями, которые были пожертвованы или даны на время богатейшими семьями южной Испании.

Носильщиков, одетых в холщевые балахоны, закрывали складки занавесей, спускавшихся с помоста до самой земли. Ноша была очень тяжелая: через каждые сто шагов носильщики вылезали из-под занавесей и, опустив «страсти господни» на землю, опрометью бежали подкрепиться в ближайшую винную лавку. Подкрепившись более современной продукцией, они снова взваливали на плечи продукцию XVIII века. После нескольких таких остановок на изваяния было страшно смотреть: их качало из стороны в сторону, как при подземных толчках.

Ночная процессия медленно двигалась по узким, запруженным народом улицам. Это были единственные дни в году, когда мужчины и женщины стояли рядом в толпе. По временам раздавался пронзительный крик, и тогда они, затаив

¹ Т р и а н а — предместье Севильи.

дыхание, тесней жались друг к другу. В такой напряженный момент они особенно остро ощущали эти невольные прикосновения. «Саэта»¹ была подобна искре или стреле, брошенной одиноко стоящим человеком в толпу. Это была мольба матери о ребенке. Вопль женщины, покинутой возлюбленным. Слезы народа, смешавшего свои слезы со слезами скорбящей божьей матери, знающей, что сын ее будет распят. Мучительный стон человека, разделяющего муки Христа.

Туристы полагают, что эти причитания, эти пронзительные вопли, идущие как бы из глубины сердца, рождаются внезапно и произвольно. Но я, тринадцатилетняя девочка, уже знала, что достаточно бумажки в 25—50 песет, в зависимости от голоса певца, чтобы процессия остановилась под окнами клуба на Калье де ла Сьерпе или на Сиркуло и чтобы зазвучала исступленная «Саэта». Как раз из клуба на Сиркуло мы с сестрами наблюдали процессию. С нами была белокурая принцесса Максимо де Бурбон. Она находила, что это «прелестно», и мы соглашались с ней. А наша мать скучала, ей все время хотелось спать. После первой же процессии она уехала в гостиницу, оставив нас на попечение друзей, а я все сидела, зачарованная невиданным зрелищем.

Но впоследствии я поняла, что мало смотреть на процессию, сидя на балконе клуба. Нужно быть на улице, протискиваться в толпе, наэлектризованной и возбужденной, чтобы понять и полюбить или возненавидеть эту странную, мрачную, жуткую процессию. Это была та же толпа, что ходила смотреть бой быков. Народ, угнетаемый на протяжении столетий, научился находить удовольствие в зрелище смерти. Ему еще не приходило в голову, что он может стать хозяином своей судьбы. Об этом он узнал много позднее, и тоже — через смерть.

Мне нравилась Севилья, моим кузинам — нет. Так как здесь они не встретили молодых людей, которые повели бы их под венец, то все мы вернулись в Мадрид. В школе я хвасталась перед подругами тем, что видела картины Мурильо, — это было самое сильное из моих севильских впечатлений.

Этой же весной я присутствовала на другом торжестве, — на этот раз вместе с дедушкой, который был тогда премьер-министром, и со всей нашей семьей. Король Альфонс решил принести в дар Испании изображение Сердца Христова. Событие было столь важное, что во время церемонии бабушка стояла рядом с доном Антонио, а это случалось всего не-

¹ Саэта — песнь в честь святого.

сколько раз за их совместную жизнь. Мы поехали на машине в Серро де лос Анхелес — небольшой городок, расположенный недалеко от Мадрида, в самом центре Испании. Там и был воздвигнут алтарь с изображением Сердца Христова. Сперва несколько слов сказал мой дед, а затем стоявший рядом с ним король Альфонс выступил вперед и своим слабым голосом произнес речь, в которой он вручал Христу судьбу своей страны:

«Твоя избранница Испания благоговейно простирается ниц пред этим алтарем, воздвигнутым в твою честь в самом центре полуострова. Все народы, населяющие Испанию, все провинции, входящие в ее состав, в течение веков создавали на основе взаимной дружбы это великое государство, стойкое и неизменное в своей любви к религии и к монархии».

При этих словах гранды, кавальеро, все аристократы и их надменные жены в знак согласия торжественно наклонили головы.

Король протянул руку, чтобы снять со статуи покрывало. Огромная, следившая за каждым его движением толпа беспокойно зашевелилась. Засуетились рабочие. Кольхавшееся на ветру белое покрывало скользнуло вниз, и все увидели высеченную на камне надпись: «Ты будешь царствовать в Испании».

И вдруг толпа разразилась восторженными криками. Король, мой дед и все кавальеро побледнели. Под огромными высеченными на камне буквами кто-то поспешно и криво нацарапал другую надпись: «Вы так хотите, но этому не бывать».

Народ ликовал, а богачи и знать, столпившиеся на задрاپированной трибуне, дрожали от бешенства. Торжество было сорвано, и мы вернулись домой в самом мрачном настроении.

Неприятное происшествие постарались замять: газеты писали о «вандализме уличных мальчишек», а все наши знакомые говорили об этом как о «глупой истории».

Кончилась мировая война. Испанские аристократы снова заполонили приморские курорты Франции. На испанских курортах уже нельзя было встретить ни одной великосветской дамы. Мы, конечно, одни из первых приняли участие в июньской «эмиграции».

На пасху мы всем семейством выехали в Бьярриц. В сравнении с испанскими курортами он поразил меня своей чистотой и благоустроенностью. Мы никого здесь не знали, и все нам казалось странным и необычным. В «Карлтон-отеле» жили

молодые люди, которые пудрили себе щеки, выщипывали брови, красили губы.

В ресторане, за вечерним чаем, я впервые увидела танцы. С ужасом следила я за танцующими, с ужасом потому, что мне хорошо запомнились наставления отцов-иезуитов, грозивших вечными муками любителям танцев, а тут они казались такими счастливыми.

Но меня ожидал новый удар. В Бьяррице я увидела три кирки, православную церковь и синагогу. Меня учили, что все потомки Адама и Евы рождаются католиками; разумеется, я бывала только в католической церкви, а к другим не подходила и близко и никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь из почтенных, уважаемых людей исповедывал иную религию. Правда, в детстве, когда мы гуляли по Кастельяна, нам говорили, что маленький домик около германского посольства—это лютеранская церковь, но я не представляла себе, что люди действительно ходят туда молиться.

Я была так возмущена Бьяррицем, что даже моя мать, религиозная, как все испанки, посмеивалась надо мной. Однако со временем нравы заграницы перестали меня пугать.

Мы, как всегда, провели месяц в Ла Мате, а затем отправились в Сен-Жан де Люс. Наше путешествие напоминало поход целой армии. Впереди ехали отец и мать, за ними я и мои три сестры, потом мой маленький брат на руках у няньки и, наконец, бонны, горничные, лакеи.

Это лето началось для меня ужасно. Я была слишком высокого роста для своих лет, долговязая и неуклюжая, и ни за что не хотела играть с моими сверстниками на берегу моря, а мать категорически запретила мне разговаривать с юношами: таким образом, я не могла общаться и с девочками старше меня, которые играли с ними в теннис или катались на велосипеде. Целый день я проводила у себя в комнате за чтением «Давида Копперфильда» и оплакивала свою грустную жизнь.

Но вскоре все изменилось. Моя мать, которая обожала сватать, хотя сватала очень неудачно, выписала к нам свою племянницу Марго. Марго отличалась необыкновенной красотой. Как и моя сестра Маричу, она была блондинка с голубыми глазами. Она мечтала, что когда-нибудь к ней явится принц и увезет ее из скучной Испании. Она охотно подчинилась во всем моей матери и жаждала познакомиться с молодыми людьми.

Но этому невольно мешала я. Сестры мои были еще маленькими девочками, а я уже была подростком. Мать

«обменяла» меня на Марго: меня отправили в Фуэнтерабью, где жили родители Марго со своими восемью детьми. В то время Фуэнтерабья уже не считалась модным курортом, но так как я еще не была невестой, то мать решила, что эта поездка не может меня унижить.

Это лето, которое я провела на чудесном испанском побережье, было единственным веселым и счастливым летом в моем детстве. Погода стояла прекрасная. Море билось о скалы, солнце золотило широкий песчаный пляж, стены небольших вилл обвивал плющ. Мне было тринадцать с половиной лет, и я вдруг почувствовала себя счастливой.

И от огромной семьи Франсиско Мауры тоже веяло счастьем, хотя это были такие же знатные и гордые испанцы, как и мы. Они жили весело и беззаботно. Родители и дети любили друг друга. Отец и мать ласкали малышей, играли с ними, разговаривали. А старшие дети даже сидели за столом вместе с родителями, и каждый день, за обедом, я шутила, смеялась, болтала. Первый раз в жизни я обедала вместе со взрослыми, впервые за моим стулом не стояла гувернантка, и никто не поправлял мою французскую или английскую речь и не делал замечаний по поводу моих манер.

Шумное веселье царило в большом доме Франсиско Мауры: нас, детей, было девять, и мы с грохотом носились по лестницам или играли в саду. Даже слуги чувствовали себя здесь свободно. Пожилая гувернантка-француженка, воспитывавшая старших девочек, оказалась добродушнейшим существом. Она сама фыркала за обедом, глядя на наши проказы, и вообще чаще смеялась, чем бранилась.

Может быть, семья Франсиско Мауры совсем не была такой замечательной, какой она показалась мне, может быть, в Испании так жили многие. Но я никогда прежде не видала такой семьи, и часто, рассмеявшись за столом, я вдруг умолкала и задумывалась над тем, прилично ли это, могут ли дети задавать родителям вопросы и получать ответы, можно ли ласково подшутить над отцом и получить такой же шуточный ответ. По крайней мере, в нашем доме подобные нравы назвали бы чудовищными.

Франсиско Маура был художник — может быть, поэтому он и нарушал строгие правила этикета, принятые в испанском высшем свете. Художник из него, по-моему, вышел неважный, но он принадлежал к влиятельной семье Маура, и это открыло перед ним двери Королевской академии искусств в Мадриде, где он преподавал живопись. Это был

единственный представитель нашего клана, избравший себе такую необычную профессию.

Придя в себя после первого потрясения, вызванного тем, что меня пригласили обедать вместе с дядей и теткой, я стала прислушиваться к разговору за столом. И этот разговор поверг меня в трепет.

Дядя оказался страстным противником монархии. Он ненавидел короля Альфонса и, к общему восторгу семьи, часто изображал этого слабоумного монарха с узким, точно срезанным подбородком.

Монахини учили меня чтить королей, и я непременно каждый день молилась о здравии и благоденствии испанского монарха. Я была уверена, что все порядочные люди в Испании единодушны в своем отношении к его величеству. Учителя твердили мне, что мой дед — верный слуга королевской династии. И когда мой дядя завопил: «Альфонс, этот выродок! Он сведет с ума дону Антонио! Помяните мое слово, дети, вгонит в гроб вашего деда этот полоумный Бурбон!» — у меня просто глаза на лоб полезли.

Оказывается, мой дед не любит короля! Оказывается, дон Антонио постоянно ссорится с его величеством, королем испанским, и не только ссорится, но и поступает по-своему!

— Вчера этому тупоголовому Альфонсу здорово влетело от дону Антонио, — обращаясь к детям, орал за столом мой дядя. — Да-с, сеньоры, этот старый урод получил от вашего деда хорошую взбучку!

Конечно, Франсиско Маура плохо разбирался в политике, оттого все удачи и неудачи деда он и приписывал глупости или продажности короля. Картина испанской послевоенной политики получалась у него односторонней, но для меня все это явилось настоящим откровением. Подумать только: мой дядя не молится на ночь за короля!.. Мне захотелось как можно скорей вернуться в школу и рассказать об этом подругам.

С тех пор и я перестала молиться за Альфонса.

Тетя Хуана казалась мне такой же необыкновенной, как и ее антимонархически настроенный муж. У нее было только четверо слуг, а я не знала ни одного дома, где бы держали меньше семи, не считая гувернанток и нянек. Она часто отправлялась с мужем и детьми на прогулки, на пикники, в гости, а я никогда не видела, чтобы испанка, светская женщина, гуляла с детьми, — в Мадриде это было нечто неслыханное.

Помню, в день моего приезда, когда мы с ее дочерью

Сусаной собрались покататься на велосипеде, она сама пошла на кухню и приготовила нам сэндвичи. Мне же до сих пор казалось, что готовить сэндвичи могут только повара, то есть особая порода людей, не имеющая ничего общего с матерью и ее друзьями.

Сусана была мне ровесницей. Тетя Хуана, которая вообще часто высказывала смелые мысли, считала, что девочки-подростки должны пользоваться некоторой свободой. Впервые я стала выходить из дому без гувернантки. Мы с Сусаной не слезали с велосипедов. Мы уезжали, как нам казалось, очень далеко, и всегда в сопровождении пяти-шести мальчиков, чуть постарше нас. Старшие сестры Сусаны презирали нас за наши косы и чулки в резинку, а мы, в свою очередь, презирали их самих и их глупые занятия. Нас вполне удовлетворяла наша свита: 15—16-летние мальчики, которые всюду следовали за нами и не сводили с нас восхищенных взоров.

Вместе с этими юными кавалерами мы удили рыбу, ходили к старинной, полуразрушенной крепости; сидя на развалинах, ели скумбрию с хлебом и смотрели на французский берег, видневшийся за проливом Бидасоа.

Но прошло некоторое время, и я загрустила. Белокурая, голубоглазая, розовощекая Сусана казалась мне очень хорошенькой, я же, смуглая, черноволосая, черноглазая девочка, считала себя безнадежно некрасивой, и это причиняло мне боль. Я уверила себя, что влюблена в красивого пятнадцатилетнего мальчика по имени Педро. Он ничего не говорил о своих чувствах ко мне,— вероятно, у него их и не было,— и я вообразила, что он влюблен в Сусану. Я старалась утешить свое тринадцатилетнее сердце дружбой с Хосе, маленьким зайкой. Но это было весьма слабое утешение. Он носил короткие штанишки и отложные воротнички. Время от времени из окна высовывалась его гувернантка и делала ему замечания, как малышу.

Но по возвращении в Ла Мату я была вознаграждена. Педро прислал мне письмо! Настоящее любовное послание, да еще напечатанное на машинке! Он сообщил, что это его первое любовное послание и, вместе с тем, первая попытка печатать на машинке. Такое исключительное совпадение должно было придать этому письму характер исторического события.

Дети — народ эгоистичный. Я наслаждалась своим первым настоящим счастьем, а в это время на мою мать свалилось большое горе. У отца нашли язву желудка, и в конце лета

мать отвезла его в одну из берлинских лечебниц, где он должен был пройти длительный курс лечения.

Лето у меня выдалось необыкновенное, осень оказалась еще удивительней. Мать с отцом уехали в Германию, нашу мадридскую квартиру заперли, и мы, дети, остались в Ла Мате со слугами.

Однажды в ветреный осенний день, когда мы с Маричу бегали наперегонки недалеко от дома, нас позвала гувернантка. В Ла Мату приехал дедушка. Впервые мне привелось видеть в интимной обстановке главу нашей семьи. Свойственный ему холодок в обращении исчез,— теперь все мы сидели у камина, говорили о деревне, и я внимательно всматривалась в этого человека, сделавшего столь блестящую карьеру.

Дедушка больше всего на свете любил деревню. Он был отличный стрелок. В Испании была широко известна его фотография, помещенная в иллюстрированных журналах: в своем охотничьем костюме и небольшой фетровой шляпе с пером он сидел на складном стуле рядом с Альфонсом. Весной, когда охотиться запрещалось, дедушка каждое воскресенье писал знакомые пейзажи, которые он так любил. Он отнюдь не был хорошим художником: он посвящал свой досуг этому занятию, так как оно отвлекало его от мыслей о короле, о борьбе с кортесами и о положении в кабинете министров.

Трагедия дона Антонио заключалась в том, что он считал, что в Испании революция необходима, и он смело заявил об этом на заседании кортесов. Но он хотел, чтобы революция пришла сверху, чтобы ее подготовило само правительство. Он и являлся этим правительством, но он был бессилён увлечь за собою свою партию.

Вскоре после того как он уехал, настали холода. По вечерам мы все, дети и слуги, собирались у камина в доме управляющего. Нашей англичанке наскучило в деревне, и она покинула нас. Постепенно все наши мадридские слуги под тем или иным предлогом возвратились в город. Оставшись в обществе деревенских слуг, управляющего, шофера и экономки, мы наслаждались свободой. По вечерам мы играли в карты с шофером, которому доставляло явное удовольствие обыгрывать нас. Управляющий, дон Антонио Лакалье, рассказывал нам много интересного. Этот человек прослужил у нас сорок лет. Он был и надсмотрщиком и сборщиком податей, словом, являлся правой рукой помещика.

В его обязанности входило выколачивать из крестьян непо- сильную арендную плату, смотреть за тем, чтобы они не ло- вили «господских» кроликов для своих голодных ребят, что- бы все молоко, до последней капли, они приносили в поме- щичий дом, где из него делали масло и сливки для господ- ских детей.

Этого мало. Ему поручалось следить за тем, чтобы никто, кроме членов семьи де ла Мора, не ловил форелей в наших прозрачных, быстрых ручьях. Зимой он не давал ни отдыха, ни сроку угольщикам, летом выжимал все соки из крестьян, нанятых на полевые работы. Он же, в случае надобности, вызывал гражданских гвардейцев, для которых отец выстроил у себя в именье казарму.

Отец утверждал, что этим он облагодетельствовал местную полицию. Сделал же он это для того, чтобы иметь в своем распоряжении небольшую армию, которую содержало прави- тельство.

Осенью у нас украли старые автомобильные шины. Не- медленно были вызваны гражданские гвардейцы. Они обы- скали все углы и щели, но шин не нашли. Не нашли и вора. Тогда они схватили пастушонка, моего однолетка, и решили выпытать у него, кто украл шины.

Я видела, как они тащили изможденного, оборванного мальчугана в амбар, и выбежала из дома, но двери амбара были уже заперты. Послышались грубые голоса гвардейцев.

— Кто это сделал? — орали они — на мальчика. Мальчик дрожащим голосом ответил, что не знает. Потом он закри- чал, и от этого крика у меня сильно забилось сердце. Это был тонкий, пронзительный крик, он сменялся всхлипыванием, затем снова становился пронзительным, истошным и, нако- нец, переходил в глухие рыдания.

— Кто украл шины? — орал гвардеец.

Мальчик, захлебываясь слезами, лепетал:

— Я не знаю. Мне никто ничего не говорил. Я ничего не знаю.

— Нет, знаешь, знаешь, крысенок!

И снова удары, и снова жалобный крик.

Я бросилась к управляющему и стала умолять его, чтоб он прекратил эту пытку.

— Они убьют его! — вся в слезах кричала я.

Он покачал головой:

— Знайте, Констансия, что власть гражданской гвардии — это власть вашего отца. И никто не должен подрывать ее.

Пытка продолжалась около часа. Я затыкала уши, но

меня всюду преследовали отчаянные крики пастушонка, я слышу их и сейчас.

Может быть, подпасок и знал, кто украл эти злополучные шины, тем не менее, он никого не выдал. Не нашли их гвардейцы и в хижинах у молчаливых, враждебно настроенных крестьян, но свой долг они сочли выполненным. Один из крестьян ответил за воровство — этого было достаточно. Остальные долго будут помнить расправу. И, мне кажется, они ее крепко запомнили.

Гвардейцы жили в казарме, недалеко от деревни. Но никогда ни один крестьянин не вступал с ними в разговоры, ни одна крестьянка не судачила с их женами. Молчаливая, лютая ненависть крестьян пугала гвардейцев. Они всюду брали с собой винтовки и избегали ходить в одиночку.

К нам они всегда ходили по-двое. Управляющий угощал их вином. Всякий уют пропадал, когда в комнате усаживались люди в серой форме с желтыми кантами, в черных лакированных треуголках и пытались завести разговор, который все как-то не клеился.

Мой отец пожелал, чтобы мы с Маричу приехали к нему на рождество. Он был тяжело болен, и мать старалась исполнять все его желания. И вот мы, как всегда в сопровождении гувернантки, на этот раз француженки, поехали в Париж. Там нас ждала мать.

Мы остановились в роскошном отеле «Эдуард VII», где всюду сверкали мрамор и зеркала. В тот день мать повела нас обедать в ресторан, — значит, она считала нас взрослыми! Бедная мама, что ее ожидало в этом ресторане! Прежде всего мы увидели там молодую женщину поразительной красоты. Как сейчас помню ее туалет. Она была в сверкающем вечернем платье, в ушах у нее были огромные жемчужные серьги, из-под голубой шляпы выбивались белокурые волосы, боа из голубых перьев прикрывало ее обнаженные плечи.

Я впилась в нее глазами. Мать была страшно шокирована и сейчас же увела нас в номер. К нам пришел кто-то из ее знакомых, и из их разговора я поняла, что это была актриса или — о, ужас! — еще того хуже!

В Берлине нас с нетерпением ждал тяжело больной отец. Но мать считала, что она не может повезти нас в санаторий, не купив нам несколько «приличных» платьев. И мы целую неделю провели в модных парижских ателье, а отцу в это время становилось все хуже и хуже.

Мать купила мне одно столь необыкновенное платье (необыкновенно безобразное — находила я), что я его помню до сих пор. Оно было изумрудного цвета, с оранжевым плиссированным воротником и двумя плиссированными оранжевыми шарфами, спускавшимися с плеч до колен. К довершению всего, и жакет был ярко-оранжевый. Это произведение знаменитой парижской портнихи предназначалось для подростков. Но я его возненавидела: люди оглядывались, когда я проходила мимо, и, несмотря на гнев матери, я решительно заявила, что буду носить его только дома.

В Берлине мы узнали, что отец находится на пути к выздоровлению — опасность миновала. Таким образом, ничто не мешало нам заняться собой. Прежде всего, мы остриглись под мальчика, что было для нас целым событием.

В Берлине все еще давала себя знать послевоенная разруха. Хотя мы жили в очень дорогом санатории, однако, простыни нам меняли только раз в месяц. Кормили отвратительно.

Рассказывали, будто берлинцы ходят в картонной обуви. Должна сказать, что одеты они были не хуже мадридцев и поэтому не привлекали моего внимания.

Большую часть времени я проводила с детьми нашего атташе и училась кататься на коньках. Верней, пыталась учиться. Лед был чуждой стихией для жительницы Мадрида, и я не могла ступить шагу, чтобы не упасть.

Рождество в «Западном санатории» праздновалось торжественно. Кормили нас в этот день так же скверно, но из часовни целый день доносилось пение, и в каждой комнате стояла елка. В полночь началась процессия. Шествие открыла игуменья. Она несла куклу, одетую в голубое вязаное платье с шапочкой на голове. Кукла должна была изображать младенца Иисуса. В Испании его обычно носили голеньким, со скрещенными ножками, его глаза и руки были обращены к небу. Если же его и одевали, то непременно в шелковую тунику. Я была страшно шокирована немецким вариантом рождественской процессии. Вообразите такую картину: по всем палатам носят младенца Иисуса в виде простой куклы, одетой в обыкновенное вязаное детское платье! О, эти немцы!

Под Новый год мы были приглашены на бал в ресторан. Мать неохотно согласилась сопровождать нас. А нам было очень весело: ведь мы никогда еще не видели пьяных, и немцы, которые пили вино и водку, очень нас забавляли. На следующий день, когда мы поехали за покупками, в одной

кондитерской нас весело окликнула девушка-продавщица, которая накануне сидела в ресторане рядом с нами. Это заставило меня призадуматься. В Испании продавщицы и покупательницы конфет не посещают одни и те же рестораны.

В те дни в Берлине было очень беспокойно. Вокруг нас происходили восстания, убийства политических вождей, трудовой люд отстаивал свои права. Но как и в Испании, эти события не задевали мою семью. Когда отцу сказали о трагической гибели Розы Люксембург, он только слегка пожал плечами.

— Достоянная женщина, но фанатичка, — спокойно заметил он и сейчас же забыл о ней.

Антисемиты избивали на улицах евреев, били стекла в их домах, и часто, когда мы ездили за покупками, шоферу приходилось сворачивать с центральных улиц. Коммунисты и социалисты сражались с монархистами и реакционерами, люди гибли, на улицах лилась кровь, но это не нарушало безмятежности нашей жизни: наша семья была так равнодушна к происходившим событиям, что даже не говорила о них.

Нас с Маричу приучили не обращаться к родителям с вопросами. А кроме того, мы заранее знали, что они нам ответят. Люди делились на «хороших» и «плохих». «Плохие» доставляли много неприятностей. Например, они устраивали беспорядки на Унтерденлинден и мешали «хорошим» ездить за покупками.

В некоторых кинофильмах по началу трудно было разоб- рать, кто же «хорошие» и кто — «плохие», но под конец все разъяснялось: «хорошие» побеждали «плохих», и все становилось на место.

В школе нам преподносили еще один вариант. Помимо деления на «хороших» и «плохих», существовало еще деление на «богатых» и «бедных». Мы были и «хорошие» и «богатые». Рядом с нашей школой помещалась одна из немногих в Мадриде светских школ. «Свободный институт просвещения», основанный Франсиско Хинером, прививал своим ученикам любовь к природе, культуре и простоте нравов. Хинер считал, и внушал это ученикам, что Испании нужно «больше хлеба и больше школ» и, самое главное, больше демократии. Он был противником церкви, монархии и невежественной аристократии. С террасы монастыря мы видели наших соседей-школьников, игравших у себя в саду. Монахини, наблюдавшие за нами во время перемен, обычно указывали на них и говорили: «Это плохие дети. У них в школе не препо-

дают закон божий. Их родители — либералы, и они будут осуждены на вечные муки за то, что не почитают короля».

За нашим школьным садом стоял старый, полуразрушенный дом, тоже принадлежавший монастырю. Там находилась «благотворительная» школа для дочерей бедняков. Как и нас, их было 140. Им не разрешали проходить через сад или играть в нем, потому что это был «наш» сад. Они не завтракали после мессы, не обедали во время перемены, потому что у их родителей не было денег. Их не учили тому, чему учили нас: то есть истории, или, вернее, тому, что у нас считалось историей, языкам, вышиванию, музыке. Их учили чтению, письму, четырем действиям арифметики и, конечно, закону божию. Многие испанцы полагали, что и этого слишком много, что монахини балуют детей бедняков, — зачем им грамота?

Раз в год монахини водили нас в благотворительную школу. Мы торжественно шествовали туда в черных форменных платьях, и каждая несла по плитке шоколада и лепешке с изюмом, которые мы раздавали бедным девочкам. Это тоже был урок для богатых детей: нас учили «быть добрыми». Каждый год, накануне посещения благотворительной школы, монахини подробно объясняли нам, как мы должны себя там вести. Нам внушали, что мы должны быть «внимательны» к бедным девочкам, но ни в коем случае не должны с ними играть.

Я ненавидела эту церемонию. Не знаю почему, но под взглядами этих девочек я чувствовала себя очень несчастной и вся дрожала, когда они униженно, как их учили монахини, благодарили нас. Я чувствовала их враждебность, и мне было очень стыдно. Когда я стала старше, я старалась придумать любые предлоги, отговориться болезнью или чем-нибудь еще, лишь бы избежать «урока благотворительности».

Мы вернулись из Германии в феврале и, после долгого перерыва, снова начали ходить в школу. Я всегда ненавидела ее, а теперь, после чудесного лета и длительной свободы, почувствовала, что больше не могу в ней оставаться.

Я давно лелеяла мечту — учиться в Англии. Еще в детстве я проводила досуг за чтением книг об английских школьниках. Я изучила их нравы и обычаи. Я знала их язык: ведь я говорила и бегло читала по-английски еще во времена мисс Норы. Правда, выговор у меня был ирландский, что очень не нравилось монахиням, зато английский роман из школьной

жизни я глотала в один присест. А самое главное, мне было известно, что английским школьницам разрешается носить белые блузки и иметь подруг.

Несколько месяцев спустя даже родители заметили, как мне тяжело в школе, и разрешили выписать из Англии справочник женских школ. Читать этот толстый справочник и изучать преимущества, которыми отличались те или иные английские католические школы, надолго стало моим любимым занятием. Наконец я сделала выбор.

Конец учебного года я провела, как во сне. И в последний день, когда другие школьницы, навсегда покидая школу, со слезами прощались с монахинями, ибо, по словам последних, за стенами монастыря их на каждом шагу подстерегали соблазны, я вся сияла от счастья.

Мимо меня по коридору прошла настоятельница.

— Неужели тебе не жаль навсегда расставаться со школой, — ведь ты пробыла здесь шесть лет? — с довольно кислой миной спросила она.

Я была так рада выйти из этой тюрьмы, что забыла о правилах хорошего тона.

— Я ненавижу эту отвратительную школу! — крикнула я.

Так я рассталась с тем, что в течение шести лет до известной степени являлось моим вторым домом.

В начале июля мы с мамой поехали в Англию. В поезде мы познакомились с четой испанцев; их дочь училась в Англии, и они очень рекомендовали нам кембриджскую школу. И вот случилось так, что я поступила в школу, о которой никогда прежде не слыхала и которая даже не значилась в моем пресловутом справочнике.

Вся кембриджская монастырская школа размещалась в одном, правда большом, особняке, который был окружен садом, отделенным от городского ботанического сада низким забором. В соседнем доме наши монахини устроили школу для проходящих учениц.

Нас встретила настоятельница, и, пока мы гуляли по саду, она рассказывала о том, как питаются ее школьницы, какие для них устраивают игры, лекции.

И маме и мне очень понравился монастырь св. Марии, и в Лондон я уже вернулась пансионеркой кембриджской католической школы.

В Лондоне мне повезло. Мы встретили Марию Вальехо, мою старую школьную подругу, которая была приглашена на состязание гоночных яхт, и мама позволила мне поехать с ней на остров Уайт. Мария была очень оживлена, гонки увлекали

нас, и хотя нас заставляли присутствовать на скучнейших приемах, в частности — у матери испанской королевы, где было особенно скучно, но все же мы встречали много любопытных людей. Я впервые пользовалась свободой на правах взрослой, так как наша компаньонка не могла постоянно бывать с нами, и мы очень весело проводили время.

Когда мы вернулись в Мадрид, я уговорила Марию попросить свою мать разрешить ей учиться в той же английской школе, что и я. Мать согласилась, но с условием, что Мария не будет жить со мной в одной комнате. Мы не поняли, чем вызвано это решение. Мария передала его настоятельнице, и та — я уже за одно это полюбила ее — была изумлена не меньше нас. Узнав о столь странном испанском обычае, она с недоумением покачала головой. А для меня это прозвучало как отдаленный окрик наших мадридских монахинь, не позволявших двум девочкам разговаривать наедине.

В кембриджской школе было всего шесть монахинь. Они находили вполне естественным, что их воспитанницы дружат между собой и веселятся, и мы с Марией отлично провели те три недели, что оставались до начала занятий. Когда, наконец, съехались школьницы (их было двадцать одна), то оказалось, что, за исключением четырех американок, одной польской еврейки-католички и одной нашей соотечественницы, по имени Чела, все они ирландки.

Наши новые подруги, разумеется, происходили из «хороших» семей, но никто из них об этом не вспоминал, кроме Челы. У нее был довольно громкий испанский титул. Однако моя мать не считала ее родителей ни «людьми нашего круга», ни вообще «светскими» людьми, и я знала, что, когда Чела вернется в Мадрид, ее первый дебют будет не из блестящих. Может быть, она отстаивала свое превосходство именно потому, что чувствовала себя несколько ущемленной, но только монахиням это доставляло немало хлопот. Так, например, пролив воду, Чела не считала нужным вытереть пол, на том основании, что «испанская аристократка никогда не станет нагибаться».

Новая школа оказалась несравненно лучше ненавистой мадридской школы-тюрьмы, и я невольно полюбила тихие приветливые сады и дома Кембриджа. Здесь можно было иметь друзей. Я подружилась с Марией и с англичанкой Энн Тиррелл, отца которой впоследствии назначили послом в Испанию. Нам можно было разговаривать после уроков и не каждое утро слушать мессу — иногда нам разрешалось подольше поспать.

После мадридской школы нам с Марией все казалось необыкновенно интересным. Мы сумели убедить настоятельную, что нам не нужно изучать географию, математику и другие такие же скучные предметы. Вместо этого мы усердно изучали английскую литературу. Этот предмет преподавала сестра Люси, которую мы обожали. Все мы прослушали цикл лекций профессора Кембриджского университета сэра Артура Квиллер-Коуч по истории искусств. Два раза в неделю вся школа, выстроившись попарно, «двойной змейкой», отправлялась в университет. Шествие замыкала монахиня. Очень скоро мы с Марией стали «вожаками» в школе и командирами «змейки». Мы покорили школу, мы были молоды и счастливы.

Я прожила в Англии безвыездно с 1920 по 1923 год. Эти годы я считаю лучшими годами моего детства: жизнь моя текла однообразно, но мне было хорошо. В Англии принято много заниматься спортом, и благодаря этому я окрепла и поздоровела. Я научилась обходиться без услуг горничной, научилась сама одеваться, ходить по улице без провожатых. У меня были карманные деньги, и я сама покупала все, что мне было нужно. Я читала книги, может быть, и не очень серьезные,— надо помнить, что я все-таки жила в монастыре,— но такие, каких мне не пришлось бы читать в Мадриде. Я узнала, что мужчины и женщины могут вместе гулять, разговаривать, ходить в кино, пить чай и что это отнюдь не «смертный грех». Я узнала самые простые вещи, которые знают девочки во всем мире, только не в Мадриде.

Монахини предоставляли нам некоторую свободу, и хотя порядки в нашей школе были, вероятно, гораздо строже, чем в большинстве английских школ, но нам с Марией они казались необыкновенно либеральными. Мы не писали домой, что нам позволяют ездить в Лондон: наши родители немедленно примчались бы из Мадрида, чтобы вырвать нас из-под опеки особ, которые отпускают девочек на улицу одних, без провожатых. А между тем, гордые своей свободой, мы никогда и нигде не вели себя так чинно, как во время этих поездок в Лондон. Желая оправдать то доверие, какое нам оказывали монахини, мы обдумывали и взвешивали каждый шаг, каждое движение.

Родители приезжали ко мне каждое лето, а иногда и на пасху. И тогда мы предпринимали длительное путешествие по Англии и Шотландии. Мой отец очень любил путешествовать — только это меня и связывало с ним.

Но по мере того как приближался мой отъезд в Испанию, я становилась все мрачней и мрачней. Я чувствовала себя, как осужденный, которого ведут на казнь, а не как молодая девушка, которую будут вывозить в свет.

Я познакомилась с одной мексиканкой. Ее родственники занимали в Испании не менее видное положение, чем де ла Мора. К моему удивлению, эта дама содержала скромное ателье мод в Кембридже. Я долго обдумывала зародившийся у меня план и, наконец, упросила ее взять меня в свое ателье на небольшое жалованье. Она согласилась, и я, собрав все свое мужество, написала родителям длинное письмо. Тон этого письма был весьма взволнованный и, как мне теперь кажется, очень грустный. Я писала, что я им очень благодарна за то, что они мне дали английское воспитание, но что после Кембриджа я уже не смогу вести праздную и бесполезную жизнь. Многие девушки из лучших английских семей работают, но так как у меня нет специального образования, то я хотела бы поступить в качестве ученицы к моей знакомой мексиканке, с тем чтобы через несколько лет вернуться в Испанию вполне подготовленной к самостоятельной жизни.

Отправив письмо, я только и думала о том, каков будет ответ. Порой надежды окрыляли меня, я начинала строить воздушные замки, мечтать об ожидавшей меня работе и свободе. А потом снова падала духом, и мне все мерещилось, как я сижу рядом с бабушкой в ее карете или читаю вслух жития святых.

Ответ родителей не удивил меня. Первым ответил отец. В его письме я прочитала между строк, что мать горько плакала, узнав о моем стремлении к свободе. Его оно тоже, конечно, расстроило. Он писал, что его удивляет мое нежелание вернуться домой и помогать матери в ее светских обязанностях.

«Я вижу, тебе больше нечего делать в Англии,— писал он,— и ты должна как можно скорей вернуться к маме: она чувствует себя очень одинокой без своей любимой старшей дочери, которую она хочет вывозить в свет». К этому он прибавлял, что я должна благодарить господа бога за то, что мне не нужно трудиться, не нужно думать о зарботке, не нужно содержать ателье.

Через два дня пришло письмо от матери, и оно было полно горечи. «Английское воспитание не дало тех результатов, на которые мы рассчитывали,— писала она.— Мы думали, что из тебя выйдет настоящая леди, а вместо этого оно вселило в тебя дух противоречия».

Далее в ультимативной форме она писала о том, что придет за мной в апреле и что по дороге в Испанию мы остановимся в Париже, где закажем туалеты для моего выезда в свет.

Выйти из-под родительской власти мне было не под силу. Мне тогда только исполнилось семнадцать лет, и я была не подготовлена к самостоятельному труду. Я не могла убежать от родителей, потому что это означало обречь себя на голод и нищету.

Монахини старались убедить меня, что мои родители приняли единственно возможное решение. Но мне было страшно вернуться домой. Меня пугал характер матери, пугала чопорная, скованная приличиями и условностями жизнь в Испании.

Но тут я получила письмо от Марии Исавель: она приглашала меня провести лето в их новом роскошном дворце под Бильбао.

Настроение мое резко изменилось. Ателье в Кембридже показалось мне менее заманчивым. Ведь я была так молода, и я знала, что все, чем богат мир,—разумеется, тот мир, в котором я жила,—будет брошено к моим ногам.

И я с нетерпением стала ждать приезда матери.

II

ЗАМУЖЕСТВО. ЖИЗНЬ ИСПАНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

(1923—1931)

Мать увезла меня из тихого Кембриджа в беспокойную, глухо роптавшую Испанию.

1923 год. Вся страна еще переживает страшную катастрофу Аннуаля и Монте Арруита. Генералы, кавальеры, знать, богачи не могут забыть марокканского разгрома,—слишком велико унижение. Рабочие тоже не забыли кровавой бойни 1921 года: они все еще оплакивают восемь тысяч убитых товарищей.

Реакционное правительство, при поддержке короля Альфонса, пыталось отмахнуться от позорной марокканской кампании как от весьма незначительного события. Но испанский народ знал все, испанский народ требовал, чтобы бездарные и трусливые виновники катастрофы понесли должное наказа-

ние. «Виновники» — вот первое слово, которое я услышала, миновав испанскую границу. «Найдите виновников разгрома! И накажите их!»

Найти виновников было и легко и трудно. Здравый смысл подсказывал, что ответственность за хаос, царивший в жалкой испанской колониальной империи, должны нести продажные, разложившиеся правящие классы. Но испанцам не разрешалось не только говорить об этом, но даже думать. Всю ответственность за совершенное преступление надо было взвалить на какого-нибудь одного генерала или политического деятеля, а это оказалось не так просто, ибо все понимали, что повинен в марокканском разгроме весь государственный строй Испании.

Для роли козла отпущения больше всех подходил, конечно, генерал Беренгер, военный губернатор испанского протектората, фактически же — всей испанской территории в Северной Африке. В 1921 году он хозяйничал на двух полосках марокканской земли. Между этими колониями лежала дикая, малонаселенная страна, управлявшаяся туземными вождями. В декабре месяце генерал Беренгер вздумал раз навсегда прибрать к рукам эту непокорную страну. Его войска и войска генерала Сильвестре стали наступать с разных концов. Казалось, плохо вооруженные, необученные туземцы должны неминуемо покориться цивилизованным испанцам, которые несли им рабство или смерть, или и то и другое.

Но поход двух генералов начался на редкость неудачно. Ни генерал Сильвестре, командовавший испанскими войсками, состоявшими из бедняков, насильно завербованных в Мадриде и Барселоне, ни генерал Беренгер, командующий иностранным легионом и туземными войсками, не могли рассчитывать ни на моральное состояние, ни на боевой дух своих солдат. Испанские солдаты ненавидели офицеров, ненавидели власть, которая оторвала их от семьи и послала убивать людей, защищавших свою свободу. Нечего говорить о том, как ненавидели испанских офицеров туземные солдаты.

Испанские офицеры, получавшие скудное жалованье, издавна привыкли смотреть на Марокко как на золотое дно. В Марокко офицерам платили вдвое-втрое больше, чем в метрополии. Колониальные офицеры получали лучшие квартиры, имели больше шансов на продвижение, и вообще служить тут было легче. Пробыв в Марокко шесть лет, испанский офицер вместе с солидными сбережениями привозил в Испанию марокканские ковры, мебель, безделушки. Его дальнейшая карьера была обеспечена. Благодарное правительство всяче-

ски старалось облегчить жизнь офицерам колониальных войск.

И это было тем более странно, что испанские офицеры приносили в колониях скорей вред, чем пользу. В противоположность офицерам британских и французских колониальных войск, испанские генералы, полковники и лейтенанты ровным счетом ничего не делали в Марокко, конечно, если не считать того, что своим поведением они приводили в ярость туземцев, насиловали их жен и до бесчувствия напились в кафе. Испанские офицеры не изучали туземный язык, презирали туземные обычаи, издевались над туземными вождями. Французские империалисты заигрывали с туземными вождями и льстили царькам, у которых они отнимали земли. Офицеры испанской армии не ввозили в Северную Африку ни гигиены, ни льстивых слов. Впрочем, хитрый туземный вождь Абд-эль-Керим получил-таки урок вежливости у генерала Сильвестре.

Однажды Абд-эль-Керим, служивший в Мелилье, в Центральном бюро по делам туземцев, обратился к гордому испанскому генералу с какой-то просьбой.

Тот выслушал своего помощника, но ничего не ответил: стоит ли тратить слова на туземца? Вместо ответа он ударил его саблей плашмя.

— Пора бы знать Испанию и испанцев,— сказал генерал Сильвестре, вкладывая саблю в ножны.

И Абд-эль-Керим узнал.

«Усмирение» туземцев, занимавших ту территорию, что врезалась клином в испанские владения, началось в декабре 1921 года и ознаменовалось незначительными успехами испанских войск. Наконец Беренгер приказал генералу Сильвестре двинуть свои войска в направлении, указанном в плане. Но генерал Сильвестре был фаворитом короля Альфонса, которому очень нравилось передвигать флажки на карте военных действий. И король приказал своему любимцу, прежде чем тот приступит к исполнению скучных обязанностей егеря на охоте генерала Беренгера, занять несколько туземных городов.

Генерал Сильвестре с отрядом в пять тысяч человек двинулся в поход. Пески пустыни поглотили этот пятитысячный отряд, намеревавшийся занять два туземных города, и никто никогда не увидел больше ни генерала Сильвестре, ни его солдат.

Абд-эль-Керим узнал, что такое испанцы, от генерала Сильвестре. И тот же Абд-эль-Керим командовал мароккан-

скими войсками, уничтожившими его учителя вместе со всем отрядом.

Тогда, чтобы спасти положение, выступил генерал Беренгер. Но города, один за другим, сдавались Абд-эль-Кериму. Испанская армия не могла сдержать натиск людей, дороживших свободой больше, чем жизнью. На смену кадровым частям в Марокко прибыли запасные, но их окружали риффы, и они сдавались.

Насильно мобилизованный, наспех обученный трудовой люд, заселявший узкие, тесные улочки Мадрида и Барселоны, разумеется, не представлял серьезной опасности для Абд-эль-Керима.

Вся Испания забурлила, когда до нее дошли эти страшные вести. Но ее ожидал последний, горший удар. Генерал Наварро, посланный из Испании со специальной целью навести порядки в Марокко и занимавший со своим двухтысячным отрядом важную стратегическую позицию под Монте Арруит, был окружен риффами. Генерал Беренгер приказал ему сдаться. Тридцать риффских военачальников явились с белым флагом в маленький, обнесенный стеной город для ведения мирных переговоров. Когда условия мира были приняты и дело дошло чуть ли не до подписания документов о сдаче города, кто-то — до сих пор неизвестно, кто именно, — крикнул: «Измена!» Испанские офицеры бросились на парламентаров и уложили их на месте.

Наступила ночь. Риффские парламентары не вернулись. Лазутчик принес страшную весть об их убийстве. Тогда Абд-эль-Керим двинул войска на Монте Арруит. Риффы не брали пленных: в ту ночь почти весь отряд генерала Наварро был уничтожен.

Итак, кучка риффов разгромила пятидесятитысячную королевскую армию. Восемь тысяч солдат погибло во время этого совершенно бессмысленного похода. Монте Арруит был последней каплей, переполнившей чашу терпения испанского народа. Восстала Каталония, где были сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия. Рабочие Барселоны выступили против принудительного набора, против продажной и бездарной военщины, против авантюры мадридского правительства.

Альфонс, которого все обвиняли в марокканской катастрофе, решил прекратить вмешательство своих подданных в его дела. В Барселону был послан генерал Мартинес Анидо, славившийся своей жестокостью даже среди испанских генералов.

На улицах Барселоны было убито двести двадцать восемь человек,— таков был результат «деятельности» Мартинеса Анидо.

Однако Альфонсу не удалось убедить Испанию в том, что Марокко — это всего лишь несчастный случай. Никакие генералы Анидо не могли усмирить «туземцев» Каталонии. Армия была опозорена. К власти пришли либералы.

Новое правительство сделало все от него зависящее, чтобы успокоить возмущенное население Мадрида и Барселоны. Во главе военного и морского министерств были поставлены штатские. В Марокко был послан гражданский уполномоченный, сменивший военного губернатора. Даже церковь слегка ударили по рукам. Духовенству запретили продавать произведения искусства, найденные в церквях и монастырях. В течение многих лет испанские епископы и кардиналы наживали состояния на продаже ценнейших картин и вышивок, которые они обнаруживали на чердаках старинных церквей и часовен. Много замечательных произведений испанского искусства попало, таким образом, в американские, английские и французские музеи и к частным коллекционерам. Либеральное правительство положило этому конец.

До сих пор единственно дозволенной законом религией была у нас католическая. И вот, один из членов кабинета предложил внести изменение в конституцию и установить свободу совести, но оскорбленные министры заставили его немедленно подать в отставку.

И все-таки предложение было сделано. Самый факт, что в состав правительства входил человек, осмелившийся выступить с таким кощунственным предложением, как узаконение «еретических» религий, привел в ужас всех наших знакомых.

Но, несмотря на некоторые нововведения, несмотря на ряд мероприятий, осуществленных либеральным правительством, испанский народ не был удовлетворен. «Найдите виновных! Виновных!»

Да, неприветливой, неспокойной нашла я Испанию, вернувшись домой из кембриджской школы.

Мне минуло семнадцать лет. Передо мной открывалось блестящее будущее. Все было предусмотрено заранее. Во-первых, я буду дебютировать в свете, или, как говорили в Испании, настала пора *vestirme de largo*, то есть надеть длинное платье и носить прическу. Конечно, в 1923 году мы ходили в коротких платьях и были коротко острижены, но,

когда речь шла о молодых девушках, впервые выезжавших в свет, мы все еще употребляли это старинное испанское выражение.

Мой дебют не означал, однако, что я буду официально представлена испанскому высшему свету, как это бывает, например, в Англии. В Испании высший свет отличался большей консервативностью и, вместе с тем, был менее церемонен. Так, например, испанских девушек высшего круга не представляли двору. Когда они становились взрослыми, их просто приглашали на придворный бал, конечно, в том случае, если их родители и раньше посещали придворные балы. Официальных же представлений при испанском дворе не полагалось.

Точно так же и родители молодых девушек не устраивали у себя специальных вечеров, во время которых они представляли бы свету своих дочерей. Вместо этого в довоенной Испании мать с дочерью ездили с официальными визитами к своим наиболее влиятельным друзьям. И уже после этих визитов девушку приглашали на вечера к друзьям ее матери.

Но к тому времени, когда я вернулась из Англии, и этот старинный обычай почти исчез. Чай, за которым следовали танцы, и теннис, перекочевавшие к нам из Англии, вытеснили прежние обычаи мадридского высшего общества. Однако я знала, что, хотя достаточно поставить в известность некоторых наших старых знакомых, что старшая дочь де ла Мора готова *vestirse de largó*, мать все-таки повезет меня к ним. А затем, после того как мать тщательно изучит список полученных мной приглашений, я сделаю свой первый визит, и он-то и явится моим «дебютом».

Этот «дебют» будет первым моим шагом в той жизни, для которой меня готовили родители. Приблизительно около года я буду флиртовать, танцовать, ездить в гости, — конечно, всегда с матерью. Затем отец разузнает всю подноготную моих поклонников. В девятнадцать лет я буду помолвлена с солидным, благоразумным кавальеро, составившим себе капитал, занимающим определенное положение в обществе. В двадцать лет меня ожидает торжественное венчание, парижское приданое и трехмесячное свадебное путешествие.

А что будет потом — об этом, собственно, и говорить не стоит. Моя жизнь, хорошо налаженная, потечет ровно, спокойно, и ничто уже не нарушит ее размеренного хода.

Мать приехала в Кембридж заметно взволнованная. Ведь теперь ей надлежало руководить той тонкой игрой, которая

будет тянуться три года. Меня, как и всех богатых детей в Испании, воспитывали няни, гувернантки, монахини. Но теперь, когда я уже считалась взрослой, теперь, когда мне предстояло выступить на мадридской ярмарке невест, я должна была неуклонно следовать наставлениям матери. Для девушек среднего сословия матери нанимали на несколько часов в день старух-компаньенок, которые семенили за ними по улице. Моя же мать, как и подобает аристократке, с момента нашей встречи в Кембридже сама решила стать моей постоянной спутницей. Теперь без нее мне нельзя будет и шагу ступить на улице, только с ней могу я ездить в гости и на танцы, которые должны сделать мою жизнь веселой. Я и моя мать будем теперь неразлучны, хотя мы и не любим друг друга по-настоящему. В школе меня учили любить родителей и слушаться их. И теперь мне оставалось только попробовать подчиниться моей матери, несмотря на то, что она была для меня почти чужим человеком: ее вкусы казались мне странными, ее взгляды были мне чужды, привычки — неприятны.

Когда мы ехали в экспрессе Париж — Мадрид, мать неожиданно объявила мне:

— Я должна с тобой поговорить.

Она произнесла эти слова серьезным, почти строгим тоном, и я вся задрожала... Сейчас она заведет разговор о моем злосчастном письме.

— Ты возвращаешься в Мадрид,— начала она.— Испания — не Англия, и это меня, конечно, очень радует. Мы с твоим отцом горько раскаиваемся, что дали тебе английское воспитание. Оно явно не подготовило тебя к той жизни, которую ты будешь вести в Испании.

Я попыталась прервать ее:

— Но, мама, вы не понимаете, вы не знаете, что...

— Твой отец просил тебе это передать,— не слушая меня, продолжала она.— По крайней мере, в Мадриде ты должна вести себя, как настоящая сеньора. Мы с твоим отцом надеемся, что ты во всем будешь нам повиноваться.

Мое лицо, должно быть, приняло испуганное выражение.

— Констансия!—с досадой воскликнула мать.— Отчего ты такая грустная? Ведь ты же будешь выезжать в свет, тебе будет весело, потом ты встретишь своего будущего мужа, а у тебя сейчас такой вид, словно тебя ожидает тюрьма.

Заметив мой протестующий жест, она слегка запнулась.

— Ни одна благовоспитанная девушка не станет требовать такой «свободы», о которой ты писала,— снова горячо заговорила она.— Мне никогда не было скучно вести себя так, как подобает испанской сеньоре, и я никогда не считала свой дом тюрьмой.

У меня не нашлось слов для ответа.

— Почему тебе хочется ходить по улицам одной? — возмущалась мать.— Неужели ты забыла все, чему тебя учили благочестивые мадридские монахини? Мы с отцом хотим оберегать тебя, а ты... у тебя уже родился какой-нибудь дикий план, может быть, ты...

— Мама! — с горечью проговорила я. Она смолкла.

Но это была лишь первая наша размолвка. Три года, проведенные в Англии, не прошли для меня даром: патриархальные мадридские нравы казались мне унижительными. Ходить по улицам с гувернанткой, словно я маленький ребенок! Никогда ни с кем словом не перемолвиться наедине!..

Дома меня ожидала новая неприятность. Мать пригласила молодую англичанку, мисс Мерриден, которой поручалось следить за мной в случае, если мать заболит или будет занята прической и не сможет ехать со мной кататься или сопровождать меня на прогулке. Самое присутствие мисс Мерриден бесило и унижало меня.

Но тут, по крайней мере, моя мать была посрамлена. Вскоре выяснилось, что мисс Мерриден — возлюбленная одного графа, дочерей которого она воспитывала. Об этом знал весь Мадрид, кроме моей матери. Мисс Мерриден немедленно покинула наш дом, а мать, совершенно убитая, должна была подыскивать другую компаньонку, более подходящую для того, чтобы оберегать невинность молодой девушки.

Мой приезд произвел у нас в доме сенсацию. Все помнили меня высоким, неуклюжим подростком с длинными, тонкими ногами, узкими плечами, длинной шеей и маленькой головой. Брови у меня были почти такие же широкие, как у отца. Гладкие же черные волосы, заплетенные в две тонкие косички, отнюдь не украшали меня. Такой я была три года назад.

И вот теперь, когда я, выйдя из лимузина, поднялась по лестнице в дом, вся семья начала рассматривать меня с нескрываемым любопытством. Я пополнела, волосы мои были подстрижены и завиты, брови тщательно подбриты. Об остальном позаботились парижский институт красоты и изящные дорогие платья.

Весь наш клан приветствовал возвращение юной Констанции, которая могла успешно конкурировать с девушками из лучших мадридских семей. Все были мне рады — начиная с дедушки и бабушки и кончая слугами. Гадкий утенок выдержал экзамен. Моя судьба не внушала опасений.

Мать повела меня в мою прежнюю комнату. Скромную спальню школьницы она превратила в модный, роскошно обставленный будуар, где я могла принимать своих старых школьных подруг, читать и заниматься. Сперва я пришла от него в восторг, но тут же почувствовала раздражение. В 1923 году красная лакированная мебель и обои на стенах считались в Мадриде высшим шиком. А я сразу возненавидела и рисунок на обоях, и туалетный столик, и зеркало в оправе из лакированного дерева.

За этим «сюрпризом» последовал другой. Я только собралась распаковать вещи, как вдруг мать, выходя из моей комнаты вместе с злосчастной мисс Мерриден, позвонила, и вошла новая горничная, Хулия. Это взбесило меня еще больше, чем лакированная мебель и мисс Мерриден вместе взятые. Когда мы с сестрами учились в монастырской школе, нашей горничной была простая крестьянская девушка. Она купала нас, гладила нам воротнички, заплетала косы, стелила постели. Но Хулия ничем не напоминала эту веселую, приветливую, неотесанную деревенскую девушку. Хулия, пожилая женщина, сестра приходского священника, была настоящая модная «камеристка», высокомерная, заносчивая, болтливая.

Как только я взглянула на Хулию, мне сразу стало не по себе. Когда же мать и мисс Мерриден вышли из комнаты, Хулия опустилась перед мной на колени, чтобы снять с меня туфли и чулки. Я часто видела, как горничная матери, помогая ей одеваться, становилась перед ней на колени, но тут меня всю передернуло. Через несколько дней я не выдержала и сказала Хулии, что я ей больше не позволю стоять передо мной на коленях и натягивать на меня чулки. И с тех пор, когда я поспешно раздевалась, она обычно слонялась без дела по комнате, и мы обе чувствовали себя крайне неловко.

Не успела я разобрать свои вещи, как мать начала выводить меня в свет. В то время в Мадриде существовало два рода балов. «Вечерний» бал начинался после позднего мадридского обеда, то есть часов в 10—11, и кончался очень поздно. «Дневной» начинался в 6 часов и кончался часов в 10—11, то есть перед самым обедом. «Вечерние» балы

давались пять-шесть раз в год, и устраивала их мадридская знать и иностранные посольства.

Первый мой выезд в свет состоялся в июне. Мы были приглашены к одной баронессе, славившейся своими «дневными» балами и париком. Впрочем, поистине необыкновенным был у нее парик, а никак не балы. Я так и не узнала, что он прикрывал — лысину или седину, но только он был черный, как смоль, и весь в буклях; к приходу гостей она прикалывала сбоку бриллиантовую брошь. Гостей она приглашала для внуков и почти никогда не звала к себе людей, более подходящих ей по возрасту. Обычно она, вместе с другой старой каргой, теткой короля, инфантой Исавель, сидела на возвышении и смотрела, как веселится молодежь.

В день дебюта на мне было шитое по фасону, выбранному моей матерью, черное шелковое декольтированное платье с пышными рукавами и узким лифом. Широкая юбка была отделана внизу полосками из красного и голубого бархата. Тех же цветов бархат украшал огромную соломенную шляпу.

Мы приехали на бал в новом автомобиле американской марки, который только что приобрел отец. Лакеи в коротких штанах, длинных чулках и белых париках провели нас в большую гостиную, как раз напротив балльного зала. Меня подвели к хозяйке дома; та, в свою очередь, подвела меня к инфанте Исавель, являвшейся на эти неофициальные «дневные» балы в качестве представительницы короля и королевы.

Инфанта Исавель играла большую роль в великосветском обществе. Король и королева посещали только вечерние балы, да и то не всегда, и на дневные развлечения мадридского высшего света они посылали инфанту: своим присутствием она должна была придавать им известный блеск. Кто видел инфанту в домашней обстановке, окруженную на редкость некрасивыми вещами, к которым она почему-то питала страсть, кто видел инфанту, одетую в серое шелковое платье, сидящую в неудобном викторианском кресле и делающую вид, будто она вяжет или читает, а на самом деле просто дремлющую, тот мог подумать, что это обыкновенная старуха из мещан. По внешнему виду она всегда напоминала мне донью Рамону, жену нашего управляющего. У обеих на лице были красные пятна, у обеих был такой вид, точно их вот-вот хватит апоплексический удар. Только донья Рамона постарела оттого, что много работала и много страдала, а инфанта постарела и растолстела, вероятно, оттого, что слиш-

ком много ела и никогда ничего не делала. Она упрятывала свои жирные телеса в тугий корсет, который ясно обозначался под серым шелковым платьем. Должно быть, этот тугий корсет и был повинен в том, что почтенная сеньора в любой момент могла перейти от дремоты к крепкому, здоровому сну.

Меня удивляла ее популярность среди простого народа. Когда она в коляске или в автомобиле проезжала по улицам, ее приветствовали так горячо, как никогда и никого из других членов испанской королевской семьи. Быть может, простой образ жизни, который она вела, а также то, что она не вмешивалась в политику и не была причастна ни к одному из мрачных событий испанской истории того времени, способствовали ее относительной популярности, но тут, несомненно, играло роль еще одно обстоятельство: инфанта была испанка. Королева-мать была немка, жена короля — англичанка, и в укладе жизни королевской семьи не было ничего испанского. Старая инфанта жила в старом дворце, на одной из старинных мадридских улиц, а лето проводила во дворце Ла Гранха, выстроенном ее предком, Филиппом V. Долгие годы дворец и его прекрасные тенистые сады пустовали: семья короля предпочитала проводить лето в более оживленных и веселых резиденциях. Но инфанте дворец нравился, и, мне кажется, народ одобрял ее за это. Надо отдать справедливость почтенной сеньоре: она отнюдь не искала популярности, — это вышло случайно, помимо нее. Ей просто некогда было об этом думать: слишком часто она погружалась в дремоту. Да и вообще, даже в Испании мало нашлось бы таких тяжелодумов, как она.

Все, что окружало старую инфанту, как-то удивительно гармонировало с ней. Она необыкновенно подходила и к той картине дневного бала, что открылась мне в день моего дебюта, ибо молодежь, с которой я познакомилась на этом балу, по своим взглядам оказалась столь же допотопной, как и добрая старая инфанта Исавель.

Я сама, несмотря на свое английское воспитание, начала жизнь в мадридском свете с жеста, который был очень принят в Испании прошлого века. Вернувшись из Англии, я застала бабушку тяжело больной. Набожная католичка, воспитанная в испанских традициях, я дала обет не танцовать два года, если бог сохранит мне бабушку. Правда, жертва была невелика, потому что, если бы бабушка умерла, я все равно должна была бы, как того требовал испанский обычай, носить глубокий траур, не танцовать и не показываться в обществе по крайней мере год. И вот, когда кавалеры стали

подходить к нам и просить у моей матери разрешения пригласить меня на танец, я говорила им о моем обете. Они не отходили, у нас завязывалась беседа, и матери других «дебютанток» почувствовали опасную соперницу в лице юной де ла Мора, сочетавшей в себе «современное» английское воспитание со смиренной набожностью старой Испании.

Вернулась я с «дебюта» горько разочарованная. Мать уверяла меня, что я встречу на балу цвет мадридской молодежи. А мне она показалась ужасной. Я никогда еще не видела столько скучных и глупых людей сразу. Все это я высказала матери, и она недовольно поджала губы.

Через несколько дней мы поехали на скачки, где собирался весь высший мадридский свет. Тут можно было встретить и молодежь и стариков. Мать сидела со своими друзьями в ложе. Меня же, как это было принято, девушки и молодые люди пригласили пройтись по лужайке. Этой прогулки я не забуду никогда. Уже через десять минут я убедилась, что мои мадридские сверстники совершенно невыносимы. Я убежала от них, спряталась под трибуну и тут же, на виду у продавцов билетов и программ, разрыдалась. Мать, разыскав меня, нетерпеливо выслушала мои объяснения. Я пыталась втолковать ей, что одна мысль о том, что я должна буду выйти замуж за одного из этих тупых, скучных человекообразных существ, приводит меня в ужас. Не сказав ни слова, мать увезла меня домой, а я про себя решила, что, чего бы мне это ни стоило, я ни за что не сделаю «блестящей» партии.

Дневной бал и скачки были только началом. Каждый день я ездила на обеды, на теннис, на танцы, хотя попрежнему упорно отказывалась танцевать. В саду у моего дяди, герцога Мауры, женатого на богатой кубинке, была теннисная площадка. Его дочери дебютировали в свете вместе со мной. Они часто приглашали гостей на теннис, и, встречая у них все мадридское высшее общество того времени, я всякий раз испытывала то же гнетущее чувство, какое впервые охватило меня на ипподроме.

Мне удалось добиться успеха в обществе, потому что на этом настаивала мать. Я улыбалась, играла в теннис, выучилась болтать о пустяках. Но в обществе знатных и титулованных испанцев мне никогда не было весело и приятно.

Наконец даже мать заметила, что юные мадридские аристократы — это бесцветные, вялые, глупые люди. Однажды я слышала, как она говорила своей приятельнице, что среди наших знакомых она не встретила, пожалуй, ни одного снос-

ного молодого человека. Вместе с тем она рассчитывала, что в этом узком великосветском кругу я найду себе мужа.

Сезон подходил к концу. Я пригласила свою подругу Энн Тиррелл провести лето у нас в Ла Мате и едва могла дожидаться последнего вечернего бала. Отец Энн получил пост товарища министра иностранных дел. В Англии я часто проводила у них воскресные дни и каникулы, и теперь моя мать хотела отплатить им за гостеприимство.

После скучных дней, проведенных в обществе только что окончивших монастырскую школу испанских девушек, я мечтала как можно скорей встретиться с моей подругой по английской школе. Выехав в Ла Мату, я впервые за последние месяцы почувствовала себя счастливой.

Энн ехала от Эндайи экспрессом. Мы встретили ее в Сеговии, откуда было два часа езды до Мадрида, и повезли прямо в Ла Мату. Первое, что она увидела в Испании,— это изумительные окрестности нашего имения.

На другой день нам запрягли в шарабан пони, и я повезла Энн осматривать наши владения. Мы останавливались в двух ближайших деревушках. Пожалуй, их нельзя было назвать деревнями: в каждой было не более девяноста жителей и одна церковь. Энн показалось, что это покинутые деревни.

— Ну, уж тут, конечно, никто не живет!— воскликнула она.

Я с изумлением обернулась. Энн указывала на непрочное сооружение из камней и глины. Я знала наверное, что в этой развалюшке живет человек двадцать. Сейчас вся семья, даже грудные дети, находилась в поле. Крестьяне работали целый день и возвращались домой лишь с наступлением темноты. Поэтому в обеих деревушках не было видно ни души.

Прежде чем приехать в Испанию, Энн Тиррелл много путешествовала и много видела, но Ла Мата потрясла ее. Обычно иностранцы посещают сперва большие города, осматривают соборы, картинные галереи и, очарованные виденным, забывают про все остальное. Посетить сначала деревушки — это очень необычно для иностранки. Тем сильнее было недоумение моей подруги, и оно открыло мне глаза на многое.

Я еще в детстве бывала в крестьянских хижинах, и мне казалось вполне естественным, что крестьяне живут в грязи и в нищете. Но теперь ужас, который испытывала Энн, перешелся и мне.

На следующее утро мы встали рано и отправились гулять.

Мы выбрали одну из самых приятных прогулок в Ла Мате — мимо развалин монастыря XV века. На обратном пути мы зашли в деревню, и я повела Энн к крестьянам, которые чуть не двадцать лет работали на нашу семью.

Ихиния — так звали хозяйку — еще сохраняла следы былой красоты. Но тяжелые полевые работы, восемь человек детей и скудная пища к 35 годам сделали из нее старуху. На вид ей можно было дать больше пятидесяти. Я уверена, что всю свою жизнь Ихиния мыла только руки и лицо, да и то весной, когда ополаскивала посуду в ручье. Зимой ручей замерзал, а летом высыхал. Питьевую воду вся деревня брала из источника, бывшего на кладбище. Конечно, городские жители сказали бы, что вода с кладбища не пригодна для питья, но у Ихинии и ее односельчан не было другого выхода.

Мужа Ихинии, Романа, уважала вся деревня. Раньше он служил в армии и даже побывал в Мадриде. Поэтому он пользовался среди крестьян особым авторитетом, как человек, много повидавший на своем веку и обладавший большим жизненным опытом. Кроме того, он считался ученым: он умел читать, и хотя с трудом, но писал. После же знаменитой истории с белым голубем слава о его учености распространилась по всей округе.

Когда Ихиния забеременела первым ребенком, Романа взяли в армию. Наконец ей пришло время родить: испуганная, одинокая, она позвала деревенскую бабку. Ей было очень плохо, и бабка, опасаясь за жизнь своей пациентки, привязала ей к животу белого голубя, который должен был спасти больную от «родильной горячки». Роман вернулся как раз вовремя для того, чтобы спасти жену от голубя, два дня бывшего у нее на животе, и от других, столь же эффективных методов лечения.

Крестьяне очень удивились, когда узнали, что белый голубь не только не помогает при родильной горячке, но, наоборот, может вызвать ее. До сих пор никто им не говорил, что у роженицы должно быть чистое белье и чистая постель. Священник стал относиться с подозрением к человеку, который возымел большое влияние на односельчан и презирал старые методы лечения. Но крестьяне признали, что Роман прав, и, несмотря на противодействие священника, лечение родильной горячки при помощи белых голубей прекратилось.

Роман был человек музыкальный. На праздниках крестьяне со всей округи приглашали его к себе наперебой, и он один

заменял целый оркестр. Благодаря этому он сделался «состоятельным» человеком: часто он зарабатывал до пяти песет в день, то есть вдвое больше, чем на полевых работах, когда приходилось гнуть спину от зари до зари. Но и при таком относительном благополучии его семья, состоявшая из пяти человек, питалась очень скудно и не имела теплой зимней одежды.

У Романа была такая же хижина, как и у всех в этой деревне. С улицы вы попадали в сени, оттуда одна дверь вела в кухню, другая — в спальню, а третья — в хлев. Через эти сени проходили и люди и животные. Летом мухи, налетавшие из хлева, делали жизнь в доме совершенно невыносимой. От них спасались лишь тем, что держали дом в полной темноте. Впрочем, зимой в доме тоже было темно: два маленьких квадратных отверстия в кухне и жилой комнате пропускали очень мало света, так как их заколачивали досками от холода, а стекол наши крестьяне не видали в глаза. Летом можно было дышать только в сенях, где стоял большой деревянный ящик и лавки и где находилась питьевая вода. Пол, конечно, был земляной; его каждый день поливали.

Мы с Энн были почетными гостями, поэтому Роман провёл нас в спальню и, в виде особой чести, усадил на старый диван с прямой спинкой, которым он гордился. Но визит наш начался неудачно. Я объяснила, что Энн приехала из далекой чужой страны и не говорит по-испански. Но до крестьян это не дошло. Не говорит по-испански? Стало быть, сеньора — глухая. Роман и его жена стали громко кричать, а Энн густо покраснела от смущения. И вдруг я поняла, — и мне стало очень стыдно при этой мысли, — что двое самых культурных наших крестьян не знают о том, что существуют еще и другие страны, кроме Испании, что люди говорят и на других языках, а не только по-испански. До этого мне и в голову не приходило, как чудовищно невежественны крестьяне, работающие на земле моего отца.

И тут я впервые осознала, хотя и не до конца, что и я, и моя семья в какой-то мере ответственны за темноту наших крестьян.

Роман и Ихиния, не догадываясь о своей ошибке, принялись выражать сочувствие моей бедной глухой подруге, такой молодой и такой несчастной! Совсем глухая, в таком возрасте! Они открыли сундук и, бережно приподняв красивые праздничные платья, которые переходили по наследству от отцов к детям и одевались только в особо торже-

ственных случаях, достали все лучшее, чем они могли нас угостить: свиные колбасы прошлогоднего засола и свиное сало.

Выражение лица у Энн было достаточно красноречивое, поэтому мне пришлось съесть двойную порцию всего этого и объяснить, что Энн больна. Но старая бабушка, действительно глухая, видя, что Энн отказалась от колбасы, решила поддержать честь семьи. Из глубины своего кармана она вытащила кусок сухой трески, который она припасла на зиму, когда у них ничего не будет, кроме хлеба и лука. Потребовалось не меньше пяти минут, чтобы объяснить старухе, почему Энн не станет есть сухую треску — даже после утренней прогулки!

Мы возвращались домой в мрачном настроении. Всю свою жизнь я прожила бок о бок с крестьянами и так привыкла к их невежеству, нищете, грязи, что просто не замечала этого. Мои дяди любили подшутить над крестьянами и рассказать об этом за обедом. Они нарочно задавали крестьянам нелепые, смущавшие их вопросы, чтобы затем вволю посмеяться над ними. А теперь я неожиданно увидела в этих крестьянах людей, в порыве жалости к ним я поняла их печаль, их вечную скорбь.

Жгучий стыд охватил меня.

Но мне было семнадцать лет, моей подруге — восемнадцать, стояла прекрасная летняя погода, и мы скоро забыли о крестьянах. Жилось нам очень весело. В двенадцати милях от Ла Маты стоял древний замок Ла Гранха, где проводила лето инфанта. Несколько аристократических семей, предпочитавших горы морскому побережью, тоже приехали в Ла Гранху, под крылышко старой тетки короля. «Звездами» этого летнего сезона оказались Маричу, Энн и я. Каждый день мы играли в теннис в фешенебельном клубе теннисистов, в Ла Гранхе. Почти каждый вечер мама созывала гостей, часто устраивала для нас танцы. А в сентябре в Ла Мате состоялась первая большая охота.

В Англии охота на лисицу или на куропаток — это торжественная церемония, требующая соблюдения строжайшего ритуала. В Испании же охота сопровождается невообразимой кутерьмой, различными забавными приключениями, шумной болтовней. Отец пригласил на охоту двадцать человек, среди них несколько лучших в Испании стрелков. Для местных крестьян их приезд явился крупнейшим событием за последние десять лет. Едва улеглось волнение, вызванное двадцатью всадниками, промчавшимися по проселочным дорогам, как

прибыли охотничьи собаки. Герцог Мединасели одолжил отцу свою jaugia — свору охотничьих собак, которые всю дорогу, с юга Испании до Ла Маты, находились на попечении дворецкого. Дворецкий выглядел почти так же живописно, как и его питомцы. На нем была широкополая шляпа, короткая куртка и кожаные штаны. Вид у него был крайне озабоченный.

Утром все охотники собрались во дворе. Псаря с собаками уже отправились в горы, где в жаркое лето прятались олени, лисы, кабаны. Было условлено, что собаки погонят их вниз, на равнину, а там их встретят охотники, готовые выстрелить по первому знаку.

Но охотников, их жен и дочерей оказалось, значительно больше, чем удобных стоянок. Поэтому каждая дама должна была сопровождать охотника и развлекать его, пока собаки не учуют зверя. Мать, внимательно следившая за мной, указала мне на одного скучного пожилого человека, друга моего отца. Но у меня были другие планы. Среди гостей находился молодой дипломат, ожидавший назначения в одно из наших посольств. Его отец, маркиз, издавал глупейшую испанскую газетку, которая предназначалась для аристократов и не поступала в розницу, а рассылалась по подписке. Из нее можно было узнать все сплетни. Моя мать, как и все светские дамы в Испании, постоянно читала ее. Но меня интересовала не газета, а молодой человек, который мне, неопытной девушке, показался веселым, умным, даже несколько загадочным, и успел произвести на меня впечатление.

И вот, когда охотники отправились занимать свои места, мне удалось переменить партнера, и весь день, пока шла охота на кабанов, я флиртвала с моим галантным кавалером. Вечером, когда мы с ним вернулись домой, все уже были в сборе и праздновали удачную охоту. Мы были встречены веселыми шутками.

Ложась спать, я призналась Энн, что влюблена.

— Разве можно так скоро влюбиться? — взглянув на меня с удивлением, спросила Энн.

Этой охотой закончился сезон в Ла Мате. Мои родители повезли Энн в Англию. С ними поехала и Маричу, которая уже второй год училась в кембриджской школе. Мать перестала считать английское воспитание полезным для юных испанских аристократок, но отец не хотел отказать одной дочери в том, что он разрешил другой.

Я выехала из Ла Маты в один день с родителями, но

не в Англию, а в Арилусе. Мой новый поклонник вернулся в Мадрид, вероятно, для того, чтобы признаться денег и последовать за мной.

Я ехала веселиться в приморский курорт, к моей старой школьной подруге Марии Исавель, и у меня было легко и весело на душе.

А между тем назревали крупнейшие политические события.

Я приехала в Арилусе за два дня до переворота, который совершил Примо де Ривера. Он нарушил присягу и с одобрения короля установил военную диктатуру, в течение многих лет угнетавшую испанский народ.

Нам с Марией Исавель не пришлось увидеть, как перевернулась эта важная страница испанской истории. Семья Марии Исавель и я были приглашены на бал к вдовствующей королеве во дворец Мирамар. Но мы с Марией хорошо знали, как скучны и чопорны эти придворные балы, и отклонили приглашение. Старшие поехали одни, ворча на легкомысленную молодежь.

Вернулись они в сильном волнении. Генерал Примо де Ривера произвел переворот, король в их присутствии встретил эту новость с радостной улыбкой. Весь следующий день от маркиза не выходили его политические единомышленники: им стало известно, что вечером, накануне переворота, он имел беседу с королем.

— Я думаю, Альфонс знал о восстании еще накануне,— говорил маркиз, польщенный тем, что сразу стал центром внимания.— Он совсем не показался мне пораженным, скорее наоборот, очень довольным.

Всем было ясно, почему король радовался установлению военной диктатуры. Не оставалось никаких сомнений, что он сам принимал участие в подготовке переворота, ибо без его одобрения браваый генерал никогда не нарушил бы своей присяги конституции.

Испанских реакционеров раздражало, более того, страшило стоявшее у власти либеральное правительство. Не потому, чтобы при корумпированной монархии ему удалось провести некоторые реформы, и не потому, чтобы оно хотя бы рассуждало о необходимости этих реформ — нет, военщину, короля, помещиков и капиталистов возмущали даже те робкие предложения, которые вносились либеральными министрами с целью сделать правительство несколько более жизнеспособным.

Хилое либеральное правительство постепенно приучало народ думать, а это было все равно, что предложить голодному тарелку жидкого супу. Конечно, голодный съест суп. Но это не утолит его голода, а только возбудит в нем аппетит к мясу и белому хлебу. Так и испанский народ, веками угнетаемый тупой, злобной монархией, не мог насытиться тем жиденьким супом, который ему предлагало либеральное правительство. Его потянуло на другую пищу.

Вполне естественно, что недовольство испанского народа раньше всего проявилось в Барселоне, единственном крупном промышленном центре страны, не считая Бильбао. Новые фабрики и новые электростанции принесли с собой новые идеи, и именно здесь реакционерам было трудней всего держать народ в темноте и невежестве. Именно у здешних реакционеров было больше всего поводов опасаться, что при конституционной монархии им не удастся сохранить низкий уровень заработной платы и изнурительный рабочий день. Надо было создать «сильное» правительство. Что же удивительного в том, что диктатором был сделан военный губернатор Каталонии, генерал Примо де Ривера, прямой обязанностью которого являлось задушить растущее движение каталонского народа за демократию?

Тем, кто обсуждал все эти вопросы в замке у маркиза, причины генеральского мятежа были понятны. Оставались открытыми два вопроса. Что скажет об этой диктатуре, выдвинутой активизировавшимися капиталистическими кругами Испании, мой дед — глава консервативной партии, лидер земельной аристократии? И какую роль играет в перевороте иностранный капитал?

На второй вопрос не замедлил ответить сам диктатор, который принялся щедро раздавать испанские земли, богатые полезными ископаемыми, своим иностранным «друзьям», помогавшим ему притти к власти. Что касается моего деда, то встревоженный маркиз, всегда разделявший политические убеждения дона Антонио, так и не добился от него ясного ответа. Было совершенно очевидно, что мой дед, как и все испанские помещики, не одобрял диктатуры. Дон Антонио всю жизнь боролся против военщины, вся наша семья открыто выказывала презрение к генералам и к офицерам вообще. Однако по всему было видно, что дед не возражал против переворота. Когда страсти несколько улеглись, выяснилось, что еще задолго до переворота король советовался по этому вопросу с доном Антонио. И тот ответил в таком духе, что, пожалуй, следует «позволить управлять тем, кто не позволяет

управлять другим». «Дайте армии веревку, чтобы она на ней повесилась», — по-испански уклончиво и по-испански образно ответил мой дед. Примерно того же мнения держалась и вся земельная аристократия: она не очень любила диктатуру, но еще меньше — либеральное правительство.

Итак, король сделал выбор и, как это очень скоро обнаружилось, весьма неудачный для династии Бурбонов. Встретив весть о перевороте с улыбкой на устах, Альфонс связал монархию и диктатуру неразрывными узами. Диктатура не могла существовать без короля, король — без диктатуры. Король считал, что диктатура пойдет на пользу ему и его детям, и все мы, в Арилусе, думали точно так же. Уже через несколько дней об этом перестали говорить. В Испании установилась диктатура, но для тех, кто владел чудесными виллами, кто устраивал танцы и пикники, кто наряжал в дорогие платья своих жен и кто подыскивал богатых женихов для своих дочерей, ничто не изменилось. Мы с Марией Исавель на время увлеклись политикой, но вскоре она показалась нам скучной, и мы решили не терять даром времени.

Для семнадцатилетних девушек, которые пока требовали от жизни только развлечений, лучше Арилусе ничего нельзя было придумать. Огромный дом стоял на скале, у самого моря, вдали от пыльного, душного Бильбао, по соседству с другими поместьями, принадлежавшими местным богачам и знати. Нигде в Испании, и даже в Мадриде, не жили так роскошно и с таким комфортом, как здесь, в окрестностях Бильбао. Дело в том, что здешние богачи, в том числе родители Марии Исавель, разбогатели на торговле с Англией во время войны, и они подражали во всем не кастильцам, а обитателям Мейфера¹. Старая испанская аристократия жила на вид очень пышно и, вместе с тем, терпела в быту большие неудобства. Местные же аристократы пользовались электроприборами и чудесными ваннами, безобразную мебель викторианского стиля они презирали.

Мне нравилось в Арилусе. У Марии Исавель были два маленьких, очень веселых брата. Да и сама маркиза славилась своим веселым нравом. Может быть, даже чересчур веселым. Моя мать, строгая пуританка, что не мешало ей быть модницей, высоко поднимала брови при одном упоминании ее имени. Но маркиза не заботилась о том, что думает

¹ Мейфер — фешенебельный квартал Лондона.

о ней моя мать или кто-либо другой. Она желала одного: принимать у себя королевскую семью и «сливки» испанского общества. Она любила остроумную, изящную светскую беседу и в те времена, когда в Испании еще не боялись «левизны», с удовольствием читала такие книги, которые через несколько лет наверное сама предала бы огню. В эпоху Веймарской республики быть «левым» в Испании считалось модным. Кроме того, либеральные веяния, возникшие в послевоенной Англии, несомненно воздействовали на тех испанских аристократов, которые нахватались верхушек западной культуры.

Маркиз вряд ли разделял смелые взгляды своей супруги. Он был председателем какого-то невероятного количества всяких обществ. Каждый день он приезжал домой страшно измученный и садился за обильный, готгорившийся лучшими французскими поварами обед, который подавали четыре лакея. Маркиз был также депутатом кортесов от консервативной партии. До того как Примо де Ривера приостановил всякую политическую жизнь в стране, он раз в год ездил в Мадрид на заседания кортесов.

Вскоре я охладела к своему бледному, болезненному поклоннику, приезжавшему охотиться в Ла Мату. В конце концов я его почти не знала, а то, что слышала о его привычках и образе жизни, было мало утешительно. Тем временем он рассказал обо мне своим родителям, и они восторженно приветствовали его выбор. Богатая внучка крупнейшего политического деятеля Испании, я была «выгодной партией». К тому же в Мадриде меня считали красавицей. Мы с Марией Исавель часами говорили о моем поклоннике, и с каждым днем я все сильнее колебалась. Мать тогда еще не подозревала о нашем флирте во время охоты, но потом и она дала согласие, из-за чего наши отношения стали еще более холодными. Вот как это произошло. Когда мой поклонник неожиданно приехал в Бильбао, чтобы сделать мне официальное предложение, я узнала, что он болен. Он не имел права и думать о женитьбе. Тут же выяснилось, что моя мать была осведомлена о его болезни, да об этом и нельзя было не знать, это могло оставаться тайной только для юной, неопытной девушки, получившей воспитание в монастырской школе. И все-таки моя мать была согласна выдать меня замуж за этого человека, потому что он происходил из хорошей семьи и со временем должен был унаследовать титул.

Мой поклонник потребовал, чтобы я дала немедленный ответ, и я честно объяснила ему, почему не могу выйти за

нито замуж. Моя откровенность оскорбила его. В Испании 1923 года казалось неслыханным, чтобы семнадцатилетняя девушка посмела не только говорить, но даже думать о таких вещах. И все приписали эту выходку моему английскому воспитанию.

Веселое лето кончилось, и я вернулась в Мадрид. Родители, не одобряя мою дружбу с семьей Марии Исавель, ничего не имели против нее самой. Это не помешало им встретить меня в Мадриде строгим внушением, которое сводилось к тому, что я должна подчиниться правилам строгой и чопорной столичной жизни, напоминавшей тюремный режим. Я чувствовала себя очень несчастной. Я хотела чем-нибудь заняться, найти выход для кипевшей во мне энергии. У меня не было определенных планов,— просто меня не могла удовлетворить та жизнь, какую создала мне мать: утром я должна была ездить за покупками, днем — кататься в парке, вечером — ездить в гости, в театр, в кино, а иногда в оперу, где у нас была своя ложа. В свободное время,— говорила мать,— я должна вышивать или читать какую-нибудь хорошую, высоко нравственную книгу. Что еще надо образованной, воспитанной девушке, чтобы быть счастливой? Но мне эта жизнь казалась пустой. В религии, этом великом утешении для испанских аристократок, я разочаровалась. Что касается замужества, то после моего первого неудачного романа я не могла найти ни одного человека, который понравился бы мне или даже заинтересовал меня. Мне все наскучило, хотя я вряд ли это сознавала.

Наконец родители пришли к определенному решению. Если меня не удовлетворяет светская жизнь, то есть еще «благотворительность». Обычно в Испании занимаются благотворительностью почтенные матроны или старые девы. Но так как мне наскучила «веселая» жизнь испанского высшего света, то я могу заняться ею уже теперь. За последние два года моя мать почти совсем забросила «добрые дела» — ее отвлекла подготовка моего «дебюта», но теперь у нее найдется для этого время, и я буду ей помогать.

Я взялась за дело с энтузиазмом, без всякого предубеждения. Вся жизнь меня учили, что богатые и религиозные люди должны исполнять свой долг по отношению к бедным и несчастным и помогать им. До сих пор вся моя деятельность в этой области сводилась к тому, что раз в год я раздавала бедным девочкам из монастырской школы лепешки с изюмом. Но этот вид «помощи» я решительно отвергла.

Теперь я взрослая. И я с головой уйду в благотворительность, я буду приносить пользу и, может быть, стану счастливой.

К сожалению, первые же мои шаги принесли мне горькое разочарование. Мы с мамой отправились в общество *Marías del Sagrario* — учреждение, находившееся в ведении иезуитов и ставившее своей целью успокаивать все растущее недовольство сельского духовенства, которое жило далеко не так богато, как городские священники, епископы, кардиналы. Чудовищная нищета крестьян сказывалась и на сельском духовенстве, а епископы ничего не предпринимали для того, чтобы улучшить его положение. Наоборот, они еще подливали масла в огонь, хотя бы тем, что проезжали по пыльным дорогам, мимо нищих деревень, в дорогих заграничных лимузинах. Стало известно, что во время выборов один сельский священник, вместо того чтобы заставить свою паству поддерживать помещиков, выступал и даже голосовал против них. Общество Иисуса всполошилось. Необходимо было принять срочные меры.

И вот, по инициативе иезуитов, у каждой деревни появилась своя дама-патронесса, которая носила звучное имя *Maria del Sagrario*.

Одной из таких дам-патронесс была моя мать, и теперь я должна была помогать ей в работе. Однажды мы поехали с ней в деревню, к священнику. Погода стояла прекрасная, и наш шофер довез нас с рекордной быстротой. Мы, две нарядные, богатые дамы, приехали в деревню в полдень, когда священник подрезал фруктовые деревья в своем маленьком садике. Он нас не ждал, так как мы его не предупредили о своем приезде. Он был небрит, одет в выгоревшую, грязную сутану без единой пуговицы. Мать, любезная, внимательная, снисходительная, терпеливо ждала, пока бедняга священник обдергивал сутану, кланялся и извинялся.

— Мой приход бедный, сеньора, — сказал он не без умысла.

Мать оживилась.

— Вот поэтому мы к вам и приехали, — начала она.

Священник, вытаращив глаза, слушал ее рассказ о набожных мадридских сеньорах, находящихся под духовным руководством отцов-иезуитов, которые сокрушаются о тех церквях, где пред святым образом не всегда горит лампада, ибо приход так беден, что не может купить даже масла.

— Мы подумали и о тех благочестивых пастырях, которым часто не на что бывает купить вина для причастия, и

они подливают воду в почти пустую бутылку,— снисходительным тоном продолжала мать.

Мне было очень неловко. Священник опустил глаза. К довершению всего мать заговорила о последних выборах и о священниках, голосующих против помещиков.

Когда мать, наконец, замолчала, священник сказал:

— Это все епископы виноваты. Недели две назад наш епископ приезжал в деревню, и шум от его автомобиля был слышен за несколько миль, так что все крестьяне собрались посмотреть, как он выходит из своего роскошного лимузина. А если он ездит на такой дорогой машине, значит, у него должны быть деньги и на масло, и на вино, и на...

Мать подняла руку, затянутую в перчатку. Она говорила со священником мягко, так как отцы-иезуиты велели нам быть кроткими и милосердными, и, вместе с тем, властно — по совету тех же иезуитов, которые научили нас, как отвечать сельским священникам, если в своей бедности они станут винить епископов. Священник, кивая головой и глядя на свою грязную сутану, спокойно слушал ее мягкую отповедь. Мать рассказывала ему о том, какие великие труженики наши епископы, и что машины нужны им для того, чтобы посещать отдаленные приходы.

— А теперь покажите нам церковь,— сказала мать, заметив, что священник упорно молчит.

С удивлением осматривала я старую, грязную, облупившуюся церковь. На полу не было ковра, покров на престоле был весь в дырах. Изваяний было немного, да и те пришли в ветхость. Мать пообещала священнику новый ковер и все прочее. Тот просиял.

На обратном пути мать сказала мне:

— Теперь он не станет выступать против консерваторов.

Я и в этот приезд чувствовала себя неловко, но, когда мы вернулись сюда через месяц, я просто не знала, куда деваться от стыда. Был ясный августовский день. Когда наш лимузин проезжал по узким деревенским улицам, я заметила, что крестьяне смотрят на нас с нескрываемой злобой. Поинтересовались ли *Marias del Sagrario*, как живут прихожане? Потрудились ли они узнать, есть ли в деревне школа, врач? Подумали ли они о том, что в деревне, для которой они делали «доброе дело», прошлой зимой все дети до трех лет умерли от дифтерита? Нет. Все наше «доброе дело» состояло в том, чтобы уберечь священника от либеральной заразы.

На этот раз священник ждал нас. Он побрился к нашему приезду и надел чистую сутану. Все время, пока мы пробыли

в деревне, он лебезил и заискивал перед нами. Вещи, которые мы прислали, то есть ковры, покров и изваяние Сердца Христова, были уже водворены на место.

Комиссия по приему гостей, в которую вошли жены многих местных богатеев, поблагодарила нас за приношение. Мы поднялись по ступенькам ветхой некрасивой церквушки и осмотрели наши дары: плохонький, дешевый ковер, аляповатое, топорной работы Сердце Христово и грубый, безвкусный покров.

Мы ожидали, что в честь нашего приезда в церкви соберутся благодарные крестьяне. Комиссии по приему гостей и священнику пришлось извиниться за них. Оказалось, они оттого такие неприветливые и сердитые, что их дети погибли от дифтерита. Они знали, что доктор мог бы спасти их детей, но доктора в деревне не было. Мать замяла этот разговор: достаточно было и того, что мы явно завоевали любовь и преданность священника. И, конечно, он позаботится о политических настроениях своих прихожан. Все это произвело на меня такое тягостное впечатление, что я уже ни на что не обращала внимания. По дороге в Мадрид мать с раздражением спросила, почему у меня такой безразличный вид, почему я не проявляю никакого энтузиазма.

— Ты абсолютно ничем не интересуешься,— возмущалась она.— А ведь когда-нибудь тебе придется заменить меня в этом приходе.

У меня на глазах выступили слезы. Я не могла объяснить матери, почему это «доброе дело» показалось мне таким отвратительным, да я и сама вряд ли сознавала, почему. Но я чувствовала, что это не то. Мы обе молчали. Затем мать снова заговорила, уже на другую тему. Она решила, что покупка новых покровов для бедных церквей не может удовлетворить мою беспокойную натуру. И на следующий день я принялась за другое «доброе дело». На этот раз я должна была взять под свое покровительство детей мадридских бедняков.

Мать состояла в Обществе женщин-католичек, которым тоже руководили иезуиты, отвечавшие за воспитание мадридских детей в католическом духе. Признаться, я никогда не задумывалась над тем, как обучаются бедные дети в таком большом европейском городе, как Мадрид. А теперь я узнала, что в Мадриде почти нет светских школ: так было до диктатуры Примо де Ривера, так было и теперь. Около девяноста тысяч детей школьного возраста оставалось за бортом. Каждый из членов Общества женщин-католичек содер-

жал одну небольшую школу для бедняков. Конечно, эти паллиативные меры не могли сильно сократить количество неграмотных детей в Мадриде, но все-таки, по словам матери, работа Общества имела огромное значение.

Страстно желая помочь бедным детям, я вместе с матерью отправилась в ту школу, которую она содержала. Ехали мы грязными, узкими, вымощенными булыжником улицами. Машина остановилась возле старого дома. Мы поднялись по грязной деревянной лестнице на третий этаж и постучали в дверь, которую красили последний раз лет двадцать пять назад.

Молодая, чахоточного вида женщина отворила дверь. Ее грустное бледное лицо выделялось на фоне темной передней. Это была учительница. Мы вошли вслед за ней в узкую комнату, где помещался класс. Здесь занималось сорок детей. При нашем появлении они вскочили с мест.

— Как — ваше — здоровье, — сеньора? По милости — божьей — и вашей, — сеньора, — нам — здесь — очень — хорошо. — Эти протяжные, монотонные голоса прозвучали для меня, как пощечина. Бледная учительница улыбалась. Очевидно, она гордилась своими успехами. Ни один ученик не забыл ни слова из этой унылой, жалобной песни.

Я осмотрела мрачную комнату, стены которой были побелены два года назад, когда моя мать превратила это полуразрушенное помещение в школу. На одной из этих потрескавшихся стен висело распятие. Не было ни картин, ни рисунков, ни горшков с цветами, ни ковров, — ничего, на чем мог бы отдохнуть глаз. Программа школы была столь же убога, как и ее убранство. Дети учили только катехизис. Может быть, им ничего больше и не могла дать эта худенькая, маленькая учительница. За преподавание в этой школе мать платила ей шесть долларов в месяц. Конечно, на такое жалованье нельзя быть сытой и здоровой. Мне стало так стыдно, что я готова была провалиться сквозь землю. И все-таки, если б не Общество женщин-католичек, эти дети бегали бы целый день на улице и остались неграмотными.

Прежде всего я удвоила жалованье учительнице, так как считала, что когда она сама станет более сытой и веселой, то сможет внести живую струю и в свое преподавание. Потом я решила повесить в классе картины, поставить на окнах цветы, выдать ребятам карандаши, бумагу для рисования и несколько книжек для чтения. Но постепенно мой интерес к школе остыл. Планы мои оказались невыполнимыми. Общество считало, что если у меня есть лишние деньги или если

я смогу собрать некоторую сумму среди своих друзей, то пусть лучше это пойдет на открытие новой школы. Книжки хороши для детей богатых родителей, а детей бедняков не надо отвлекать от катехизиса. Я недоумевала: что же я в таком случае могу сделать для этих бедных, грустных малышей? Я продолжала посещать их два раза в месяц, платить жалованье учительнице и думала, каким бы мне еще «добрым делом» заняться.

Одна моя приятельница повезла меня к «сердобольным сестрам». Моя мать состояла и в этом благотворительном обществе, и она приветствовала мое новое занятие. «Сердобольные сестры» вместе со своими аристократическими помощницами раз в неделю посещали бедных и снабжали их пакетами с едой, небольшой суммой денег и добрыми советами, а иногда подыскивали работу для мужчин, если те давали обещание вступить в католический профессиональный союз. Многие мужчины и женщины, значившиеся в списке у «сердобольных сестер», жили в «греховной связи» и имели незаконных детей, чаще всего потому, что у них не было денег на венчание. Предполагалось, что юные сеньориты и не подозревают о таких предосудительных отношениях. Мы посещали только молодых вдов, у которых были дети, и всегда — в сопровождении сестер. Раз в неделю мы приносили им двести граммов чечевицы, двести граммов рису, двести граммов бобов, сто граммов сахару и пятьдесят граммов кофе. И семья должна была жить на это до следующего нашего визита!

Я никогда не только не видела, но даже не представляла себе, что существует такая страшная нищета, с какой я столкнулась этой зимой в Мадриде. Мое беззаботное существование не подготовило меня к тем страшным картинам, которые я наблюдала теперь каждую неделю. Другие девушки, посещавшие бедных вместе с «сердобольными сестрами», получали удовлетворение, даже удовольствие, от наших обходов. А я впадала в уныние. Я была достаточно сообразительна, чтобы догадаться, что наши жалкие подачки не спасают от голода этих людей, таких больных, таких несчастных!

«Сердобольные сестры» всякий раз спрашивали у молодых вдов, ходили ли они к обедне в прошлое воскресенье, исповедывались ли они в том месяце.

Иногда им отвечали утвердительно, но сердито, иногда, что еще хуже, ответ бывал отрицательный. Тогда мы вычеркивали молодую вдову из нашего списка и уже не оставляли ей ни бобов, ни чечевицы, ни ста граммов сахару.

В поисках «улик» зоркие глазки «сердобольных сестер» обегали тесные, вонючие конуры, где жили наши опекаемые. В коридорах сестры прислушивались к болтовне соседок: а не утешалась ли молодая вдова с кавалером, а не посещает ли она танцы? И если она совершала эти грехи, ее также вычеркивали из списка.

Всю зиму меня преследовало жгучее чувство стыда за мое невольное преступление. Мне было стыдно, что я окружена роскошью и веду такую праздную жизнь. Но мать, и «сердобольные сестры», и все, все, с кем бы я ни говорила, с кем бы я ни советовалась, внушали мне, что те немногие часы, которые я посвящаю «добрым делам», и есть оправдание этой жизни. Матери почти удалось убедить меня, что те, кого я встречала во время обходов,— это совсем другая порода людей, что изменить что-либо в судьбе этих несчастных бедняков — не в нашей власти и что нас не в чем упрекнуть. Однако это объяснение меня не вполне удовлетворяло. «Бедных всегда имеем»,—твердили «сердобольные сестры», а мать прибавляла: «Пути господни неисповедимы». Но бедняки, которых я посещала, отличались от людей нашего круга лишь тем, что они были нищи, грязны, невежественны. Конечно, эти молодые вдовы тоже мечтали о счастливой, безбедной жизни для своих детей. Конечно, если б судьба им улыбнулась, они тоже стали бы вести тихую, добродетельную жизнь. Я часто указывала на это, часто не могла сдержать слезы при виде несправедливостей, свидетельницей которых я постоянно бывала.

— У нее золотое сердце,—говорили про меня мои родители.

Гольф, поло и голубиная охота — эти три вида спорта пользовались особой популярностью в мадридском обществе. Король играл в поло и стрелял голубей в чудесном парке Каса де Кампо. Конечно, вход в королевский парк был закрыт для широкой публики, даже из высшего круга допускались немногие, и в числе этих немногих — моя семья.

Первый раз я увидела короля Альфонса в «Клубе любителей голубиной охоты». Король проводил там много времени. Обычно он приезжал днем и оставался до позднего вечера. Сидя в ложе, он наблюдал за полем, пил и весело смеялся вместе со своими друзьями, одетыми, как и он, в широкие охотничьи куртки. Время от времени, когда подходила его очередь, короля вызывали, и он выходил на стрельбище. Он был отличный стрелок и редко не попадал в цель.

Аплодисменты, которыми его щедро награждали друзья, когда он возвращался с поля, доставляли ему явное удовольствие. Один из моих дядей, тоже превосходный стрелок, всегда находился в королевской ложе. Наклонившись к самому уху Альфонса, он рассказывал ему какой-нибудь свежий анекдот. Король оглашал клуб громкими взрывами хохота.

Вместе с моими сверстницами и нашими неизбежными спутницами, матерями или компаньонками, я часто посещала голубиную охоту. Я не считала это за спорт. Голуби, которых в начале охоты выпускали из клеток, представляли нетрудную цель. Даже если голубю удавалось избежать первого выстрела, его все равно ловили, так как сад был окружен высокими вольерами, и снова выпускали. Целый день мы сидели за столиком, пили, ели традиционную жареную колбасу с картофелем и наблюдали за тем, как король стреляет голубей.

Королева никогда не присутствовала на голубиной охоте, и Альфонс, не стесняясь, танцевал с женщинами, которые ему нравились. Он даже не пытался соблюсти хоть какую-нибудь видимость приличия. Время от времени на глаза ему попадалась хорошенькая женщина, недавно появившаяся в Мадриде; иногда это бывала иностранка, иногда — испанка, приехавшая из провинции, иногда — просто авантюристка, которой удалось проникнуть в высший свет. Но короля не интересовало ни ее имя, ни родословная: ему было достаточно, что она недурна собой. Я видела, как он ухаживал за одной красивой молодой женщиной из нуворишей, сумевшей пробить себе дорогу в высший свет. Эту девочку — она действительно была очень юна — должно быть, поразило внимание короля. Помню, я с отвращением смотрела, как во время танцев она прижималась к длинноносому королю, у которого дурно пахло изо рта. Все в Испании знали о болезни Альфонса. Молодым девушкам, конечно, не полагалось знать о подобных вещах, но и мы вслух говорили об этом. Тем не менее эта юная авантюристка стала одной из многих любовниц короля. Впоследствии об этом тоже открыто говорили в обществе.

Игра в поло предназначалась для избранных, как и голубиная охота, но она носила более официальный характер. Иностранные дипломаты, никогда не присутствовавшие на стрельбе, часто посещали поло. Здесь можно было увидеть королеву: окруженная гостями, она восседала на особой трибуне и наблюдала за игрой. Ее присутствие всегда вносило

некоторую торжественность. Напротив, король, ища популярности, склонен был поддерживать интимно-вульгарный тон.

Примо де Ривера, с его дурным пошибом, очень подходил к королю. Он тоже считал интимно-вульгарный тон средством снискать популярность. Никто не знал покойной жены де Ривера, но весь Мадрид был осведомлен о том, какой тип актрис предпочитает диктатор. Он не делал из этого тайны. Как только появлялись афиши о новом обозрении или оперетке с участием голых женщин, он немедленно оставял за собой ближайшую к сцене ложу.

Восторгов своих он тоже не таил. Если какая-нибудь красotka пленяла его сердце, он громко кричал ей об этом из ложи. Он был диктатором Испании, и ему одному в стране разрешалось делать все, что угодно. Среди друзей, сидевших рядом с ним в ложе, часто появлялась его невеста. Она была так очарована генералом, что даже не ревновала его. Она мечтада создать ему роскошную жизнь, а для этого требовалось ее состояние. Примо де Ривера не был богат. Правда, в годы его диктатуры среди рабочих, объединенных в профсоюзы, среди государственных служащих и в армии проводились в его пользу «добровольные сборы», причем тот, кто отказывался жертвовать «добровольно», рисковал потерять работу, а может быть, и свободу. Однако в то время, когда он был помолвлен, предполагалось, что именно невеста диктатора, а не испанские рабочие, поможет ему опереться. Но диктатор зарвался. Невеста начала спекулировать на бирже, и это было тем более неожиданно, что ее состояние было вложено в солидные, доходные предприятия. Сорвав огромный куш, она успокоилась и почилa от дел. В Мадриде поднялся шум. Кто-то же должен был посоветовать ей заняться спекуляцией, кто-то же должен был руководить ею во время самой игры? Кто же, как не диктатор или не его близкие друзья? Запахло грандиозным скандалом. Генералу предложили сделать выбор: богатая жена или Испания. Тот благоразумно предпочел Испанию, после чего начались «добровольные пожертвования», составившие сумму в четыре миллиона песет. Это и было то наследство, которое Примо де Ривера завещал своим детям.

Отношение де Ривера к женщинам было очень оригинально. Он называл себя феминистом, но его феминизм был весьма странного свойства. Он смотрел на традиционный католицизм испанских женщин, как на крепкий оплот консерватизма — оплот против либерализма мужей. То, что Примо де Ривера предоставил некоторые права испанским женщинам,

отнюдь нельзя считать проявлением либерализма с его стороны. Это было лишь средством защиты старинных испанских католических и консервативных традиций. Генерал пригласил в свое Национальное собрание тринадцать женщин, — причем две из них отклонили это приглашение, — и его часто можно было видеть за чашкой чая в обществе остальных одиннадцати, столь неожиданно включившихся в общественную жизнь страны.

Когда, в 1929 году, девушки-студентки приняли участие в студенческих демонстрациях, направленных против диктатуры и монархии, генерал открыто упрекнул их в неблагодарности. В одном из его «официальных заявлений», которое были вынуждены напечатать все газеты, можно было прочитать следующее: «С глубокой болью узнал я из отчетов полиции, что студентки не только не пытаются успокоить возбужденные умы, но напротив: во многих случаях сами создают беспорядки... Я дал женщинам некоторые гражданские права, но теперь мне придется серьезно подумать о том, не лучше ли запретить женщинам участвовать в политической жизни страны».

Конец лета 1926 года мы проводили в Сен-Жан де Люс. Это было беспокойное, безрадостное лето. Готовясь к жизни замужней женщины, я, в сущности, ничего не знала о ней. Моя мать никогда не говорила мне о тайнах пола. Думать о них было грешно, и, совершив этот грех, я честно признавалась в нем на исповеди. Считалось, что я до всего должна дойти интуитивно. Считалось, что девушки, кончив школу лет пятнадцати-шестнадцати, продолжают оставаться в полном неведении, ибо матери никогда не рискнули бы заговорить с ними на такие темы. Да они и сами мало смыслили в физиологии. С мальчиками дело обстояло проще. В школе их просвещали старшие товарищи. По традиции первые же деньги, которые им дарили отцы, они тратили в публичном доме. Словом, девушки ничего не знали, а юноши вырастали развратниками. Так всегда было в Испании, и предполагалось, что так будет и дальше. Но времена менялись: даже испанские матери стали догадываться, что их дочери, кончающие монастырские школы, знают о половом вопросе больше, нежели они сами после многих лет замужней жизни. И все-таки я была еще очень наивна.

Однажды я стояла на веранде клуба, мне было скучно, тоскливо, и вдруг я увидела около себя молодого человека семи футов росту. Я была очень высокая для испанки, боль-

шинство мужчин было ниже меня. Высокий рост доставлял мне много огорчений, мне казалось, что одна из причин, почему я не могу влюбиться ни в одного из своих поклонников, это то, что все они ниже меня. Я дважды взглянула на этого человека. Через два дня мы были помолвлены.

А затем произошло то, что, собственно, и заставило меня выйти замуж. Думаю, что если б мои родные и знакомые радостно приветствовали появление Мануэля Болина, я была бы осторожней и повнимательней присмотрелась бы к моему будущему мужу. Но все пришли в ужас, и это еще до того, как родители узнали о нашей неофициальной помолвке.

Болин познакомил меня со своей матерью. Она жила в старой, некрасивой, похожей на монастырь вилле, принадлежавшей ее двум незамужним сестрам и брату — лондонскому епископу. Наполовину англичанка, она показалась мне достойной и воспитанной женщиной. В ней чувствовалась иностранка. И она и ее сестры — странная смесь английского и французского стародевичества — приняли меня очень хорошо, и теперь мне понятно, почему: они видели во мне «блестящую партию» для их Мануэля, на которого, как им казалось, неожиданно свалилось счастье. В доме у них поддерживался какой-то особый старомодный и претенциозный стиль — мне трудно найти ему подходящее определение, так как для меня это было нечто новое.

Я была так взволнована тем, что выхожу замуж и навсегда покидаю родной дом, что мне в голову не приходило поближе узнать человека, который должен был стать моим мужем. В моих мечтах о будущем он играл очень маленькую роль. Я тогда даже решила, что у меня не будет детей. Не зная толком, что такое замужество, я совсем не думала о Болине как о друге и спутнике жизни.

Ему было 22 года. Он постоянно жил в Малаге, а на лето выезжал на юг Франции. Я не бывала в Малаге, но в самом названии этого города была какая-то романтика. Мои подруги спрашивали меня: «Значит, ты станешь провинциалкой?» Я упрямо встряхивала головой. Я устала от Мадрида. Издали Малага казалась мне прекрасной.

Однажды, когда мы с Болином гуляли по молу и говорили о будущем, встал вопрос о деньгах. Я знала, что Болин служит в комиссионной конторе у своего отца. Теперь я выяснила, что отец до сих пор не назначил ему жалованья. Конечно, я считала, что, поженившись, мы не должны ни от кого зависеть. Чувствуя себя вполне взрослой, я спросила, сколько его отец будет давать нам ежемесячно. Мне было

двадцать лет, но я не имела ни малейшего представления о том, сколько нужно денег, чтобы жить так, как жили мои родители. Да и Болин немного смыслил в деньгах. Правда, я приблизительно знала, сколько моя мать тратит на хозяйство, потому что последнее время, по настоянию отца, я училась вести счет нашим расходам. Но сумма, которую я назвала Болину, показалась ему чрезмерной. Он заявил, что отец будет платить ему столько, что мы сможем устроиться в Малаге с полным комфортом.

Я не знала счета деньгам. Я понятия не имела о том, как трудно они достаются. Я не представляла себе, что когда-нибудь у меня может не оказаться денег на приобретение вещи, действительно нужной мне, или такой, которая мне кажется необходимой. До замужества я полагала, что если человек принадлежит к определенному кругу людей, то есть к такому, как моя семья и все наши друзья, значит, у него всегда есть деньги. Конечно, такие дорогие вещи, как бриллиантовое ожерелье или соболий мех, покупали не все, верней, их покупали, но при этом бывало много разговоров и волнений. Все же остальное — слуги, гувернантка, изысканный стол, заграничные школы, парижские платья, автомобили, фешенебельные курорты, два дома, один в Мадриде, другой в Ла Мате, с полной обстановкой и с постоянным штатом прислуги — все это у нас было, и подобное положение вещей казалось мне вполне естественным. Такие люди, как мои родители, как мои сестры, должны были иметь все это в силу какого-то неписанного закона.

Мы с Болином очень хорошо провели две недели в Сен-Жан де Люс. Мы вместе гуляли по набережной, под руку, как иностранцы, вместе ходили танцевать, вместе купались в море и подолгу беседовали друг с другом, в то время как наша компаньонка кусала себе губы и в испуге таращила на нас глаза. Но скоро собиралась приехать мать, и я начала беспокоиться. Мне было бы неприятно, если б ей сказали, что видели нас с Болином вдвоем, даже если это и было днем, на пляже. У нас в семье такое поведение сочли бы в высшей степени неприличным; моя мать была бы оскорблена до глубины души, если б узнала, что я вела себя, как англичанка. Поэтому я быстро собрала моих сестер и шестерых слуг, и мы уселись в поезд, отходивший в Испанию. Болин был так любезен, что помог нам. Мы расстались, обменявшись самыми пылкими клятвами в любви и верности.

Я встретила с родителями в Ла Мате и весь вечер рассказывала им о Болине. Они были жестоко разочарованы.

Его имя ничего им не говорило, Малагу они считали глухой провинцией, а ведь я их старшая, любимая дочь! Они рассчитывали, что я сделаю блестящую партию, и убеждали меня, что хотя мне уже двадцать лет, но время терпит, и я найду себе более подходящего во всех отношениях жениха.

Своими возражениями они добились того, что мне стало казаться, будто я действительно серьезно влюблена в Болина.

— Почему ты не можешь влюбиться в подходящего человека? — чуть не плача, говорила мать, но я находила ее аргументы неубедительными. Я знала, что она беспокоится о том, как отразится мое скромное замужество на ее положении в свете. Весь аристократический Мадрид будет пожимать плечами, узнав, что сеньорита де ла Мора выходит замуж за какого-то жалкого провинциала.

Болин вернулся в Малагу. Через два месяца, в течение которых моя любовь к нему, подогреваемая пылкой фантазией, все росла, он приехал в Мадрид повидаться со мной, познакомиться с моими родными и просить моей руки. Меня мучил вопрос, в какой гостинице он остановится, ибо я знала, что это имеет большое значение для моих родных. Когда он позвонил из «Савоя», я облегченно вздохнула.

В этот день моя мать пригласила его к нам завтракать. Во время завтрака я с волнением следила за моими родителями, чтобы по выражению их лиц угадать, какое впечатление производит на них Болин. Самое трудное испытание началось для него после завтрака, когда мы спустились к бабушке и его представили всему нашему клану. Болин произвел если и не очень хорошее, то, во всяком случае, приятное впечатление.

Что действительно тревожило моих родных, так это материальные дела его семьи. Раз у Болина не было ни титула, ни родовитого имени, то вопрос о деньгах выдвигался на первый план. Но выяснить степень его материальной обеспеченности представлялось делом нелегким. Малага была далеко, в то время мадридцы знали ее очень плохо. Только англичане, ехавшие в Гибралтар, имели обыкновение заезжать в Малагу. Мадридские аристократы если и ездили на юг, то только в Севилью; путешествовать по Испании было не принято, это считалось дурным тоном. Мой отец наводил в Малаге справки о состоянии Болинов, но не получил точного ответа. Выходило так, что никто в Малаге не знал, богаты ли Болины, есть ли у них на самом деле деньги, или это только так кажется, что они есть.

Случайным виновником нашей официальной помолвки оказался дедушка. Однажды (Болин был еще в Мадриде), когда мы вернулись домой после партии гольфа, нас встретил испуганный лакей.

— Ваш дедушка тяжело заболел, сеньора поехала к нему, — сообщил он.

Дедушка, как всегда, отправился в это воскресенье писать пейзаж. Он выбрал прекрасный уголок: дом своего старого друга, выстроенный на скале, с видом на Гвадарраму. В своей свободной деревенской куртке он сидел на большой террасе, перед мольбертом, и смотрел, не отрывая глаз, на горы, когда его неожиданно застигла смерть. Слуга видел, как он упал со стула. Я убеждена, что дон Антонио умер так, как ему хотелось бы умереть: глядя на чудесные горы Испании, которую он так любил.

Моя мать застала его уже мертвым. Обратная дорога в Мадрид, с телом дедушки, которого, чтобы избежать судебной процедуры, посадили в угол машины, произвела на нее тяжелое впечатление.

Смерть деда явилась событием для всей страны. Испания с большой помпой хоронила своего выдающегося политического деятеля. Как только распространилась весть о кончине дона Антонио, наша семья стала центром всеобщего внимания. Тело деда было выставлено в огромной золотисто-белой зале, которой мы обычно почти не пользовались. Мы молча наблюдали за тем, как агенты похоронного бюро превращали и без того некрасивую комнату в нечто еще более ужасное. Черные драпри на стенах, надгробные венки, издающие только им одним свойственный странный запах смерти, свечи, скамьи для молящихся...

Три дня тело деда, в монашеском одеянии, пролежало в открытом гробу. Люди поднимались по лестнице, чтобы посмотреть на него и расписаться на огромном листе, лежавшем для этой цели в вестибюле. В первый же день явилась королевская чета и выразила соболезнование бабушке и всей нашей семье. Прямо де Ривера не явился, что, в сущности, было неприлично; вместо себя он прислал генерала, который должен был представлять на похоронах правительство. Помню, я не удержалась и прыснула, увидев, что генерал направился выражать соболезнование толстой, громко плакавшей и молившейся даме, с которой мы были едва знакомы. Он принял ее за бабушку, а это была просто одна из тех старых ворон, что непременно являются на все похороны и оплакивают покойника сильнее, чем его близкие.

Наша истинная печаль как бы утонула в торжественной, официальной скорби.

После похорон все облегченно вздохнули и тут только заметили, что за это время Болин стал как бы членом нашей семьи. Приветливый, обязательный, готовый всем помочь, он на похоронах просто выслужил себе невесту.

Первые девять дней после похорон прошли в непрерывных молитвах за упокой души моего деда. В бабушкиной часовне с раннего утра до полудня служили панихиды, а днем читали молитвы. Уже на четвертый день начались разговоры о том, как выглядели король и королева, что они говорили, сколько времени пробыли у гроба дон Атонио, кто этот безвестный генерал, присланный Примо де Ривера, и так далее.

Меня глубоко потрясло то, что никто из нашей семьи не был искренне огорчен смертью деда. Даже бабушка приняла его смерть почти спокойно. В глубине души я сознавала, что никто из нас не почувствует отсутствия этого красивого старика, такого замкнутого, такого одинокого и такого знаменитого. Наши молитвы были только утомительным ритуалом. Я мечтала о том, чтобы поскорей прошли эти девять дней.

Когда они кончились, мать сказала мне:

— Дитя мое, твой Мануэль держал себя, как родной сын. Я никогда этого не забуду.

Официальная помолвка была назначена на март, и тогда же мы должны были назначить день свадьбы. Болин вернулся в Малагу, а мы облеклись в глубокий траур. Все женщины носили безобразные черные платья. Мы ходили только в церковь да изредка в парк. Целый день мать, сестры и я сидели дома и не знали, куда деться от скуки. И все были рады, когда в марте приехал Болин и можно было вернуться к нормальной жизни.

Мой жених, как это принято в Испании, прибыл с родителями. Наши семьи встретились впервые, и первый обед прошел неплохо. Мои будущие свекор и свекровь показались мне людьми достойными, не менее культурными, чем мои родители, и, во всяком случае, менее легкомысленными, чем моя мать. Я заранее решила, что полюблю их. Они с гордостью рассказывали о другом своем сыне, который служил в испанском посольстве в Лондоне и был корреспондентом «АБЦ», популярнейшей мадридской газеты. Иностранные связи Болинов меня очень заинтересовали.

Болин привез мне свадебные подарки — великолепное платиновое кольцо с черной жемчужиной, в оправе из бриль-

янттов, и крошечные ручные часики, тоже с брильянтами. Подарки произвели соответствующее впечатление на мою семью, но все же отец отвел Болина в сторону и откровенно заговорил с ним о деньгах. Отец сказал, что готов ежемесячно выплачивать своей дочери определенную сумму, но какой суммой располагает жених? Болин и тут ответил весьма уклончиво: его отец будет платить ему приличное жалование.

Этот невразумительный ответ встревожил моих родителей чрезвычайно, но дело зашло слишком далеко для того, чтобы можно было отступить от принятого решения. Свадьбу назначили на май, и семейство Болинов вернулось в Малагу.

— Мы, конечно, купим тебе приданое в Париже, — заявила мать после их отъезда.

Мы провели в Париже три безумных недели и купили огромное приданое. Кроме белья, дневных и вечерних платьев, которые мне дарили мои родные, я заказала платья, которые должен был подарить мне Болин. (По испанскому обычаю, подвенечное платье и часть приданого дарит невесте жених.)

Пока я целый день примеряла туалеты в салонах на Рю де ла Пэ, в Испании мне готовили столько постельного и столового белья, что его хватило бы, самое меньшее, на пятьдесят лет. Для меня заказали вышитые простыни из тончайшего ирландского полотна, бесконечное количество полотенец, одеял, гобеленов, серебра, мебели — и все самое лучшее, самое дорогое. Кроме того, мои родители подарили мне брильянтовое ожерелье, а Болин — жемчужное и новый бьюик. Помимо подарков от родных, я получила свыше четырехсот подарков от друзей моей богатой и влиятельной семьи.

С волнением рассматривала я платья, белье, блюда, старинный фарфор, драгоценные вазы, мебель и серебро. Каждый день прибывали новые подарки. Сестры с завистью смотрели на мои свадебные приготовления. Во всей этой суматохе у меня почти не оставалось времени подумать о том, что такое замужество, что за человек Болин. В конце концов, я знала его очень мало. Меня научили бояться и презирать физическую близость между женщиной и мужчиной. Но теперь я выходила замуж, значит, все это должно было измениться. И когда я начинала думать об этом, то меня охватывал страх.

Однажды в мою комнату, заваленную недошитыми платьями и папиросной бумагой, явилась мать. По ее знаку горничная вышла, и мы остались вдвоем. Обе почувствовали себя крайне неловко. До свадьбы оставалось четыре дня. Было ясно, что мать пришла поговорить о моей будущей

жизни. Но она не знала, с чего начать, и только густо краснела от смущения. Наконец она собралась с духом:

— Мне хотелось бы поговорить с тобой о той новой жизни, в которую ты вступаешь, но я не знаю, что я могла бы сказать тебе о жизни замужней женщины, чего девушка твоего поколения не знала бы лучше меня.

Я промолчала. Мне хотелось расспросить ее о самых простых вещах, но она казалась такой недоступной и такой смущенной, что я не решалась заговорить. Я упустила момент, и больше мы никогда не возвращались к разговору о жизни замужней женщины.

Всех нас не на шутку тревожило здоровье бабушки. После смерти дедушки она таяла с каждым днем. Но мы не могли отложить свадьбу, так как ее болезнь могла тянуться очень долго.

Накануне свадьбы я не спала всю ночь: волнение и страх охватили меня. Утром я встала совсем больная и не могла есть. В полдень на меня надели очень простое белое шелковое платье, похожее на тунику. Фамильная фата Болинов из тончайших старинных кружев была скреплена флердоранжем. Отец ждал меня в гостиной.

— Какая ты красивая!— сказал он задумчиво, и это меня очень обрадовало.

Отец повез меня в церковь, где нас уже ждал жених, его и моя семья. Старинная готическая церковь, реставрированная в девяностых годах, видела много пышных бракосочетаний, в том числе — бракосочетание короля и королевы. В день моей свадьбы церковь была красиво убрана белыми цветами и гирляндами зелени. Всю лестницу сверху донизу устилал огромный великолепный ковер — лучший из двух ковров, что стелились по таким дням в зависимости от суммы, внесенной за венчание. После я узнала, что за мое венчание мать уплатила тысячу долларов.

Перед высокими церковными дверями я невольно приостановилась в смущении: до меня донеслись звуки органа. Затем я медленно пошла к алтарю. Орган играл тихо, торжественно, сквозь цветные стекла окон струился матовый свет. Перед алтарем я опустилась на колени рядом с Болином; по правую руку от меня оказался отец, слева от Болина — его мать; поодаль двенадцать свидетелей-мужчин образовали полукруг. Лицом к нам стоял епископ сеговийский, специально приехавший в Мадрид, чтобы обвенчать нас. Сзади меня, сидя на двух низеньких стульях, мальчишки-пажи, два моих двоюродных брата, держали концы моей прелестной

кружевной фаты. Но они так немилосердно ее тянули, что она едва держалась на голове.

— Вспомните добродетели своих предков,— загудел епископ.

В это мгновение в дверях церкви появился посланец. Голос епископа глухо раздавался по всей церкви. Посланец что-то шепнул моим дядям. Они покинули полукруг свидетелей и быстро вышли в боковую дверь. Бабушка умирала. Они должны были торопиться, чтобы застать ее в живых. Гости заволновались. Епископ запнулся, но все же продолжал читать молитву. Лица у всех вытянулись. Не жизнью, а смертью повеяло в церкви.

Болин и я поднялись с колен и направились к выходу. Но прежде чем отойти от алтаря, я нечаянно уронила обручальное кольцо. Старухи зашептались: это был дурной знак.

Мы вернулись домой. Началось то, что должно было быть веселым завтраком. Но гости уже знали, что бабушка умирает. Их шум сливался с ее предсмертными стонами. Я быстро поднялась по лестнице. Группа фоторепортеров пыталась остановить меня, но я крикнула, что иду к умирающей бабушке. Старуха лежала на своей семейной кровати, ее некрасивое лицо было искажено страданиями. Она открыла глаза. Я присоединилась к родным, стоявшим вокруг кровати.

— Констансия!— прошептала она. Мои дяди вздохнули: из всей семьи бабушка узнала только меня.

Она подняла свою слабую руку и потрогала фату.

— Прелестная,— сказала она, и я так и не поняла, относилось ли это ко мне или к фате. Вдруг она немного оживилась:

— Будь счастлива, дитя мое,— сказала она,— желаю тебе много счастья. Мы свидимся с тобой уже в другом мире.

Первую брачную ночь нам предстояло провести в Ла Мате. Мы с Болином вошли в залу и попрощались с гостями. Его брат, тот самый знаменитый брат, что жил в Лондоне, вспомнив английский свадебный обычай, бросил нам вслед, когда мы спускались по лестнице, полные пригоршни рису и старую домашнюю туфлю.

Но рис не попал нам на плечи, и в этом было что-то злое. Он осыпал священника той церкви, где я венчалась: сейчас священник в траурном облачении, с двумя служками, державшими в руках колокольчики, шел причащать умирающую.

Веселые напутствия гостей разом смолкли. Удивленный

священник стряхнул рис со своей черной одежды. Набожные гости опустились на колени и стали молиться. Болин и я тоже опустились на колени в холодном мраморном вестибюле. Священник медленно проследовал к бабушке, а мы с мужем, под шопот гостей, повторявших зауспокойные молитвы, отправились в свадебное путешествие.

Наш бьюик скоро доставил нас в Ла Мату. Я думала, что мне будет очень приятно остаться, наконец, вдвоем с мужем, которого, мне казалось, я так любила. Но я не чувствовала никакой радости. В то же время я не была опечалена тем, что умирает бабушка: она была уже очень стара и болела больше двадцати лет.

Суматоха последних недель, поспешные приготовления к свадьбе, бессонная ночь, проведенная накануне,— все это привело меня в состояние какого-то оцепенения.

Управляющий встретил меня ласково и радушно. Думая, что в большом доме нам будет неуютно, он приготовил для нас во флигеле небольшую квартиру из четырех комнат с ванной и застекленной верандой. В камине ярко пылал огонь. Нас ждал отличный ужин. Жена управляющего, которая нежно любила меня, предлагала мне то того, то другого, но я от всего отказалась. Она еще долго болтала с нами. Наконец ее позвал муж.

— Оставь их одних!— сердито крикнул он. Тогда она поцеловала меня, пожелала счастья, и мы остались одни.

Я пожалела, что она ушла. Мне было страшно. Человек, сидевший рядом со мной, вдруг показался мне совсем чужим.

И здесь, в усадебной тишине и безмолвии, я поняла, что мое замужество совсем не такое удачное, каким я его себе представляла. Еще до рассвета я убедилась, что не люблю и никогда не полюблю моего мужа.

На следующее утро мы должны были ехать в Сеговию и там сесть в парижский экспресс. За машиной приехал из Мадрида наш шофер. Он передал мне письмо от матери. Бабушка умерла ночью. Мать просила нас не возвращаться на похороны: «Ты начинаешь новую жизнь. Пользуйся первыми днями счастья»,— писала она.

Мы с Болином решили несколько дней провести в Париже, а затем поехать в Италию. Все путешествие было рассчитано на два месяца. Уже в самом начале нашей совместной жизни я убедилась, что между мной и Болином нет ничего общего. Я хотела показать ему Париж, который я хорошо знала и любила, а он, хотя никогда не бывал в этом необыкновен-

ном городе, не проявлял к нему никакого интереса. Его не занимали ни церкви, ни музеи, ни даже знаменитые рестораны. Прогулки вдоль Сены он находил скучными, картины — глупыми. Ничто не интересовало его.

Однажды мы возвращались в такси с ипподрома. Глядя на нас, можно было подумать, что это счастливая парочка. На мне был изящный костюм и модная шляпа; женщины, сидевшие на трибуне, бросали на меня одобрителные взгляды. Болин был красив, хорошо одет. Мы ехали по Елисейским полям, и тут я вдруг разрыдалась. Никогда еще я не чувствовала себя такой одинокой и такой несчастной.

Еще в Париже мы истратили все деньги, которыми располагал Болин на все наше свадебное путешествие. Разумеется, он скрыл это от меня,—впоследствии мне рассказала об этом свекровь. А еще позднее я узнала, что большую часть денег он проиграл на скачках. Болин телеграфировал отцу, чтобы тот выслал нам денег, и еще задолго до моего приезда в Малагу вся его семья стала считать меня мотовкой.

Мы провели месяц в Италии: в Риме, Венеции, Неаполе. Каждый день, каждый час приносил мне новые разочарования. Однажды мы поднялись на Паладин, откуда открывался вид на Форум. Я пыталась представить себе его прошлое, восхищалась дивным видом. Но Болин сказал, что у него болят зубы, и мрачно сел спиной к Форуму.

В общем Италия не произвела на меня приятного впечатления. Как раз в это время Муссолини особенно усилил террор. Страна волновалась. Ночью под окнами нашей гостиницы раздавались выстрелы. Но мы не вникали в смысл событий. Болин был слишком туп, чтобы интересоваться политикой, а я — слишком невежественна, слишком молода и слишком несчастна.

Маленький плохонький пароходик доставил нас в Барселону, где мы пересели на великолепный, недавно спущенный на воду испанский атлантический экспресс, заходивший по дороге в Малагу. Благодаря связям моей семьи мы получили самые поместительные и самые роскошные каюты. Я не знаю, что переживал мой муж, подъезжая к родному городу, но меня охватил страх, и я горько плакала у себя в каюте. Наконец женщина-стюард вызвала меня на палубу. Вдали показалась Малага.

Моем глазам открылось изумительное зрелище.

Озаренные ярким июльским солнцем, передо мной запылали цветы, высокие зеленые пальмы, красноватые скалы,

необыкновенной архитектуры дома, и вдоль всего этого многоцветного ковра тянулась голубая кайма моря.

Когда смотришь на Малагу с палубы приближающегося к ней парохода, она кажется особенно красивой и нарядной. Слева возвышается величественный собор, который, точно карлики — великана, со всех сторон окружают кремовые домики. На холме, в центре города, ослепительной белизной сверкают полуразрушенные стены старинной мавританской крепости с ее простыми, строгими контурами. Справа, на красноватых скалах, расположились утопающие в зелени дома богачей. Издали, благодаря яркой тропической зелени и цветам, Малага представляется огромным садом, поднимающимся со дна моря. Я уверена, что многие путешественники, глядя на это причудливое и упоительное смешение красок, на эти дивные скалы и поэтические руины, думают, что Малага — райский уголок. Может быть, и я думала бы так же, если б не ехала сюда с нелюбимым мужем.

Родные Болина встретили нас на пристани. Они показали мне менее приветливыми, чем в Мадриде. Мы приехали в их комфортабельный, но небогатый дом, и там меня ждал страшный удар. Я отправила в Малагу всю мою мебель, ковры, фарфор, серебро, все мое приданое, и думала, что у нас с Болином будет своя, отдельная квартира. Но я нашла все вещи нераспакованными, сваленными в двух комнатах. Оказалось, мы должны жить с родителями моего мужа. И никто, даже мой муж, не нашел нужным спросить меня, устраивает ли меня это, довольна ли я. Когда, вечером, я выразила мужу свое удивление, он удивился в свою очередь. Разве я считаю его миллионером? — спросил он.

Итак, я стала жить в Малаге, и какая же это была скучная, томительная, беспросветная жизнь! Летом здесь очень жарко, и знатные *malagueños*¹ абсолютно ничего не делали, только спали и отдыхали в своих прохладных домах.

По вечерам вся родня Болина собиралась в доме у моего свекра и вела бесконечные разговоры. Мои новые родственники, все без исключения, показались мне самыми скучными людьми в мире. Они интересовались только собой, своими доходами, и только об этом и говорили. Мужчины собирались в одном углу сада, женщины в другом. Я должна была сидеть с женщинами: со свекровью, ее сестрами, дочерьми и племянницами. Но через несколько дней я убедилась, что

¹ Жители Малаги.

мне не о чем с ними говорить. Их разговор сводился к бесконечным жалобам на слуг и на дороговизну.

Тогда я перешла к мужчинам,— женщины посмотрели мне вслед с удивлением. Но и мужчины оказались не лучше. Эти ленивые рантье питали свойственную всему испанскому среднему сословию ненависть к тем выходцам из их среды, которым удалось разбогатеть или стать чиновниками, и весь пыл своего негодования обрушивали на них.

А затем, постепенно, я узнала то, что повергло меня в отчаяние и надолго лишило сна. Из разговора этих праздных, скучных, тупых людей я поняла, что почти все они жили на средства своих жен. У самих Болинов почти ничего не было, кроме умения жениться на богатых. Жениться на богатой девушке считалось у них самым естественным, нормальным средством к существованию.

Некоторое время спустя Болин заявил мне, что он рассчитывает жить только на деньги, которые мне ежемесячно переводил отец,— его отец не мог платить ему большого жалованья. Это меня так ошеломило, что я даже не стала возражать. Как правоверная католичка, я очень серьезно смотрела на брак. Раз уж я вышла замуж, значит, должна терпеть. Болин останется моим мужем до самой моей смерти. Надо примириться с этой жизнью, иначе, я чувствовала, можно сойти с ума.

Но жить в семье мужа — это было выше моих сил. И не потому, чтобы я привыкла к большей роскоши. Если б они жили просто, без всяких претензий, я бы скорей смирилась. Но в том-то и дело, что жили они совсем не просто. Их жалкое существование отнюдь не было лишено претензий. Мраморные полы у них в доме казались им высшим шиком, и мать Болина считала себя на этом основании настоящей аристократкой.

Это им не мешало платить слугам жалкие гроши, а за столом постоянно заводить разговор о том, сколько стоит каждое кушанье и та одежда, которую мы носили.

Я терпела семейство Болинов, сколько могла. А в конце лета, собрав все свое мужество, заявила, что у нас должна быть отдельная квартира, пусть маленькая и недорогая. Я выдержала долгую борьбу — и победила. Мы с мужем решили переехать в Торремолинос, чудесную приморскую часть города, где жило много иностранцев. Мы сняли изящную виллу, слишком большую и слишком дорогую для нас, — это уж я сообразила позднее. Но я все еще не имела понятия ни о деньгах, ни о нашем бюджете и, несмотря ни на

что, все еще надеялась, что свекор будет платить мужу жалованье.

Наша вилла стояла в глубине большого сада, на скале, глядевшей в Средиземное море. Владелец виллы, отставной английский майор, после смерти жены переселился во флигель. В другом конце сада находился старый замок, превращенный в дом для небогатых англичан и отставных английских офицеров, а ближе к нам, в маленьком коттедже, похожем на тот, что занимал майор, жили садовники и одна английская чета. Все мы встречались на теннисной площадке и в аллее, спускавшейся к пляжу, где лежали огромные валуны. Вода здесь отличалась удивительной чистотой и прозрачностью.

Каждый день Болин отправлялся к отцу в контору, возвращался довольно рано, купался, играл в теннис и уходил гулять. А я ожидала ребенка и надеялась, что он заполнит мою жизнь и, может быть, как-то оправдает мое замужество.

Я начала самостоятельно вести хозяйство. У меня были три служанки: мне казалось, что это очень скромно, и я считала себя героиней. Горничную я привезла из Мадрида, камеристка была уроженка Малаги, а кухарка была из деревни и готовила весьма примитивно. Я выучилась сама печь необыкновенные кексы и пирожные по рецептам поваренной книги, которую мне одолжили мои английские друзья. Однажды к нам в гости пришли Болины, и я с гордостью подала на стол пирожные и печенье — в то утро я возилась с ними особенно долго. Но гостям некогда было воздать им должное: весь вечер они корили меня за расточительность.

Здесь, у моря, я чувствовала бы себя превосходно, если бы не вечные денежные затруднения. Единственным постоянным источником нашего дохода были деньги, которые высылал мой отец, но, конечно, нам их хватало не надолго. Я платила за квартиру, платила жалованье слугам, вносила за пользование машиной, за свет и за воду, и на это уходили почти все деньги. Продукты стоили очень дешево, но все-таки кухарка, покупая их на рынке или у крестьян, привозивших на осликах овощи, фрукты, рыбу, яйца, птицу, каждый день тратила несколько песет. Уже в начале месяца у меня ничего не оставалось, и я должна была обратиться к мужу.

Но с ним мне приходилось трудно. Он никогда сразу не выдавал нужной суммы на хозяйство. Только после моих настойчивых просьб он решался, наконец, вынуть пятьдесят песет, но не больше. Его отец не считал нужным помогать ему: ведь он женат на богатой! Сам же он не входил в иц-

тересы нашего хозяйства. Когда у него появлялись деньги, а это случалось довольно часто, то у него находилось для них другое назначение. И, надо сказать, он не проявлял большой щепетильности при их добывании. Я узнала, что он занимал у соседей и никогда не возвращал.

Еще до рождения ребенка я по всей Малаге разыскивала коляску, но мне так и не удалось ее найти. Тогда я подумала, что тетка Болина, у которой было несколько колясок, совершенно ей не нужных, сможет одолжить мне одну.

— Я бы подарила вам коляску, — сказала эта высокомерная дама, — но я не уверена, что, когда ваш ребенок вырастет, вы не отдадите ее какому-нибудь бедному рыбаку. Если б я увидела грязного ребенка в той коляске, в которой катали моих детей, я бы этого просто не перенесла. Вот почему я никогда не отдаю детских платьев беднякам. Я скорей согласилась бы сжечь их, чем увидеть на уличных детях.

Разумеется, я отклонила ее любезное предложение.

До родов мне оставалось недолго, и состояние медицинской помощи в Малаге начало тревожить меня не на шутку. Детей в «лучших» малагских семьях принимали акушерки, старые сплетницы, ходившие в черных, с виду очень грязных платьях. Конечно, я могла бы попросить свою акушерку надеть белый халат и вымыть руки, но я сочла за благо выписать из Ирландии квалифицированную няню, которая была бы при мне во время родов, а затем осталась бы с ребенком.

Я не боялась родов. Я страстно желала иметь ребенка, который явился бы утешением в моем одиночестве, который стал бы целью моей жизни, в котором я видела бы свое счастье.

В феврале я родила девочку. Мы назвали ее Констансией Марией де Лурдес, сокращенно — Лули.

На крестины своей первой внучки переехали мои родители. Болин был к ним исключительно внимателен. Он попросил тестя устроить его маклером на мадридскую фондовую биржу, заявив, что не умеет ладить с отцом. Но тесть отказал ему. Должно быть, переговорив с родителями Болина, он решил, что в столице слишком много соблазнов для молодой и, как он теперь выяснил, нуждающейся четы.

Наперекор всей нашей родне, мы все-таки переехали в Мадрид, но он встретил нас сурово. Конечно, я рассчитывала остановиться у родителей. Я знала, что в нашем доме поместятся десять таких семей, как моя. Но мои родители сказали, что у них найдется место только для ребенка и няни,

а мы с Болином должны жить в гостинице. Когда же хозяин гостиницы через некоторое время представил нам счет, то оказалось, что нам нечем его оплатить. Переломив свою гордость, я пошла к отцу и попросила помочь нам. Мои родители, очевидно, решили, что «урок», который они нам преподавали, — чем он был вызван, я так и не поняла, — возымел свое действие. Отец согласился устроить Болина на фондовую биржу. Уже начиналось лето, и я, немного успокоившись, с ребенком и няней отправилась в Ла Мату. Болин остался в городе.

Это было довольно грустное лето, но все-таки теперь мои мысли занял ребенок, да и жизнь в Ла Мате всегда была мне по душе. Нам с няней пришлось повозиться с Лули, так как она часто болела. Болин приезжал в Ла Мату по субботам. Он не отличался словоохотливостью, а я все расспрашивала его: какая у него работа, доволен ли он, интересно ли ему, даст ли она ему хорошее положение в дальнейшем? «Да», — отвечал он на все мои вопросы, и больше я ничего не могла от него добиться. У нас теперь стало еще меньше общих интересов, чем когда мы только что поженились. Болин совсем не обращал внимания на Лули, почти не смотрел на нее и с явно скучающим видом выслушивал те новости, какие я ему сообщала о ней. Моя семья держалась с ним очень сухо, и, когда он приезжал в Ла Мату, я все время была, как на иголках.

Осенью он приехал накануне нашего отъезда и без всяких предисловий объявил мне:

— Знаешь, я прослужил уже три месяца, а мне ничего не заплатили. Пришлось заложить твое жемчужное ожерелье.

Я была поражена, но на этот раз поверила Болину: тогда я еще не подозревала о его странных привычках.

Однако это было только начало. После мои знакомые неоднократно устраивали Болина на службу. Каждый раз он приступал к работе с большим интересом, но очень быстро охладевал, а через полгода приходил ко мне все с той же неизменной жалобой: патрон обманывает его или третировает.

И все-таки первую зиму в Мадриде я провела хорошо, так как Болин, который служил тогда в американской фирме General Motors Company, все время находился в разъездах. Мне прислали мои вещи из Малаги, и я очень уютно обставила квартиру. Понемногу я начала возобновлять прежние знакомства. Через несколько недель я уже возвращалась в кругу людей, которых знала давно.

Родные Болина были очень рады, что их сын хорошо

устроился. Неожиданно они сложили гнев на милость, пригласили меня к ним в Малагу и даже взяли с собой в путешествие по французскому и испанскому Марокко.

Я была в восторге от этого путешествия. Но в Мадриде меня ожидала новая неприятность: муж попал в автомобильную катастрофу. Он не был тяжело ранен, но, выздоровев, уже не вернулся на службу. Я не могла добиться от него правды. У него была припасена тысяча отговорок, одна фантастичней другой. Одно было ясно: он не желал служить.

Опять начались неизбежные денежные затруднения. Мне было стыдно снова обращаться к отцу. И вот, однажды, я пришла к мысли, что мне надо зарабатывать самой. Я была знакома с одной американкой, женой служащего General Motors. Она первая, зная о том, что я не в ладах с моим, мягко выражаясь, «легкомысленным» супругом, подала мне эту мысль.

Мои первые шаги не увенчались успехом. Не говоря ни слова ни Болину, ни моим родителям, которые были бы чрезвычайно этим шокированы, я пошла по объявлению в контору компании Зингер, где нужен был секретарь, владеющий английским языком. Там меня уже было взяли на службу, хотя лица двух мужчин, которые вели со мной переговоры, покраснели от удивления, когда я назвала свою фамилию. Но я допустила непоправимую ошибку.

— Вы замужем? — держа карандаш наготове, спросил служащий.

— Да, — спокойно ответила я и этим погубила все дело: реакционные фирмы не принимали на службу замужних женщин.

К счастью, я скоро встретила с Сенобией, женой одного из лучших испанских поэтов — Хуана Рамона Хименеса. О ней я слышала от моих друзей-американцев, живших в Мадриде. Она сдавала меблированные квартиры, и все американцы, приезжавшие в Мадрид, прежде всего заезжали к ней. У нее был также свой магазин, где продавались крестьянские шали, полотно, глиняные изделия: все это предназначалось, главным образом, для американских туристов.

Я сговорила с Сенобией по телефону. Оказалось, она все знает обо мне, а я и не подозревала, что мы с Болином — притча во языцех всего Мадрида.

В назначенный день я приехала к Сенобии. Я ожидала найти у нее необычную, экзотическую обстановку. Вместо этого, я очутилась в квартире, обставленной солидно, просто и со вкусом. Я слышала от многих, что при взгляде на

Хуана Рамона Хименеса кажется, будто он сошел с картины Греко. Теперь я убедилась в этом воочию.

В этом доме я впервые услышала, что мое желание работать вполне естественно и разумно. Я была очень благодарна Сенобии за то, что она не задавала мне нескромных вопросов о муже. Я отлично знала о его странностях, но мне казалось, что я, как католичка и как жена, должна помогать ему, должна вывести его на правильный путь. Иными словами: что соединил бог, то не властен разъединить человек; я должна безропотно терпеть эту жизнь и только по возможности стараться улучшить ее. Зная, что я не лажу с Болином, мои родители каждый раз намекали мне, что я всегда могу вернуться к ним и жить с ребенком у них. Это меня не очень соблазняло: ведь недаром в свое время я приложила столько усилий, чтобы покинуть родительский дом. Вернуться туда с ребенком, после неудачного замужества, — нет, об этом я и думать не могла.

Если б я и ушла от мужа, то это не на много изменило бы мое положение, так как развестись мы не могли, следовательно, я не могла бы вторично выйти замуж. Для этого надо было, чтобы сам глава римско-католической церкви расторг мой первый брак. За последнее время в Мадриде было несколько таких скандальных случаев, когда браки объявлялись недействительными, и это оскорбило нравственность всего мадридского общества, в том числе и мою. О том, что есть еще один путь, я тогда не подозревала.

Я просила Сенобию найти мне работу. Сенобия собиралась не надолго уехать, но обещала перед отъездом познать меня с американками, которые хотели брать уроки испанского языка. Она предложила мне также, на время ее отъезда, присматривать за меблированными квартирами. За это она могла мне платить только полторы песеты в час. Сенобия извинилась за столь мизерную сумму, но дать больше она была не в состоянии. Она выдала мне пятьдесят песет на расходы и предложила помогать ей и ее компаньону в магазине кустарных изделий — это было для меня самое важное. Конечно, я не воображала, что эти полторы песеты в час или даже 150 песет в месяц, которые я должна была получать с каждого ученика, разрешат мои денежные затруднения. Едва ли этого могло хватить на оплату квартиры. Но я утешала себя тем, что это только начало моей самостоятельной жизни.

Впервые проводила я жаркие летние месяцы в городе. Каждое утро я ходила к моим ученицам-американкам. Одна из них была умная, очаровательная женщина, жившая неко-

торое время в Мексике и немного знавшая испанский язык. Другая — абсолютно неинтересная, вульгарная американская немка. Обе — жены журналистов.

Так я работала лето, а в августе получила приглашение от одной приятельницы-англичанки, возвращавшейся на родину. Отказаться от него у меня нехватило мужества: она звала меня к себе в Лондон. Мне нужно было оплатить только обратный проезд до Бильбао, а оттуда недалеко до Арилусе, где меня, как всегда, ждала Мария Исавель. Я давно собиралась навестить ее и на этот раз решила соединить приятное с полезным: я захватила с собой прекрасное крестьянское полотно, которое мне дала Сенобия, в надежде получить в Арилусе много заказов на вышивку от моих богатых друзей.

Болин не возражал против моей поездки. Впрочем, он и не мог возражать, после того как просидел два месяца сложа руки и только смотрел на то, с каким усердием и энергией тружусь я. Я упаковала вещи и в отличном настроении выехала в Лондон.

В Мадрид я вернулась возбужденная и очень довольная. Я чудесно провела время и в Лондоне и в Арилусе и, к тому же, немного подработала. А в Мадриде я узнала, что компаньон Сенобии, Инес, уехала, следовательно, я могла, хотя бы временно, заменить ее в магазине.

Де ла Мора, внучка Антонио Мауры — продавщица в магазине! Хотя бы и в магазине изящных изделий, принадлежащем двум дамам из общества! Я вполне осознала это, уже начав работать, после суровой отповеди, которую я выслушала от родителей. А я уже втянулась в работу. Я с радостью исполняла свои обязанности в нашем маленьком магазине. Правда, получала я немного, но это первое настоящее дело увлекало меня.

Родители считали создавшееся положение чудовищным. Многие англичанки и американки из высшего общества часто содержат такие магазины, как наш «Arte popular». Но чтобы испанская аристократка начала жить своим трудом, — это было неслыханно. Весь великосветский Мадрид отвернулся от меня. Родители вели со мной нескончаемые споры. Но я отвечала, что хочу поддержать мужа. (Я не добавляла: «не любимого», но они и сами это отлично знали.) Я говорила, что считаю своим долгом помочь ему сохранить семейный очаг. Если он не хочет содержать семью, то я сама буду содержать ее.

Осенью, еще до того как я поступила в магазин, мы пере-

ехали в более дешевую квартиру. Я все еще держала двух служанок и няню-швейцарку, которая заменила мою прежнюю, более дорогую, няню. На мое жалованье и на деньги отца, которые он благоразумно положил в банк на мое имя, чтобы ими не воспользовался Болин, мы могли жить скромно, но безбедно. Тем не менее, я в последний раз попыталась устроить Болина на службу. С этой целью я обратилась к маркизу Арилузе. И как раз, когда я поступила в магазин Сенобии, Болин получил место в Chrysler Motor Car Company.

Раньше магазин Сенобии не пользовался большой популярностью. Но мое появление в качестве продавщицы произвело в Мадриде форменную сенсацию. Знакомые и незнакомые, все заходили купить что-нибудь у внучки Антонио Мауры. Этот год оказался рекордным по выручке.

Зимой я приобрела близкого друга. Таких друзей, как Ана, у меня еще не было. Семья ее принадлежала к среднему сословию. Мать была итальянка. Женственная, обаятельная, Ана отличалась врожденным благородством. Это была добрая, умная, блестящая женщина. Как и я, она была несчастлива в личной жизни, и хотя мы редко говорили о мужьях, но это сближало нас. Вскоре ее муж скоропостижно скончался, и она осталась одна. Сенобия дала ей работу в магазине, а жить она переехала ко мне.

Весна принесла мне новую неприятность. Болин оставил службу и отказался объяснить причину. Добрая Ана не дала нашему объяснению вылиться в бурную сцену. Но с этого дня трещина в наших отношениях с Болином становилась все шире и глубже.

Напряженная атмосфера в доме и утомительный труд в магазине измучили меня. Но в это время я неожиданно получила приглашение от родителей поехать с ними на международную выставку в Барселону, а оттуда на Майорку, на открытие памятника моему деду в его родной провинции. Я с радостью приняла это предложение. Болина, конечно, не пригласили: мои родные игнорировали его.

Вся наша семья, которую возглавлял мой дядя, получивший после смерти деда титул герцога, выехала на Майорку. Мы прибыли туда в семь часов утра. Несмотря на раннее время, нас встретила большая толпа, состоявшая не только из нашей многочисленной родни: народ ненавидел диктатуру Примо де Ривера и пользовался каждым удобным случаем, даже церемонией в честь умершего государственного деятеля, чтобы показать это.

Хозяину острова, Хуану Марчу, была не по душе эта церемония, ибо он являлся злейшим врагом любого члена семьи Маура, живого и мертвого. Он полагал, что на его родном острове есть место только для одного великого человека, и решительно устранял живых и мертвых конкурентов.

Хуан Марч был человек незаурядный. Он начал свою политическую и деловую карьеру с ввоза «импортных» товаров, попросту — с ввоза контрабанды. Примо де Ривера, сделав вид, что он бессилён прекратить этот «импорт» табака в Испанию и Марокко, предоставил ему табачную монополию в Африке. Это дало Марчу колоссальную прибыль, и он скупил на Майорке почти всю землю. Затем, по ценам, которые он называл «божескими», Марч перепродал эту землю крестьянам, пригрозив, что сгонит их с насиженных мест, если они на это не согласятся. Если же у какого-нибудь крестьянина не оказывалось наличных денег, то он должен был взамен отдать Марчу свой голос на предстоящих выборах. Так Марч, при помощи весьма хитроумных махинаций, стал видным политическим деятелем.

Некоторые майоркинцы, не разобрав, что мой старший дядя не обладает ни умом, ни талантом своего отца, приветствовали его как прямого духовного наследника дона Антонио. Мой дядя был не умный, но очень тщеславный человек. Он объединил своих майоркских сторонников под лозунгом «антидинастической монархии». Смысл этого лозунга заключался в следующем: монархия в Испании необходима, но Альфонс не может существовать без диктатуры Примо де Ривера, которая неминуемо должна пасть. Сыновья Альфонса в наследники не годятся, потому что все они больны гемофилией, — болезнью, которой их наградила королева-англичанка, обречшая на гибель испанскую королевскую династию. Отсюда ясно, что Испании нужен другой король, из другой семьи. Оставалось решить, из какой именно.

Мне этот план показался несколько фантастическим, но мой дядя, повидимому, держался противоположного мнения. Он вел тайные переговоры со своими единомышленниками и, вместе с тем, не отказывался от развлечений. А еще лучше проводила время его семья, наслаждавшаяся дивными видами Майорки. Богатые друзья дяди предоставили в наше распоряжение свои авто и шоферов, и мы осмотрели все, что только можно было осмотреть за несколько дней. И хотя этот осмотр Майорки был очень поверхностен и случаен, ее необыкновенная живописность произвела на нас сильнейшее впечатление.

Но если таково было наше знакомство с пейзажами Майорки, то еще меньше узнали мы о жизни ее народа. Впрочем, однажды в огромном имении, принадлежавшем одному местному аристократу, я увидела сборщиков оливок. На торжестве, устроенном в нашу честь, они пели и танцевали. Я спросила, как они живут и откуда они. Оливки — это главное богатство Майорки. Крестьяне, которые весь год трудятся на своем клочке земли, во время сбора оливок работают у помещика и всегда на кабальных условиях. Наш хозяин хвастался новыми бараками, которые он построил для них. Правда, мужчины и женщины спали на соломе, но зато в разных бараках.

Разумеется, мы посетили знаменитый грот в Манакоре. Сторонники Мауры украсили его разноцветными лампочками. Все время, пока мы катались на лодках, за скалами играли скрипачи.

Вся моя семья с сожалением покинула Майорку.

Приближалось лето 1930 года. Магазин мы думали закрыть в июле. Болин опять сидел без работы, и я уже исчерпала список друзей, которые могли бы ему помочь. Я чувствовала, что я уже не в состоянии тянуть лямку с моим безответственным мужем. И я высказала ему это откровенно, выразив надежду, что раз его постигла такая неудача в Мадриде, то он вернется в Малагу и снова будет работать с отцом.

Муж не считал себя виновным в своих неудачах, но согласился провести лето вместе со мной и Лули в Сен-Жан-де-Люс, у своих родных. Я отпустила служанок и даже няню — решила экономить на всем и жить очень скромно. Мы приехали к Болинам, когда они еще носили траур по лондонскому епископу, и я понадеялась, что строгий траур не позволит Болину ходить по клубам и сорить деньгами.

Мы занимали две комнаты в старомодной вилле: в одной жила я с Лули, в другой — Болин. Лули было три года, но до сих пор, как и я когда-то, она всецело находилась на попечении няни. И только теперь я подружилась с ней. Такая крошка, она уже понимала, что я несчастна. Измученная долгой, тяжелой зимой, работой в магазине и уроками, я часто плакала в нашей комнате, а Лули старалась утешить меня. Отец не обращал на нее никакого внимания, она платила ему тем же.

В скором времени Болин, предоставив мне одной выполнять строгие правила испанского траура, зачастил в яхт-клуб.

Тетки пеняли ему за это, но он их не слушал. А когда я говорила ему о лишних расходах, он отвечал, что один приятель пригласил его править яхтой во время гонок, и он должен тренироваться каждый день. Лгал он так же ловко, как и раньше, но теперь уж меня нельзя было обмануть.

В день моего ангела, 19 сентября, у меня было как-то особенно тяжело на душе, но тут ко мне неожиданно приехали Мария Исавель с матерью и пригласили к себе в Арилусе. Я с радостью согласилась.

Через несколько дней мы с Лули отправились в Арилусе. В день нашего отъезда Болин, как всегда, ушел из дому. И мне не захотелось ждать его, чтобы попрощаться.

Сидя в поезде, который вез меня назад, в Испанию, я вдруг сразу поняла, что кончилось то нелепое существование, какое я вела до сих пор. От моей наивной мечты перевоспитать мужа не осталось и следа. Теперь я твердо знала, что сумею заработать себе на жизнь. Я не помышляла о разводе и вторичном замужестве. Я желала одного: спокойно жить с моим ребенком и не видеть перед собой человека, который за эти три года доставил мне столько горя.

Из Арилусе я написала Болину длинное письмо, в котором предлагала ему поехать в Париж и не возвращаться в Испанию до тех пор, пока он не докажет, что способен трудиться. Письмо не означало окончательного разрыва, но из него можно было понять, что я больше не хочу жить с мужем.

Какое впечатление произвело на него это письмо в целом, я не знаю, но одно мое предложение он осуществил с невероятной быстротой. Мне перевели немного денег в Сен-Жан де Люс. И вот, вместо того чтобы переслать их мне, он взял их себе и немедленно выехал в Париж.

Вернувшись в Мадрид, я узнала, что ко мне в гости приезжают родители моего мужа, и так как я ничего не слышала о них со дня отъезда Болина во Францию, то с волнением стала ждать этой встречи. Я приготовила им комнату, но они остановились в гостинице и позвонили мне оттуда.

Произошла весьма трогательная сцена. Болины плакали. Они умоляли меня простить их сына. Теперь их судьба в моих руках,— говорили они. Открытый разрыв между мной и Мануэлем произведет скандал в обществе, и это разобьет их жизнь. Их сын ведет себя плохо, это верно, но все-таки, может быть, я соглашусь снова войти в их семью на правах дочери и поехать с ними в Малагу? Их слезы разжалобили меня, и, вопреки инстинктивному чувству недоверия, я со-

гласилась. Но пока я сдавала квартиру, ездила в Сен-Жан де Люс за Лули, прощалась с моим дорогим другом Аной и всю дорогу до самой Малаги меня ни на минуту не покидало дурное предчувствие. С ненавистью думала я о той пустой жизни, которая меня там ожидает, о мрачных днях, которые я буду проводить в обществе моих родственниц. Родители не одобряли моего решения: они хотели, чтобы я вернулась к ним.

Однако в Малагу я приехала несколько повеселевшая: мне удалось сделаться комиссионером одной барселонской шелковой фабрики по продаже шелка в Малаге и окрестностях. Во-первых, мне будет чем заполнить день,— рассуждала я,— во-вторых, когда мне станет невмоготу с Болинами, я смогу избегать их общества, в-третьих, это все-таки заработок. Болины были здесь совсем не так приветливы, как в Мадриде. Они настояли на том, чтобы я переехала к ним только для того, чтобы избежать скандала. Они всем рассказывали, что мой супруг нашел себе во Франции очень хорошую должность и что я поеду к нему, как только он приготовит квартиру для меня и Лули. Это была наглая ложь, но она могла прекратить сплетни, а только это Болинам и было нужно.

В Малаге я узнала о смерти Аны. Она болела всего один день — и вот, не стало молодой, прекрасной женщины. Ее смерть глубоко потрясла меня. Я ее очень любила и теперь с грустью думала о том, что почти все мои планы на будущее были связаны с ней. Я почувствовала себя совсем одинокой.

Я была так погружена в свои личные переживания, что едва замечала обострившийся политический кризис в стране. Даже в доме Болинов не было полного согласия. Брат мужа, тот, что прежде жил в Англии, приехал в Малагу из Севильи, чтобы провести рождество с родными, и его рассказы вызывали страстные споры. Стараясь забыть свои личные огорчения, я стала прислушиваться к тому, о чем говорили вокруг меня. Я начала внимательно читать «АБЦ», единственную мадридскую газету, которую выписывали Болины. «АБЦ» жестоко травил всех, кто не сочувствовал монархии.

В своем увлечении политикой я зашла так далеко, что становилась в очередь перед единственным книжным магазином, продававшим «Эральдо де Мадрид». Эта газета держалась умеренно-либерального направления, она лишь старалась объективно освещать события, но когда Болины увидели, что я ее читаю, они были явно испуганы и возмущены.

Должна сказать, что их наставления на меня не действо-

вали. Правда, я исполнила их просьбу и в сочельник пошла исповедываться, но это не было побуждением моего сердца. За последние годы я начала постепенно отходить от религии. Я все еще каждое воскресенье бывала в церкви и даже ссорилась с атеисткой Анной. Но какой-то переворот произошел в моей набожной душе, что-то назревало во мне за последние годы. Ибо нельзя было жить в Испании так, как жила я, то есть в богатой семье, и не видеть, что церковь является оружием богачей против бедняков. У меня не было твердого мировоззрения, но я остро ощущала всякую несправедливость. Я помнила лепешки с изюмом, которые мы носили бедным школьницам, помнила деревню, которой мы пожертвовали покров на алтарь, в то время как крестьяне умирали от дифтерита, потому что поблизости не было врача, и, прежде всего, помнила крестьян из Ла Маты. Я всегда должна была пересиливать себя, чтобы пойти на исповедь. Я ненавидела нескромные вопросы отцов-иезуитов, их острое любопытство к тому, что я считала глубоко интимной стороной моей жизни.

И теперь, в Малаге, когда я преклонила колена и начала отвечать на вопросы священника, во мне стал подниматься протест. Мягко, но настойчиво допытываясь о моих интимных отношениях с мужем, он, наконец, задал вопрос, глубоко оскорбивший мою стыдливость, и я отказалась отвечать. После этого я дала себе слово больше не исповедываться и не причащаться.

Унылой и мрачной была моя жизнь в Малаге. Я чувствовала себя здесь, как в ловушке. Болины становились со мной все суше и холоднее. С заработком у меня обстояло неважно. Мои родные совсем от меня отделились. Они обиделись на меня за то, что я жила с Болинами, а не с ними.

Однажды вечером я заметила, что Болины настроены ко мне особенно враждебно. Я поняла, что произошло что-то новое, но что именно, они мне не говорили. Свекровь заперлась у себя в комнате. Свекор явно избегал меня.

Наконец они были вынуждены заговорить. Оказалось, Болин сидит в Париже без гроша. Они получили от него письмо, в котором он всячески защищал себя и почти всю вину за свое странное поведение взваливал на меня. Он хотел вернуться домой. Свекор прямо заявил мне: или мы будем жить с Мануэлем как муж и жена, или я должна оставить их дом.

Болинам казалось, что они поступили очень хитро. Зная, что я порвала со своей семьей, они считали, что мне волей-

неволей придется жить с ними и с их сыном, хотя бы из чисто материальных соображений. Это был их главный козырь. Большинство испанских женщин при таких обстоятельствах проглотило бы эту пилюлю. Что же им еще оставалось?

Перспектива жить с Болином испугала меня, и я серьезно призадумалась над этим. А затем пришла к такому выводу: я не только не люблю своего мужа — я презираю его. Кроме того, я убедилась, что работа дает мне гораздо больше удовлетворения, чем пустая светская жизнь. После Лули я больше всего на свете дорожила своей независимостью. И я без страха взглянула на будущее. Я знала, что нарушаю все законы общества, которое меня воспитало. Женщины моего круга безропотно терпели все, что им посылала судьба: на все воля божья,— говорили они. Разрушение семейных устоев считалось страшным преступлением. Но я готова была сжечь за собой корабль.

Я телеграфировала отцу, и он выправил мне официальный документ, который давал мне право уйти от мужа. Болины были вынуждены отдать мне ребенка, так как боялись скандального процесса.

Я уложила вещи, взяла Лули и покатила в Мадрид — навстречу свободе, навстречу новой жизни.

Когда поезд подошел к мадридскому вокзалу, меня охватило счастливое чувство уверенности в себе.

III

ИСПАНИЯ ПРОБУЖДАЕТСЯ

(1931—1936)

Я приехала в Мадрид начинать новую жизнь в марте 1931 года. И я обнаружила, что к этому же стремится моя страна.

Слово «обнаружила» я употребляю совершенно сознательно.

Двадцатипятилетняя внучка крупнейшего государственного деятеля Испании периода мировой войны и племянница двух видных современных политических деятелей различных направлений, я, до этого мартовского дня, когда мы с Лули, собрав пожитки, отправились в Мадрид, чтобы начать новое, независимое существование, буквально ничего не знала о том,

что происходит в моей стране. Это кажется странным, но таковы были все испанские женщины моего круга. Я жила в доме, где плелись сети всех политических интриг, но я никогда не слыхала, чтобы у нас спорили о политике. Каждый день я целовала руку лидеру испанской консервативной партии, но я никогда не слыхала от него ни слова о государственных делах.

Может быть, интерес к жизни моей страны постепенно пробуждался бы у меня после замужества, если б я не была так несчастна в личной жизни. В течение трех лет все мое внимание было сосредоточено на мне самой. Такие крупнейшие события, как установление и падение диктатуры Примо де Ривера, взволновали всю Испанию, но не меня. Иногда я заглядывала в газеты. Но я была так поглощена моим горем, что даже и не пыталась отделить ложь от правды, не старалась вникнуть в смысл событий.

А теперь неожиданно все изменилось. Я сразу стала гражданкой Испании. Вероятно, до этого мартовского дня я за всю свою жизнь не более четырех раз принимала участие в разговорах о политике, а теперь, через неделю после моего приезда, я ни о чем другом не говорила.

В стране уже давно началось брожение. Диктатура пала. Назревали крупнейшие события.

Сенобия и Инес слушали мой рассказ о Малаге и об окончательном разрыве с мужем только из вежливости: я видела, что их лица выражают нетерпение.

— Слушай, Констансия, — сказала, наконец, Сенобия, — как ты думаешь, что будет с арестованными?

— Что говорят о восстании в провинции? — вмешалась Инес. — Там, в Малаге, — за монархию?

Я замаялась. Ведь я не имела ни малейшего понятия о том, как относится провинция к королю. И я боялась задать им вопрос: кто эти арестованные, что это за восстание? Вдруг это то же самое, что спросить — что такое Атлантический океан или Пиренейский полуостров?

Но в течение ближайшей недели, когда все в Мадриде говорили только об этом, когда я слыхала везде и всюду одни и те же оживленные толки, я стала медленно, по частям, восстанавливать историю моей страны за последние пять-шесть лет. Мне не так-то легко было добраться до истины. Приходилось задавать тысячу вопросов, припоминать обрывки разговоров, присходивших между моими дядями, внимательно прислушиваться к беседам друзей и составлять из всего этого

нечто единое. И постепенно передо мной развернулась картина истекшего десятилетия.

С момента установления диктатуры Примо де Ривера, то есть уже в 1923 году, стало ясно, что она не пользуется популярностью в стране. Де Ривера очень скоро доказал, что он слишком глуп, бестактен и бездарен, чтобы удержать за собой даже своих ближайших сторонников. Годы его правления ознаменовались непрерывной цепью восстаний, тайных заговоров и открытых проявлений недовольства. Его частые выступления в печати оскорбляли гордость испанцев — они изобличали исключительную глупость диктатора. Цензура, донкихотствовавшая вначале, становилась все свирепей. Взяточничество среди государственных чиновников достигло в годы диктатуры чудовищных размеров.

Ставленник испанских промышленников, Примо де Ривера не мог без их помощи укрепить свою непрочную власть. Каталонские капиталисты и иностранные банкиры всячески поддерживали диктатора, и он отблагодарил и тех и других: испанским капиталистам предоставил неограниченную власть, а иностранным банкирам сдал в концессию богатейшие рудники, электростанции и прочее.

И все же генерал весьма непрочно сидел на своей жердочке. По ту сторону Средиземного моря другой диктатор, Бенито Муссолини, как будто бы преуспевал. Наш вздумал у него поучиться. Из Италии он вернулся с двумя новыми затеями: шоссейные дороги и фашистская партия.

Шоссейные дороги, с помощью иностранного капитала, он действительно построил, хотя строительство каждой из них сопровождалось грандиозными скандалами, потрясавшими самые основы диктатуры. Иностранные фирмы, руководившие работами, крали миллионные суммы из испанской казны.

Но сколотить фашистскую партию Примо де Ривера так и не удалось. Продажные воротилы испанской государственной политики усердно помогали ему, но массы не пошли за полуграмотным генералом. С каждым годом диктатора и короля все сильнее тревожило растущее недовольство в стране. Наконец генерал принял «решительные меры». Он учредил так называемое «Национальное собрание» — нечто вроде законодательной палаты, которая должна была санкционировать все его действия. К участию в этом Национальном собрании он пытался привлечь профсоюзы, в надежде, что ему удастся подменить рабочее движение единым «компанейским союзом». Но профсоюзы с негодованием отвергли его предложение, несмотря на то, что Ларго Кавальеро, деятель со-

циалистического профсоюза, энергично настаивал на сотрудничестве труда и капитала. Национальное собрание не прибавило популярности диктатору.

И вот тогда-то народ и начал оказывать ему сопротивление. Тот, кто, как я, жил в довольстве, мог относиться к диктатуре, как к оперетке. Генерал был героем многочисленных анекдотов, придуманных мадридскими остряками, которые охотно избирали мишенью для насмешек «сильного человека Испании». На самом деле Примо де Ривера и король Альфонс совсем не были похожи на персонажей веселой оперетки. Ибо за хвастливыми речами мадридского правительства скрывались страдания испанского народа. Вся страна стонала под гнетом жестокого, деспотического правительства. За годы диктатуры в шахтах и на заводах снизилась реальная заработная плата и удлинился рабочий день — это был подарок генерала промышленникам, испанским и иностранным банкирам. За годы диктатуры еще более обнищало крестьянство, хотя это было почти невозможно, так как оно и прежде жило в ужасающей нищете.

Свирепый террор душил страну. Газеты подвергались страшной цензуре. Сажали в тюрьму за одно непочтительное слово о короле или диктаторе. В ссылку отправляли сотнями. Университеты владели самым жалким существованием: за антиправительственное выступление того или иного профессора их закрывали на несколько месяцев, а то и лет. Диктатор отбросил и без того отсталую Испанию на несколько столетий вспять. Новые шоссе были архисовременными, а правительство было средневековым.

Но Испания не покорилась, — ее не раздавила пята диктатора. Еще в 1926 году то тут, то там вспыхивали восстания. Помещики, чувствовавшие себя ущемленными военной диктатурой, которая покровительствовала промышленникам, пытались свергнуть Примо. Но Испанию уже не удовлетворял лозунг конституционной монархии: народ считал Альфонса и Примо сиамскими близнецами реакции. Поэтому переворот, подготовленный консерваторами, потерпел неудачу.

В том же 1926 году восстала кучка республиканцев: правительство подавило и это плохо подготовленное и неумело организованное восстание. Последовавшие за ним бесчисленные восстания республиканцев, монархистов-конституционалистов и даже недовольного офицерства тоже ни к чему не привели, но каждое из них вызывало жестокую расправу.

Однако Испанию нельзя было заставить покориться диктатору. Примо де Ривера бросал в тюрьмы и ссылал сотни пат-

риотов, закрывал университеты, в Мадриде и Барселоне расставлял на каждом углу шпики, и все же Испания наполнила облитую бензином грудю хвороста, которая только и ждет, чтобы к ней поднесли спичку.

Диктатура никогда не имела под собой твердой почвы. В 1929 году всем стало ясно, что она вот-вот рухнет. Новая университетская «реформа» привела в ярость интеллигенцию. «Реформа» заключалась в том, что отныне ученые степени должны были выдаваться только духовными академиями; тем самым ученые степени, присужденные университетами, аннулировались.

Блестящие финансовые операции Примо потерпели крах. У правительства, объявившего, что у него активный баланс, не осталось наличных денег на текущие расходы. Как видно, у него было довольно странное представление об активном балансе. Министр финансов, верный сторонник Примо, и тот не вытерпел и подал в отставку: при всем желании он ничего не мог выкроить из своего фантастического бюджета, который показывал «экономия», в то время как на биржах всего мира испанская песета неуклонно падала.

Даже король начал ворчать. Он уж больше не гордился «испанским Муссолини». Страшный скандал, вызванный тем, что правительство, пытаясь приостановить кампанию против диктатуры Примо в иностранной прессе, подкупило французскую газету «Тан», вряд ли мог улучшить создавшееся положение.

Через год власти Примо де Ривера пришел конец. Генерала сместила армия, но он и сам способствовал этому, допустив еще одну, на этот раз непоправимую, ошибку.

Генерал Годед, военный губернатор Кадиса, готовил очередной заговор против диктатора. У этого молодого и честолюбивого генерала не было определенных политических убеждений, он руководствовался только личными интересами. Но он сумел привлечь к участию в заговоре некоторых политических деятелей, в том числе моего дядю, Мигеля Мауру, весьма умеренного республиканца.

Примо де Ривера узнал о заговоре. Прижатый к стене, он сделал чудовищную глупость. Король все еще верил, что за Примо де Ривера стоит вся армия. А тот имел неосторожность показать, что это не так. Королю только этого и нужно было. От великого ума диктатор разослал циркулярную телеграмму десяти генералам, командовавшим различными военными округами, в которой запрашивал их, должен ли он оставаться на своем посту или уйти. Только двое ответили

положительно, остальные высказались уклончиво, заявив, что они будут «поддерживать короля и монархию при любых обстоятельствах». На следующий день король сместил Примо.

Диктатура пала. Что же будет дальше? Весть о бегстве Примо де Ривера в Париж и о том, что во главе правительства король поставил генерала Беренгера, который приобрел столь печальную известность после марокканской катастрофы, взволновала всю Испанию. В Мадрид и Барселону стали возвращаться эмигранты. Правда, многие попадали в лапы беренгеровской полиции, но это никого не останавливало. Перед Испанией стоял один вопрос: удержится монархия или нет?

Народ считал, что не удержится. Он твердо решил не дать ей удержаться. Альфонс должен уехать в Париж вслед за своим «Муссолини». Перепуганные монархисты, духовенство и помещики все еще надеялись на благополучный исход. Всеобщие выборы были неизбежны. Король должен созвать кортесы, хотя бы он и боялся этого как начала своего конца.

— Создать кортесы? — сказал король. — Но ведь это значит подать готовую республику на серебряном блюде!

Однако многие его сторонники из числа близоруких оптимистов еще верили, что всеобщие выборы дадут Альфонсу большинство голосов. Другие, более трезвые, полагали, что желаемых результатов можно добиться лишь при помощи некоторых ловких манипуляций.

Пока Альфонс и его сторонники колебались и все еще отказывались назначить выборы, народ не дремал. 17 августа 1930 года представители всех республиканских группировок и Всеобщего рабочего союза тайно встретились на морском курорте под Сан Себастьяном, чтобы обсудить создавшееся положение.

Все понимали, что если республиканские партии будут по-прежнему действовать порознь и даже враждовать друг с другом, монархисты могут одержать победу на выборах. Поэтому представители социалистов, каталонских национальных партий, республиканцев, профсоюзов и десятка других менее крупных объединений, собравшись в этот августовский день в Сан Себастьяне, подписали договор о единстве действий и выработали программу, включавшую всего три пункта: установление демократической республики, аграрная реформа и гражданские свободы. Был избран комитет, многие члены которого в дальнейшем, уже при республике, приобрели широкую известность: я имею в виду Алькали Самору и Асанью, будущих президентов республики, а также Каса-

реса и Прието, которому суждено было возглавлять военное министерство в особенно трудные для испанской республики дни. Во вторую группу, избранную на случай ареста первой, вошел мой дядя, Мигель Маура.

Комитет строил свои планы с расчетом на предвыборную кампанию. Но время шло, король прятался за генерала Беренгера и, повидимому, не собирался созывать кортесы. Республиканцы пришли в отчаяние: что же, они так все и будут ждать, пока другой диктатор не придет к власти у них на глазах?

15 декабря республиканцы подняли восстание против монархии. Оно было тщательно подготовлено. Воздушный флот, в котором, в противоположность остальной армии, служило много офицеров-республиканцев, обещал поддержать выступление профсоюзов. Самолеты должны были подняться над Мадридом в тот момент, когда профсоюзы объявят всеобщую забастовку.

Утром 15 декабря, согласно плану, восстал воздушный флот. Пилоты-республиканцы предложили пилотам-монархистам либо присоединиться к ним, либо отправиться под арест. Одним из руководителей восстания в воздушном флоте был молодой офицер Игнасио Идальго де Сиснерос, отпрыск знатного и могущественного рода, давно отрекшийся от монархических убеждений своей семьи.

В это утро он ходил из казармы в казарму и говорил летчикам: «Мы восстали против монархии. Король предал Испанию. Республика — наша единственная надежда. Кто хочет присоединиться к нам — выходи. Кто не хочет — оставайся здесь, мы вас запрем, и никто вас не тронет. Этим самым мы спасем вас от наказания за то, что вы не попытались помешать нам — в случае, если восстание будет подавлено».

Большинство пилотов связало свою судьбу с республикой. Офицеры-монархисты спокойно направились в импровизированную тюрьму. На аэродроме загудели моторы. Самолеты поднялись в воздух.

Но план восстания сорвался. Пилоты, взглянув вниз, увидели, что Мадрид работает, как обычно. По неизвестной причине всеобщая забастовка не была объявлена. Пилоты попали в ловушку. Войска, поддерживавшие монархию, заняли аэродромы. Республиканские пилоты, со страхом думая о том, хватит ли у них бензина, перелетели испанскую границу. Они стали изгнанниками. А в Мадриде за членами республиканского комитета была установлена слежка, и вскоре их арестовали. Два молодых офицера одного из северных гарнизонов

по ошибке слишком рано вывели своих людей из казарм и двинулись на Мадрид. По дороге на Уэску их встретили королевские войска, которые арестовали обоих офицеров и расстреляли. Это были Фермин Галан и Гарсия Эрнандес, герои республиканской Испании, отдавшие жизнь за свободу.

Когда, в начале марта, я приехала в Мадрид, весь город только и говорил, что о судьбе республиканского комитета, который в ближайшее время должен был предстать перед судом по обвинению в заговоре против монархии. Несмотря на неудавшееся восстание республиканцев, положение Альфонса еще больше пошатнулось. Вся страна открыто оплакивала Галана и Гарсию Эрнандеса. Арестованные республиканские вожди стали знаменем испанского народа.

Аристократы пытались окружить короля и его семью непреступной стеной. Альфонс, его жена и дети не должны были ощущать холодного дыхания народной ненависти. Если кто-либо из членов королевской семьи посещал театр, вслед за ним спешили толпы аристократов, которые бешеными аплодисментами приветствовали короля или членов его семьи. Но в ответ на овации галерка поднимала такое шиканье и свист, что несчастные актеры надрывались, стараясь перекричать толпу, а королю приходилось спешно покидать зрительный зал.

До какой степени обострились отношения между республиканцами и монархистами, в этом я убедилась на собственном опыте. Вскоре после моего приезда в Мадрид я пошла проведать родителей Марии Исавель (Мария была замужем и жила в Бильбао).

Я позвонила. Дверь мне отворил дворецкий. С детства я привыкла к тому, что, отвесив низкий поклон, он вел меня по коридору в гостиную, где радостными возгласами меня приветствовала маркиза.

Но в этот день произошло что-то странное, непонятное. Дворецкий поклонился весьма сухо и ввел меня в большую парадную залу.

— Подождите, пожалуйста, сеньора, — сказал он.

Я смущенно присела на край кресла и принялась рассматривать обои. Должно быть, дворецкий меня не узнал, — подумала я, встала и уже хотела пройти прямо к маркизе и выяснить это недоразумение, как в дверях показалась мисс Уолл, гувернантка-ирландка. Мисс Уолл прожила в доме маркизы двадцать пять лет, и я знала ее так же хорошо, как нашего управляющего в Ла Мате.

— Мисс Уолл! — радостно воскликнула я. — Я уже начала

думать, что не туда попала! Дворецкий не узнал меня, я...

— Здравствуйте, Констанция,— холодно сказала мисс Уолл.

Я смешалась. Уж не ослышалась ли я? Неужели это мисс Уолл так со мной говорит? Может быть, у нее болит голова? Может быть, она нездорова?

— Я хочу рассказать вам, что со мной произошло,— начала я.— Вы порадуетесь за меня. Я совсем ушла от Болина, и теперь Лули и я...

Мисс Уолл встала.

— Вот маркиза,— сказала она.

Я обернулась. В дверях стояла маркиза, которая, видимо, собиралась куда-то уходить, и смотрела на меня. Я бросилась к ней: как крепко обнимались мы с ней каждый раз после долгой разлуки! Но она подняла руку.

— Я только что рассказывала мисс Уолл,— забормотала я в смущении,— что я приехала в Мадрид совсем, я буду работать для Лули, я уже никогда не вернусь к Болину, и...

Не в силах больше говорить с каменной стеной, смотреть на эти холодные лица, я умолкла, и сердце у меня болезненно сжалось.

Маркиза пристально смотрела на меня. Наконец она заговорила, старательно выбирая слова.

— Я должна знать, правда ли то, что я о вас слышала. Вы — республиканка?

— Респ... — Я запнулась. С шестнадцати лет я привыкла относиться к маркизе, как к своей второй матери. Она была мне больше, чем другом,—она сделала меня членом своей семьи. А теперь она стояла передо мной в величественной позе и молча требовала, чтобы я ответила на ее вопрос.

Была ли я республиканкой?.. Я молчала. Сплетники превратно истолковали мое поведение. Мадридское общество, шокированное моим уходом от мужа, очевидно, решило, что стремление женщины к независимости и республиканские взгляды — это одно и то же.

— Вы не можете ответить на этот вопрос, Констанция? — строго спросила мисс Уолл.

Неожиданно я почувствовала прилив бешеной злобы.

— Нет, могу! — почти крикнула я.— Если быть республиканкой значит бороться со злом в моей стране, то я республиканка. Если быть республиканкой значит отстаивать справедливость для тех, кто никогда не знал, что такое справедливость, то я республиканка. Если...

— Прошу вас, избавьте нас от ваших речей,— перебила меня маркиза.

Я вовсе не собиралась произносить никаких речей, но в эту минуту я почувствовала, что я действительно республиканка, и это открытие меня воодушевило:

— Если быть республиканкой значит добиваться хлеба для крестьян, которые кормят других, а сами голодают, то я...

— Ах, так! — резко оборвала меня маркиза.— Прощайте, Констансия.

Появился дворецкий,— должно быть, он подслушивал. Дверь распахнулась. Маркиза вышла за мной в коридор.

— Вы предали все, что всю свою жизнь защищал ваш дед, — крикнула она.— Между нами не может быть ничего общего.

Дворецкий распахнул парадную дверь; и я вышла с гордо поднятой головой и со слезами на глазах. Потом дверь захлопнулась, и я, вся дрожа от негодования, взволнованная, полная новых мыслей, остановилась на тротуаре. Семья Арилусе! Я прожила с ними и с подобными им людьми всю жизнь. Они были моими друзьями. Как же я могла терпеть и даже любить этих ничтожных, подлых, трусливых, глупых людей? Не они порвали со мной,— я вдруг поняла, что это я порвала с ними и с им подобными, порвала навсегда.

Я быстро зашагала по улице.

Маркиза не замедлила разнести скандальную новость: Констансия де ла Мора, сеньора Болин — республиканка! Весь мадридский свет с ужасом выслушал это известие, и, наверно, многие говорили: «Этого можно было ожидать!» Разве я не работала в магазине? Разве я не ушла от мужа? Одно вытекает из другого. Женщина, которая хочет быть «независимой», рано или поздно скатится на «дно», то есть станет республиканкой, изменит монархии. Словом, за две недели я потеряла всех своих друзей.

Моих родителей, вернувшихся из путешествия, ждали немалые огорчения. Во-первых, я не собиралась поселиться у них, как подобало разочаровавшейся во всем женщине, которая уже ничего не ждет от жизни: я решила поселиться вдвоем с Лули и жить на свой заработок. Не успели они опомниться от одной новости, как им сообщили, что я стала республиканкой. Это, а также арест дяди Мигеля, обвинявшегося в измене королю и участии в республиканском восстании, бросало тень на нашу семью. Чтобы успокоить своих подозрительных друзей, моя мать должна была снова и снова заявлять о своих верноподданнических чувствах. Только па-

мать о моем покойном дяде, правоверном монархисте и преданном защитнике трона, спасла ее от немилости мадридского света.

И, тем не менее, мои родители относились к республиканским идеям менее враждебно, чем остальные члены нашего клана. Популярность дяди Мигеля и любовь ко мне заставляли их проявлять известный такт в этом вопросе. За столом у них не велось разговоров о политике. Повидимому, они решили взять со мной ласковый и сочувственный тон и, таким образом, привлечь меня на свою сторону. На первых порах их тактика оказалась настолько успешной, что я часто приходила к ним обедать и даже оставляла у них на несколько дней Лули.

Вскоре новый правительственный кризис взволновал Мадрид. Генерал Беренгер получил отставку. Король пребывал в нерешительности. Сперва он пошел так далеко, что предложил бывшему премьер-министру, старому Санчесу Герре, образовать кабинет, в который он пожелал ввести, между прочим, некоторых сидевших в тюрьме республиканцев. Но в последний момент Альфонс передумал и создал один из тех консервативных коалиционных кабинетов, которые уже спасли монархию в 1917 и 1921 годах. Король надеялся, что такой кабинет спасет монархию и теперь.

Мой дядя, герцог Габриель Маура, к вящему удивлению всего Мадрида, получил в новом кабинете портфель министра труда. Это был первый случай в Испании, когда человека назначали министром, в то время как его брат томился в тюрьме по обвинению в измене королю. Через несколько дней я обедала у дяди и спокойно слушала, как он и его друзья горячо обсуждали вопрос о спасении монархии. Все они считали, что коалиционный кабинет явится опорой королевскому трону. Дядя все еще руководил «Лигой юных мауристов», основанной много лет назад для поддержки моего деда. Теперь «юные мауристы» были уже солидными, пожилыми людьми, но они сохраняли свое прежнее наименование. Герцог надеялся, что ему удастся создать из этой, несколько одряхлевшей, организации крепкий блок, который сможет поддержать короля на ближайших выборах. Дядя уже давно расстался со своим «антидинастическим» лозунгом. Первым актом нового коалиционного кабинета было обещание назначить выборы: сначала муниципальные, затем провинциальные и, наконец, выборы в учредительные кортесы.

Это был очень дальновидный план: он давал возможность королю дважды проверить свою силу перед решающими выборами в кортесы, и если бы муниципальные выборы прошли для него неудачно, он мог бы принять любые меры, чтобы удержаться у власти, вплоть до отмены выборов в кортесы. Все это объяснял мой дядя, изредка бросая косые взгляды на меня, заядлую республиканку.

Я молчала, но не могла не думать о том, что дядя не учел одного: как будет вести себя испанский народ.

В то время как старший брат моей матери делал все возможное, чтобы спасти монархию, младший ее брат ожидал суда. «Временное республиканское правительство» — так оно себя называло — должно было двадцать первого марта предстать перед верховным трибуналом по обвинению в подстрекательстве к вооруженному восстанию. В те дни Мадрид напоминал потревоженный улей. О предстоящем суде говорили даже за столом у моих родителей. Мать отважилась посетить в тюрьме своего младшего брата, эту бедную заблудшую овцу, в надежде помирить обоих братьев: герцога, который служил королю, и Мигеля, который хотел его свергнуть. Из этой попытки ничего не вышло, и теперь, когда Мигель должен был защищать перед судом свою жизнь, семья надеялась, что герцог все-таки смягчится и спасет своего брата.

20 марта, накануне суда, я обедала у родителей. Во время разговора с одной из дочерей герцога меня осенила блестящая идея. Я решила пойти на суд. Мне хотелось понять, что заставило этих людей, которым представлялась возможность стать крупными государственными деятелями (стоило им только расписаться в преданности монархии), пожертвовать своим благополучием и положением в обществе; почему эти люди готовы отдать все, даже свободу, за республику.

Все пропуска были давно розданы. Я предложила моей кухне взять завтра правительственную машину, находившуюся в распоряжении ее отца, и поехать со мной на суд. Наивной кухне и в голову не могло притти, какую сенсацию она вызовет, приехав на процесс республиканцев в правительственной машине герцога Мауры.

21-го, ровно в 11 часов, мы подъезжали к зданию суда. Полиция энергично расчищала дорогу правительственной машине, а в тот момент, когда шофер помогал нам выйти из лимузина, взволнованные фоторепортеры стремительно навели свои аппараты на дверцы. К вечеру весь Мадрид увидел в газетах наши фотографии. Мои родные, конечно, догада-

лись, что это я сбила с пути бедную доверчивую кузину. Но все это меня мало трогало.

Один из судебных приставов оказался старым слугой моего деда. По моей просьбе он всем говорил, что я дочь Мигеля Мауры, и меня посадили в первом ряду. Место осталось за мной на все время процесса.

Суд начался и закончился как политический митинг. Речи защитников сопровождались бурными аплодисментами. Подсудимые держались мужественно, с большим достоинством, и каждое их слово публика встречала возгласами одобрения.

Жена дяди Мигеля, его дочь и я были на этом суде единственными представителями семьи Маура. То, что в ней произошел раскол, ни для кого не являлось тайной. Посещая заседания суда и открыто выражая сочувствие республиканцам, я тем самым бросала вызов моему могущественному дяде-герцогу.

Во время суда стало ясно, что правительство не только не осмелится вынести «Временному республиканскому правительству» смертный приговор, но даже не приговорит его к длительному тюремному заключению. Ибо весь Мадрид горячо приветствовал обвиняемых, и толпы народа ежедневно собирались у здания суда, чтобы посмотреть, как их поведут обратно в тюрьму. С каждым днем усиливалось волнение среди генералов и адмиралов, защита же становилась все спокойней и уверенней.

Приговор никого не удивил. Суд, признав республиканцев виновными, нашел, однако, смягчающие обстоятельства и приговорил всех к шести месяцам и одному дню тюремного заключения условно.

Итак, республиканцы—на свободе! Я смешалась с шумной, восторженной толпой, покинувшей зал суда, и вышла на улицу вместе с освобожденными. Теперь республиканцы могли начать подготовку к выборам. Я вернулась домой, твердо уверенная, что в ближайшее время в Испании будет республика.

Муниципальные выборы — первые из предстоявших трех—были назначены на 12 апреля. 11 апреля монархисты сделали последнюю отчаянную попытку убедить избирателей, что управлять страной должен Альфонс. Они всюду вопили об этом, но это были их предсмертные вопли. На всех мадридских такси и даже на многих частных машинах красовались республиканские флажки с лозунгом: «Голосуйте за коалицию республиканцев и социалистов».

11 апреля я завтракала у родителей. Неожиданно этот завт-

как прошел очень бурно. Муж Маричу, весьма недалекий молодой человек, немного запоздал; он вошел запыхавшись, когда мы уже собрались в столовой.

— Знаете, почему я опоздал? — сев за стол, возбужденно начал он.

Все стали внимательно слушать его рассказ. Приехав сюда в такси, он заявил шоферу, что заплатит ему лишь в том случае, если тот снимет с машины республиканский флажок.

— Сначала он пригрозил полицией, — рассказывал мой зять, и щеки его пылали от удовольствия, — но когда я напомнил ему, что полиция вряд ли погладит по головке шофера, который отказывается снять республиканский флажок, он пробормотал что-то насчет того, что полицию содержит король, и уехал. Теперь он еще подумает, прежде чем прицепить республиканский флажок: разумеется, хозяева поглядят на счетчик и потребуют с него деньги за эту поездку — и деньги немалые.

— Bravo! — воскликнула Маричу.

Я не выдержала.

— Это подло, низко! — крикнула я. — Подумаешь, какой героизм — воровать песеты у бедняка только потому, что он других убеждений! Можешь радоваться: сегодня семья шофера останется голодной. Наверно, это возбудит твой аппетит...

Тут вмешалась мать:

— Я не потерплю ссор у меня за столом, — сказала она как-то неуверенно.

С тех пор я никогда не садилась за один стол с моим зятем.

Такие же бурные сцены происходили в этот день во всей стране. Брат на брата, отец на сына — вся Испания разделилась на два лагеря: левый и правый, на сторонников короля и сторонников республики. Кто же одержит победу?

Наутро Инес, Сенобия и я отправились смотреть, как проходит голосование. Мы, женщины, конечно, не имели права голоса, но в результатах голосования мы были кровно заинтересованы. Мадрид казался очень спокойным. Мы заметили, что почти все плакаты монархистов исчезли, тогда как республиканские лозунги были расклеены буквально на всех домах.

Мы решили позавтракать в ресторане. Когда мы пили кофе, вошел дядя Мигель с группой республиканских кандидатов.

— Мы побеждаем всюду, — сказал он торжественно, и эти слова глубоко взволновали нас.

Вернувшись к Инес, в ее маленькую квартиру над нашим магазином, мы заговорили о будущем страны. Что даст республика Испании?.. Мы видели новую Испанию, прекрасную страну, где справедливость — закон, а не исключение. Мы видели, как отсталая страна превращается в страну передовую. Мы видели ее расцвет. Видели крестьян, живущих так, как должен жить каждый человек на земле. Видели всех испанцев, добившихся свободы совести. Видели школы — школы для всех. Мы видели конец прогнившего, гнусного строя. Уже не смерть, но жизнь видели мы в Испании.

Испания привыкла к тому, что на выборах побеждала правящая партия, — разве не ее сторонники подсчитывали голоса? Но на сей раз не помогли никакие махинации. 12 апреля, поздно ночью, граф Романонес заявил на заседании кабинета министров: «Для нас, монархистов, результаты выборов не могли быть более плачевными». А он знал это лучше, чем кто бы то ни было. Ибо крестьяне той округи, где находилось его поместье, невзирая на властей и духовенство, не убоившись потерять заработок и обречь себя на голод, дружно направились к урнам и голосовали против своего помещика и властелина, — против самого графа Романонеса.

В понедельник утром весь Мадрид волновался. Немногие газеты, которым было разрешено выходить по понедельникам, — результат закона о воскресном отдыхе, — подтверждали победу коалиции. Все понимали, что настала решительная минута. Даже премьер-министр был того же мнения. Когда он шел во дворец, чтобы заявить о том, что кабинет решил подать в отставку, его обступили репортеры.

— Каких вам еще новостей? — огрызнулся он. — Испания легла спать монархической, проснулась — республиканской.

Медленно тянулся день, полный волнующих слухов. Король и его советники были в полной растерянности. Мой дядя-герцог, убежденный монархист, и тот сознавал, что народную волну силой оружия не остановишь. Армия могла только убивать, но одержать победу за Альфонса она была не в силах.

«Временное республиканское правительство» выпустило манифест, в котором говорилось: «От имени Испании, которая теперь стала совершеннолетней, мы заявляем во всеуслышание, что будем действовать быстро и энергично и, исполняя волю народа, установим в стране республику».

Дворец откликнулся на манифест обещанием немедленно назначить выборы в учредительные кортесы.

Но народ не стал дожидаться, пока король исполнит свое обещание. Его не удовлетворили даже декларации его собственных лидеров. Мадрид не спал всю ночь. Радостно возбужденные толпы ходили по улицам и распевали тут же экспромтом сочиненные песни, в которых они предлагали королю отречься от престола. На Пуэрта дель Соль, самой большой площади в Мадриде, где происходят все демонстрации, полиция брталась с народом. Правда, отряд гражданских гвардейцев дал несколько выстрелов по демонстрантам: один мужчина был убит, один ранен. Но и это последнее напоминание о монархии не смогло испортить праздничный вечер.

Утром 14 апреля пришло известие о том, что в Эйбаре, небольшом промышленном городке Страны Басков, республиканские кандидаты захватили здание муниципалитета и провозгласили республику.

Королевская семья, покинутая испанскими аристократами и даже близкими друзьями, дрожала у себя во дворце. Ее страх был напрасен. На улицах шумела революция, но народ не дал ни одного выстрела, не поджег ни одного здания, не совершил ни одного насилия, не пролил ни одной капли крови.

В полдень в Мадриде стало известно, что в Барселоне тоже провозглашена республика. В это время я ехала в такси по одной из центральных площадей Мадрида, мимо Главного почтамта. Вдруг шофер затормозил.

— Смотрите!— крикнул он. Голос его дрожал от волнения. По флагштоку на Главном почтамте спускался флаг монархической Испании. А затем я, с бьющимся сердцем, со слезами на глазах, увидела, как над зданием взвился флаг Испанской республики.

Мы с шофером выскочили из машины. Взявшись за руки, мы присоединились к шумной, возбужденной, ликующей толпе. Перед нами высились огромные правительственные здания, и мы видели, как с военного министерства и Испанского банка сползали монархические флаги и водружались республиканские — флаги новой Испании.

Я вырвалась из этой обезумевшей от счастья толпы и бросилась домой. У меня сидели друзья. Мы стали звонить дяде Мигелю, затем некоторым членам только что вышедшего в отставку кабинета, в том числе моему дяде-герцогу, и в редакции различных газет. В редакциях монархических

газет либо никто не подходил к телефону, либо отвечали, что им ничего неизвестно. Телефоны либеральных газет и республиканских лидеров все время были заняты; наконец мы дозвонились к дяде Мигелю, и он сообщил нам все новости.

Король покинул Мадрид. Он бежал из дворца в три часа дня, как раз когда над Главным почтамтом взвился республиканский флаг. Он доехал на автомобиле до Картахены, где его ждал миноносец. Перед отъездом король подписал временное отречение от престола. Этот исторический документ составил мой дядя, герцог Габриель Маура, и король поспешно его подписал. Если бы простодушный испанский народ обладал в то время большим политическим чутьем, он понял бы провокационный характер этого документа.

Король утверждал в нем свое право на испанский престол. Кроме того, он заявил, что ни он, ни члены его семьи не отказываются от своих привилегий и владений. Республиканские лидеры решили не обнародовать этот документ до тех пор, пока вся королевская семья не покинет Испании.

На следующее утро королева вместе со всей семьей и некоторыми аристократами отправилась на станцию Эскорял и села в поезд, отходивший в Париж.

Еще не выехав за пределы Испании, ее поезд встретился с другим, шедшим из Франции. В этом поезде возвращались изгнанники: летчики, участники неудавшегося восстания 1930 года, члены республиканского комитета, избежавшие ареста, и другие. Среди тех, кто, высунувшись из окна вагона, радостно приветствовал огромные толпы, собиравшиеся на станциях по пути следования поезда, был Игнасио Идадьго де Сиснерос, один из руководителей восстания в воздушном флоте.

Три дня улицы Мадрида были наводнены счастливым, восторженным народом.

К власти пришли республиканцы. Премьером первого республиканского правительства Испании был избран Алькалá Самора. Дядя Мигель занял пост министра внутренних дел. Так, без малейшего насилия, не пролив ни капли крови, Испания установила республиканский строй.

Сенобия, Инес и я пытались снова приняться за работу в магазине, но большую часть времени мы проводили за разговорами о политике,— впрочем, тогда этим занимались все испанцы. Откровенно говоря, в магазине почти нечего было делать. Светским дамам, которые год назад являлись

в магазин посмотреть, как торгует внучка Антонио Мауры, теперь было не до этого. Мадридские аристократы прежде всего поспешили изъять свои деньги из обращения: это был очень эффективный вид саботажа демократического правительства. Когда же им пришлось покупать продукты и прочие предметы первой необходимости, то они решили, что можно обойтись без хрусталя, керамики и вышивок, только бы не покупать их в республиканских магазинах!

Но хотя покупателей у нас было немного, Инес, Сенобия и я попрежнему встречались по утрам в магазине. Помню, однажды утром Сенобия вошла страшно взволнованная, с газетой в руках.

— Читайте,— сказала она и тут же отобрала у нас газету, с тем чтобы снова самой прочитать заметку.— «Республиканское правительство предлагает открыть в течение ближайших пяти лет свободные светские школы в таком количестве, что по крайней мере низшее образование станет доступным всем испанским детям»,— прочитала Сенобия.— «Долой неграмотность — вот наш новый лозунг».

— Я готова расцеловать всех наших министров,— кричала Сенобия.— Я счастлива: теперь Испания оживет!

Мы с Инес разделяли ее радость. Представьте себе Испании с тысячами светских школ! Вспомнив убогую школу, которую содержала моя мать, я подумала о новых, свободных школах, доступ в которые будет открыт всем испанским детям. Республиканцы предполагали выстроить за год столько школ, сколько при монархии строили в течение двадцати пяти лет!

То, что в магазине дела шли неважно, нас не смущало. Мы были уверены, что найдем применение своим силам, что мы будем так или иначе участвовать в созидании нашей родины. Я решила поступить в Общество национального туризма (ОНТ). Это было государственное учреждение, основанное еще Примо де Ривера. Главной его целью являлось привлечение иностранных туристов и развитие отечественного туризма. Для туристов были отпечатаны новые карты и иллюстрированные брошюры с описанием всех красивых мест в нашей стране. Для тех, кто путешествовал на машинах, возле самых шоссежных дорог были выстроены гостиницы и рестораны.

Я слышала, что Общество очутилось в тяжелом положении. Аристократы, которых Примо де Ривера поставил во главе его, бежали за границу. Я владела двумя иностранными языками и думала, что могу здесь быть полезна. Мне казалось

очень важным привлечь к нам иностранных туристов, для того чтобы они своими глазами увидели, что делает республиканское правительство для Испании, и чтобы они разоблачили клевету, которую монархисты распространяли за границей. Я хотела также привить испанцам любовь к путешествиям по Испании. Я была уверена, что отчужденность между отдельными провинциями и врожденная недоверчивость испанского народа исчезли бы, если бы испанцы лучше знали свою страну. А для этого нужно было удешевить путешествие, сделать его доступным для всех испанцев, а не только для богачей.

Полная энтузиазма, я отправилась к Рафаэлю Санчесу Герре, секретарю премьер-министра. Я давно знала его отца, бывшего премьера. Я навещала их семью в Париже, куда старый Санчес Герра, добровольный изгнанник, переехал во время диктатуры. Рафаэль принял меня очень любезно и обещал устроить в Общество национального туризма. Все-таки я ушла от него огорченная. Мне показалось, что мое страстное желание помочь республике он принял за хлопоты о заработке, в котором я, кстати сказать, совсем не нуждалась: я все еще получала деньги от отца, и нам с Лули вполне хватало на жизнь. Но я гнала от себя эти мрачные мысли и с нетерпением ожидала вызова из ОНТ.

Некоторое время спустя я приступила к работе. Первое разочарование доставили мне коллеги. Это были либо состоятельные люди, владельцы модных курортов или чего-нибудь в этом роде, либо родственники и друзья республиканских лидеров. Они и не помышляли о том, чтобы превратить ОНТ в организацию, действительно полезную для Испанской республики. Получая хорошее жалование, они, как и прежние чиновники, служившие здесь при монархии, старались лишь как можно меньше работать.

Но я решила не отчаиваться. Я подняла такой шум, что мне, наконец, дали работу. Я написала брошюру о старинных испанских замках, которая так и не была напечатана. Затем меня послали обследовать один из отелей, принадлежавших ОНТ. Это был роскошный, чрезвычайно дорогой отель, стоявший далеко в стороне от дороги. Им пользовались только тогда, когда один из аристократов, назначенных в ОНТ бывшим диктатором, устраивал охоту и приглашал гостей. Вернувшись в Мадрид, я сделала подробный доклад обо всех этих безобразиях. Я считала, что отель надо либо закрыть, потому что содержание его обходилось слишком дорого, либо превратить в дешевую гостиницу для менее

взыскательного, но зато более многочисленного контингента туристов.

Но в ОНТ я не встретила поддержки. Руководители ОНТ несомненно были заинтересованы в содержании этого роскошного отеля, а новые республиканские чиновники были слишком безразличны к судьбе ОНТ, чтобы принять то или иное решение.

Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что так же обстояло дело и в других учреждениях. В большинстве из них сидели те же чиновники, что еще недавно верой и правдой служили королю. Республиканский дух так и не проник в правительственные республиканские учреждения. Сменить правительство оказалось недостаточно, надо было принять еще какие-то решительные меры. Но все мы были одержимы стремлением к «законности»: мы хотели, чтобы даже тень насилия не пала на нашу юную республику. За эту манию «законности», которой страдало наше первое республиканское правительство, в ближайшие же годы пришлось жестоко расплачиваться испанскому народу.

Но если республика медлила с административными мерами, то в своей законодательной программе она проявляла достаточную смелость. Первым пунктом этой программы стояло отделение церкви от государства. Европейским и американским государствам демократия принесла эту реформу по крайней мере сто лет назад. Теперь свобода совести предоставлялась и испанцам: им было дано право верить или не верить — это было дело совести каждого. Католики могли попрежнему соблюдать все обряды своей религии, но кто не хотел быть католиком, тот не подвергался преследованиям. Церковь должны были содержать прихожане, в то время как раньше ее субсидировало правительство. Однако церковь не сразу была снята с государственного бюджета; лишь впоследствии ей пришлось прибегнуть к тому же источнику существования, какой был у духовенства в других странах, то есть к пожертвованиям прихожан.

Но еще до того, как было принято это решение, церковь стала на сторону монархии. Священники с амвона призывали верующих голосовать против коалиции республиканцев и социалистов и угрожали вечным проклятием тем, кто не будет поддерживать короля Альфонса: церковь знала, что республика создаст светские школы, разрешит гражданские браки, отменит принудительность церковных похорон и тем самым лишит духовенство трех крупных источников дохода. Но народ не желал, чтобы церковь вмешивалась в поли-

тику и занималась не только духовными, но и мирскими делами. Подавляющее большинство голосовало за республику.

Республика дала мне новую работу, благодаря ей я обрела любовь к жизни. Ей же я обязана и переменой в моей личной судьбе.

Однажды, в конце апреля, моя младшая сестра Рехина попросила меня поехать вместе с ней на завтрак, который давали слушатели одной из мадридских летных школ. Я согласилась неохотно — совсем не так весело сопровождать молодых девушек! — и с одним условием: я еще никогда не летала, так вот, пусть один из пилотов покатает меня на самолете. Должна же я вознаградить себя за скуку, которую мне придется терпеть во время этого глупого завтрака!

В то прелестное весеннее утро я встретила с Рехиной в открытом ресторане в парке Ретиро. Ее кавалер был уже там. Мы сидели за столиком, пили вино и ждали офицера, который взялся отвезти нас на аэродром, где должен был состояться завтрак и мой первый полет. Я отчаянно скучала до тех пор, пока Рехина и ее кавалер не заговорили об этом офицере. Он был начальником аэродрома, который мы хотели посетить. Один из лучших испанских летчиков, он пользовался в воздушном флоте большой популярностью. Потомок адмирала Сиснероса, участника злополучной битвы при Трафальгаре, сын адъютанта Дона Карлоса, претендента на испанский престол, сам он был убежденным республиканцем. Возглавив восстание воздушного флота, он последним перелетел границу, после того как переправил во Францию многих своих друзей. Когда он жил в изгнании после неудавшегося переворота, один из его родственников, друг короля Альфонса, уговаривал его вернуться на родину и обращался к нему с самыми соблазнительными предложениями, требуя взамен лишь клятвы в верности королю.

Но этот отпрыск испанской земельной аристократии предпочитал влачить нищенское существование на чужбине, чем служить Альфонсу.

— Ты в него непременно влюбишься, Констанция, — со смехом сказала Рехина. — В него все влюбляются. Подчиненные обожают его, а женщины и подавно!

Я презрительно фыркнула.

— Это все ерунда, — строго заметил поклонник Рехины, — но знакомством с моим начальником вы действительно можете гордиться. Ему только тридцать пять лет, а он уже начальник летной школы.

Я пожала плечами.

— Уж слишком вы его расхваливаете, — сказала я холодно.

— А вот и он! — воскликнула Рехина. Я обернулась и увидела высокого, стройного мужчину в штатском, пробиравшегося между столиками.

— Моя сестра, — представила меня Рехина. — Констансия, это Игнасио Идальго де Сиснерос!

Мы церемонно раскланялись. Майор повел нас к своему маленькому форду. Рехина и ее поклонник сели сзади, а я рядом с майором.

Выйдя из автомобиля, мы прошли в небольшой домик, который занимал майор Сиснерос. За завтраком Рехина оживленно болтала со своим кавалером, мы же с майором вели чопорную беседу ни о чем. Боюсь, что герою было очень скучно со мной.

Кавалер Рехины стал разъяснять ей политику республиканского правительства. Он не знал, что моя сестра больше интересуется некоторыми республиканцами, чем принципами республиканского строя.

Я вмешалась в разговор:

— А я слышала, как на суде Алькалá Самора сказал... — начала я.

— Вы бывали на суде? — спросил майор.

— Ежедневно, и сидела в первом ряду.

— Вот как? — удивился Сиснерос.

Через два часа денщик стал убирать со стола. Рехина и ее кавалер скрылись, а мы с майором все продолжали говорить, и весь остальной мир для нас не существовал.

Наконец я вспомнила о своих обязанностях.

— Рехина! — позвала я, вскакивая из-за стола.

Офицеры отвезли нас на аэродром.

Штатским, а женщинам в особенности, не разрешалось летать на военных самолетах, но майор дал мне летную куртку, посадил в открытую двухместную машину, завел мотор, и мы понеслись по полю. Еще минута, и мы поднялись. Я посмотрела вниз и увидела золотую, зеленую и красную Гвадалахару, раскинувшуюся под нами. Ветер трепал мои волосы, радостно и возбужденно билось сердце. С того дня я полюбила летать, и всякий раз, когда я занимаю место в самолете и отрываюсь от земли, мной овладевает какое-то необыкновенно бодрое чувство.

Мы летали недолго. Самолет был весьма устаревшей конструкции, дребезжащий, расхлябанный, как большинство

самолетов республиканской Испании, и летать на нем было почти так же безопасно, как на испорченной швейной машине.

Время от времени майор оборачивался ко мне и движением руки спрашивал: «Хорошо?»

Он не мог слышать мои слова, но, видимо, понимал мои чувства, потому что в ответ он улыбался и набирал высоту.

Наконец мы пошли на посадку. Самолет заскользил по земле. Механики помогли нам выйти из машины, и тут я убедилась, что Сиснероса действительно обожают. В этом не было ни тени раболепства, но все желания командира выполнялись прежде, чем он успевал их высказать.

Когда мы возвращались в Мадрид, майор спросил:

— Вы замужем?

— Я разошлась с мужем,— сухо ответила я.

Последовала пауза.

— Вы, вероятно, живете с родными?

— Нет.— Я замаялась, вспомнив, что многим испанцам мой образ жизни казался странным. Наконец, преодолев смущение, я спокойно ответила:

— Я работаю. А живу я с моей маленькой дочкой, горничной и няней.

Майор сочувственно кивнул головой.

— Вам трудно?

— И все-таки я предпочитаю независимость обеспеченной жизни у родных.

Майор улыбнулся.

— Это замечательно!— воскликнул он.— Я восхищаюсь вами!

На следующий день, к великому удивлению моей горничной, я сама подходила к телефону на каждый звонок. Но Игнасио не позвонил ни в этот день, ни на другой, ни на третий. Через неделю я снова предоставила горничной подходить к телефону и перестала нервно рыться в своей утренней почте. Очевидно, у майора много друзей,— решила я.

Итак, в Испании установилась республика. В течение нескольких недель у аристократов зуб на зуб не попадал от страха: они были уверены, что новое правительство отберет у них земли, пошлет в изгнание, посадит в тюрьму их главарей. При монархии ни один республиканец не чувствовал себя в безопасности. Конечно, и республика не станет нежничать с монархистами,— рассуждали они. Однако наше пра-

вительство строго придерживалось «законности». Члены правительства хорошо знали историю, многие из них были профессорами. Они знали, что, например, американская революция начисто разделалась со сторонниками Георга III. Но понадобятся ли столь крутые меры в наш просвещенный век? Ведь демократия дает возможность каждому свободно высказывать свое мнение, не так ли?

Некоторые республиканцы утверждали, что демократия должна предоставлять свободу слова сторонникам демократии, но не тем, кто намерен ее овергнуть. Должна ли демократия спокойно смотреть на то, как ее уничтожают?—спрашивали эти трезвые политики. Но «законники» взяли верх.

Монархистам, которые отнюдь не обеднели при республике, попрежнему принадлежала крупнейшая мадридская газета — знаменитая «АБЦ». Она ежедневно предсказывала гибель юной республике, печатала длинные интервью со своим героем, королем Альфонсом, отчеты о деятельности монархистов в Испании и за границей. Убедившись в прекраснодушии республиканского правительства, монархисты окончательно распоясались. В центре Мадрида они устроили себе роскошную штаб-квартиру. Они организовывали митинги, печатали брошюры, расклеивали по городу плакаты, в которых призывали к свержению республики. «Требуем возвращения Альфонса»,—кричали они повсюду.

В воскресенье десятого мая либеральная политика республики по отношению к своим врагам принесла первые горькие плоды. Группа юных аристократов, заносчивых пшютов с тросточками и выхоленными усиками, устроила заседание, на котором был выработан план демонстрации. Демонстрация назначалась на воскресенье семнадцатого мая, то есть на день рождения короля. Воскресенье 10 мая прошло бы спокойно, если б не рвение юных сеньорито. План будущей демонстрации окрылил их. Они вышли из своей великолепной штаб-квартиры с криками: «Да здравствует Альфонс! Долой республику!»

Перед клубом монархистов в ожидании пассажиров выстроился длинный ряд такси. А надо заметить, шоферы такси были самыми яркими республиканцами в Мадриде.

— Долой республику!—кричали аристократы.

— Долой Альфонса!—крикнули в ответ шоферы.— Да здравствует республика! Да здравствует свобода!

Аристократы пришли в ярость. В дверях клуба показался

редактор «АБЦ» и, помахивая тростью, направился к одному из шоферов.

— Ты что сказал?— спросил редактор.

— Да здравствует республика!— крикнул шофер.— Долой монархистов!

Редактор ударил шофера тростью по голове. Тот вскрикнул и, обливаясь кровью, упал возле своей машины.

Но монархисты не учли настроения мадридцев. Собралась толпа, мрачная, возмущенная. Редактор поспешил скрыться; потерявший сознание шофер все еще лежал на мостовой.

Раздался крик: «Он убит! Монархисты убили республиканца!» Шофер был только легко ранен, но слух об его убийстве распространился с быстротой степного пожара.

В это время я возвращалась домой с прогулки и увидела два пылающих лимузина, принадлежавших монархистам.

Народ все прибывал. Аристократы засели в клубе. Подоспевшие гражданские гвардейцы пытались сдержать возбужденную толпу республиканцев.

Вдруг загремели выстрелы. В толпе раздался крик. Один человек был убит наповал. Громко плакали двое раненых малышей.

Кто же стрелял в толпу? Одни говорили, что стреляли из клуба; по словам других выходило, что стреляли из-за деревьев юные монархисты, братья Миральес.

Мадрид кипел от негодования. Остановились трамваи, шоферы отвели свои машины в гаражи. На другой день должна была начаться всеобщая забастовка.

В понедельник газеты вызвали новый взрыв ярости. Генерал Беренгер, бывший министр короля Альфонса, арестованный по обвинению в убийстве Фермина Галана и Гарсии Эрнандеса, был освобожден республиканскими властями. И здесь «законность» восторжествовала над здравым смыслом.

В понедельник днем руководство социалистических профсоюзов отменило забастовку и предложило своим членам приступить к работе. Но не весь Мадрид подчинялся дисциплине рабочих организаций. Члены профсоюзов прекратили забастовку, а мадридские улицы все еще были полны народа. Огромная, молчаливая, неподвижная толпа смотрела, как небольшая кучка людей, человек сто, поджигала дом отцов-иезуитов на Калье де ла Флор, где я впервые исповедывалась. Тысячи людей, смотревших на пожар, не принимали участия в поджоге: они лишь наблюдали, спокойно и мрачно. А когда здание догорело, мадридцы разошлись по домам,

несколько утолив свой гнев. В доме иезуитов не было произведений искусства, деньги же и ценности были спасены и отданы на сохранение жившему по соседству часовому мастеру. Отцы-иезуиты бежали еще до того, как их дом был подожжен.

Я не видела ни этого, ни других пожаров, волна которых прокатилась по всей Испании. Этот день я провела у Инес и с тревогой думала о том, какие последствия будут иметь эти события. Испанский народ вынудили прибегнуть к пожарам: это был его ответ провокаторам, желавшим отнять у него свободу. Республиканские вожди могли удержать народ только силой оружия, но демократическое правительство не могло и не хотело стрелять в народ. С аристократами испанский народ поступил более чем справедливо, он проявил истинное великодушие к этим людям, угнетавшим его в течение стольких лет. Но когда монархисты попытались задуть республику, народ начал действовать.

На другой день я поехала к дяде Мигелю и нашла его взволнованным и испуганным. Мы знали, что такие люди, как, например, мои родители, убежденные реакционеры, однако занимавшие нейтральную позицию по отношению к молодой республике, сейчас приняли определенное решение. Пока республика ничего не меняла в Испании, пока республика оставляла им все их права и привилегии, они даже не прочь были оказать ей некоторую поддержку. Но теперь, когда положение изменилось, они решили бороться против республики не на жизнь, а на смерть.

С этого дня Испания разделилась на два лагеря. Раскол проник и в семью: глубокая пропасть разделяла теперь отцов и сыновей, матерей и дочерей, жен и мужей, братьев и сестер. Политика перестала быть темой досужих разговоров за обедом. Люди ощущали себя монархистами или республиканцами, реакционерами или прогрессистами. Они боролись либо за свободу, либо против нее. Большинство испанского народа — крестьяне, рабочие, часть среднего сословия — стояло за республику. А вся богатая и знатная Испания — крупные капиталисты и помещики, титулованная аристократия, духовенство (но далеко не все сельские священники) — была против республики.

Возвращаясь от дяди Мигеля, я думала о том, что я с теми, кто за свободу. И я думала, как думаю и теперь, что Испания, несмотря ни на что, будет свободной. Испанский народ не может быть и не будет поработчен.

Но я знала, что ближайшие годы будут тяжелыми годами для Испании.

Пожары прекратились. В провинциях воцарилось спокойствие. Люди снова принялись за работу. Были созваны учредительные кортесы, и, как все и ожидали, республиканско-социалистическая коалиция собрала подавляющее большинство голосов. В кортесах заседали интеллигенты-республиканцы, хотя многие из них показали свою полную непригодность к политической деятельности. Но испанский народ проявил трогательное отношение к культуре, которую так долго презирали в Испании. При монархии университеты были в загоне. Республика, желая выразить свое уважение к профессорам, поручила им работу в министерствах, с которой они справлялись неважно.

Первый параграф новой конституции, принятой кортесами, гласил: «Испания является демократической республикой трудящихся всех классов, сплоченных вокруг единой свободной и справедливой социальной системы. Все ее учреждения облечены властью самим народом». Это было прекрасно сказано, но, к сожалению, слова не вполне соответствовали действительности, потому что крестьяне все еще целиком зависели от помещиков, а рабочие все еще нуждались в самом элементарном трудовом законодательстве. Все же республиканская конституция возвещала древней стране новую жизнь.

На очереди стояли важнейшие проблемы: аграрный вопрос, реорганизация армии, отделение церкви от государства, автономия Каталонии. Новая конституция блестяще разрешила все эти проблемы... на бумаге. В 1931 году в испанской деревне еще сохранялись почти феодальные отношения. Только теперь, когда кортесы обсуждали проект аграрной реформы и мы с друзьями каждый вечер говорили о политике, я узнала, как живут испанские крестьяне. Я помнила Ла Мату, но оказалось, что вся Испания — это одна огромная Ла Мата. В 1931 году шестидесяти процентам испанцев, занимавшихся сельским хозяйством, а таких было 15 000 000, принадлежало 6,3 процента всей земельной площади, в то время как четыре процента владели шестьюдесятью процентами всей площади. Другими словами, кучка богачей владела почти всей землей, тогда как у крестьян своей земли почти не было.

Первое время мне трудно было понять, что значат эти цифры. Я выросла среди людей, которые владели землей; теперь я стала кое-что узнавать и о тех людях, у которых земли не было. Я узнала, например, что сельское население

в Испании составляет 70 процентов и что, следовательно, Испания — аграрная страна. Я прочтала в газетах, — и это меня потрясло, — что герцогу Мединасели принадлежит 79 146 га земли, а два с половиной миллиона галисийских крестьян владеют 2 900 000 га.

Испанию нельзя было назвать бедной страной, но земля, принадлежавшая богатым испанским помещикам, была истощена устаревшими способами обработки. Крестьяне систематически голодали. Огромные участки земли принадлежали скотопромышленникам, и они, вместо того чтобы устраивать специальные пастбища, пускали скот на поля, которые могли бы прокормить тысячи людей.

Проект аграрной реформы пытался разрешить некоторые из этих проблем. Невспаханые и общинные земли должны были отойти к крестьянам, за что республика щедро вознаграждала помещиков. Вывоз хлеба и других сельскохозяйственных продуктов разрешался лишь в размерах, предусмотренных соответствующим законом. Таким образом, цены на продукты должны были стать доступными для рабочих. Республиканское правительство стремилось покончить с таким положением, когда испанские рабочие и крестьяне голодали, а продукты экспортировались за границу. Наконец прошел и так называемый «рехьональный» (областной) закон, который запрещал нанимать пришлых рабочих, когда среди местного населения и так имелось много безработных. В силу этого закона помещикам уже нельзя было ввозить из Португалии более дешевую рабочую силу и тем самым обрекать на голод крестьян, голосовавших за республику. Однако и рехьональный закон фактически не соблюдался.

Проект аграрной реформы сулил Испании светлое будущее. Крестьяне должны были поселиться на землях, купленных республикой у аристократов. Меньшинство, владевшее 60 процентами всей земельной площади, должно было уступить часть большинству. Но реформа осталась на бумаге. В 1931 году все крестьяне были полны надежд. Прошло несколько лет, а они все еще ждали от республики земли и хлеба. Аграрная реформа продвигалась крайне медленно, и я невольно думала, что ее проводят именно те лица, которые заинтересованы в том, чтобы помешать ее осуществлению.

Вопрос об армии также был разрешен конституцией. Первым военным министром республики был назначен Мануэль Асанья. Сдержанный, осторожный интеллигент, он в течение многих лет изучал стратегию и тактику, стал знатоком воен-

ного дела и на карте мог выигрывать сражения лучше, чем любой другой испанский интеллигент. Много раз, сидя с друзьями в кафе, обсуждал он проблемы испанской армии. Он посвящал восторженных друзей в свои точные, ясные планы ее реорганизации. За чашкой кофе он говорил о том, что в испанской армии больше 800 генералов, что на каждые шесть солдат приходится один офицер и что, несмотря на это, испанская армия — самая небоеспособная армия в Европе.

. Но теперь он был военным министром, а не просто интересным застольным собеседником, рассуждающим о военном деле.

Теперь ему пришлось иметь дело с самой продажной, самой косной, самой корыстной военной кастой в мире. Он должен был создать боеспособную армию с помощью офицеров, ненавидевших республику, которой они служили. Короче говоря, он должен был превратить монархическую армию в республиканскую. Первое, что он сделал, это разрешил всем генералам, не пожелавшим служить в армии, выйти в отставку на полную пенсию. Эта огромная ошибка чуть было не погубила республику.

Асанья не имел ни малейшего представления о жизни армии. Офицерская каста находилась в теснейшем союзе с феодалами и с самым крупным феодалом — церковью. Считалось, что испанская армия «стоит в стороне от политики», то есть что авторитет короля и церкви для нее непогрешим. Но испанское офицерство всегда пользовалось правом «пронунсиаменто». То есть, если создавшееся в стране положение не отвечало его узко кастовым интересам и затрагивало его привилегии, оно поднимало мятеж. При этом офицеры никогда не выдвигали положительной программы, они лишь выражали свой протест против нарушения их интересов.

Асанья знал, что испанское офицерство сплошь состоит из монархистов, но не знал, как с этим быть. Вместо того, чтобы принять решительные меры, он колебался. Было ясно, что старую монархическую армию надо распустить и создать новую, во главе с республиканскими офицерами, выдвинувшимися из рядовых и окончившими новые военные училища. Молодая республика нуждалась в преданной армии. Но Асанья дрожал при мысли о том, какое недовольство могут вызвать подобные мероприятия. Поэтому он ограничился тем, что сократил число офицеров и предложил всем желающим выйти в отставку с полной пенсией. В результате те немногие республиканцы, которые находились в армии, воз-

мушенные тактикой Асанья, подали в отставку, а вместе с ними и все более или менее нейтральные офицеры. Монархисты же, активно конспирировавшие против республики, остались на своих постах. Иными словами, Асанья очистил армию от сочувствовавших республике и нейтральных офицеров и сделал из нее промонархистскую конспиративную организацию. А те офицеры-монархисты, которые вышли в отставку с мундиром и пенсией, имели возможность поддерживать с армией самую тесную связь.

Отделение церкви от государства, больше чем какое-либо другое мероприятие республики, вызвало со стороны реакционеров резкий отпор. Монархистам удалось убедить общественное мнение заграницы в том, что испанская республика безбожна, антирелигиозна, что она пытается разрушить в народе религиозное чувство. Это было несправедливое обвинение. Ведь никто же не считал безбожным правительство Соединенных Штатов, когда оно, во время оккупации Филиппинских островов, объявило об отделении церкви от государства. Просвещенная демократия всего мира полагает, что гражданину свободного государства должна быть предоставлена полная свобода совести и что он волен вносить или не вносить деньги в церковную казну. Католическая церковь Соединенных Штатов не требует, чтобы американский конгресс ежегодно выплачивал ей субсидию в размере нескольких миллионов долларов. Но когда испанские кортесы решили провести закон об отделении церкви от государства, то возмущенные монархисты подняли крик на всю вселенную.

Испанская католическая церковь была могущественна. Ей служили 168 762 человека, то есть значительно большее число людей, чем то, которое состояло на службе у правительства, считая полицию и чиновников. Церковь была крупнейшим и самым жестоким помещиком в Испании: целыми деревнями превращала она крестьян из независимых землевладельцев в арендаторов церковных земель. Церковь была и крупнейшим капиталистом: иезуитам принадлежали сотни шахт, электрических, судоходных и телефонных компаний, банков, гостиниц, газет, радиостанций и железных дорог. Священники, крупнейшие капиталисты Испании, являлись серьезнейшими конкурентами испанских капиталистов-мирян. Так, например, электрическую компанию моего отца буквально забивала мадридская электрическая компания иезуитов до тех пор, пока он благоразумно не объединился с ними.

Церковь была богата, могущественна и пользовалась ог-

ромным влиянием. Государственный сельскохозяйственный банк, принадлежавший иезуитам, предоставлял кредит более чем двум миллионам мелких торговцев и крестьян. Вы хотите получить ссуду под ваш крошечный урожай апельсинов? Прекрасно. А за кого вы голосовали на выборах? Вы — республиканец? Тогда банк, к сожалению, не может выдать вам ссуду.

Католическая Аграрная федерация ставила своей целью воспрепятствовать созданию крестьянских организаций. Федерации принадлежало семьдесят журналов и пять ежедневных газет. Газеты вели усиленную пропаганду идей федерации, а сама федерация находилась под контролем иезуитов.

Наконец почти все дело народного образования было сосредоточено в руках иезуитов. Правда, республика обещала открыть свободные светские школы. Но их еще надо было строить, а преподавателей надо было учить. А пока что, если вы хотите, чтобы ваш сын или дочь ходили в школу, вам ничего не остается делать, как посылать их к иезуитам. И вот ваш ребенок приходит домой из школы и говорит: «Учительница не позволила детям разговаривать со мной: она сказала, что я нечестивец, потому что вы голосовали за республику».

Церковь была могущественна. В кортесах заседал Хиль Роблес, вождь Сэды — конфедерации правых автономистских партий. Основной задачей Сэды являлась защита привилегий и власти церкви и других крупных землевладельцев.

Республика разрешила вопрос о церкви. Однако время показало, что и это решение осталось на бумаге.

Вопрос о независимости Каталонии был наименее сложным из всех вопросов, которые предстояло разрешить кортесам. Многие поколения каталонцев мечтали о независимой, самостоятельной Каталонии, но эти мечты каталонского народа часто использовали те, кто хотел привлечь трудящихся Барселоны на сторону реакции.

Теперь, при республике, каталонский язык и каталонский флаг получили, наконец, права гражданства. Каталонии было гарантировано автономное управление с самостоятельным административным аппаратом: она должна была представлять собой нечто вроде отдельного штата, как в Северной Америке. Вся Барселона высыпала на улицу и приветствовала мадридских республиканцев, которые приехали подписывать автономный статут Каталонии, знаменовавший единство прогрессивной Испании.

Месяц в новой Испании проходил быстрее, чем неделя при монархии — по крайней мере, для меня. По утрам я работала в ОНТ, днем — в магазине. По вечерам мы с друзьями горячо обсуждали разные политические вопросы. Жизнь казалась свободной, прекрасной, счастливой. Мне было двадцать пять лет. Я начинала понимать и себя и свою страну. Перед всеми испанцами стояли серьезнейшие проблемы, и люди, казалось, росли, пытаясь разрешить их. В те дни политика поглощала нас без остатка.

И поэтому, когда однажды в июне зазвонил телефон и чей-то мужской голос назвал себя, я на одну секунду призадумалась, прежде чем вспомнила, кто такой Игнасио Идальго де Сиснерос.

— Да? — сказала я, и мне стало обидно при мысли о том, что я целую неделю тщетно ждала его звонка.

— Я уезжал, — торопливо заговорил Игнасио. — Я уехал на следующий же день после нашей встречи. Надеюсь, вы меня еще не забыли и согласитесь поехать со мной вечером на аэродром, — там будет чествование.

— Видите ли... — начала я нерешительно.

— Поедьте, непременно поедьте, — стал горячо убеждать меня Игнасио. — Рамон Франко только что назначен начальником воздушного флота, и мы будем его чествовать.

Рамон Франко, один из руководителей антимонархического восстания в воздушном флоте (1930 г.), привлекал взоры всей Испании, а его брат, Франсиско Франко, был тогда еще безвестным генералом.

Я заметила, что для этого чествования я как-то особенно заботливо одеваюсь, как не одевалась уже много лет. Только в далекие дни моих первых выездов в свет уделяла я столько внимания прическе и туалету. Неожиданно я почувствовала себя совсем молодой, я забыла, что моя жизнь кончена, что моя судьба решена бесповоротно. Услыхав звонок Игнасио, я поцеловала Лули и быстро спустилась по лестнице.

Мы чудесно провели время. Я не могла удержаться от смеха, глядя на высокомерных офицеров воздушного флота, щеголявших военной формой, тогда как Игнасио, вероятно самый знаменитый после Рамона Франко испанский летчик, был в штатском. Весь вечер он просидел со мной, много шутил, называл присутствовавших здесь знаменитостей. В тот вечер, прощаясь с ним у дверей моего дома, я заметила, что хотя он сделал вид, будто совершенно равнодушен, голос его слегка дрогнул, когда он спросил меня: «Поедьте завтра за город?»

Я согласилась. И с тех пор мы стали с ним ездить за город почти каждый день. Иногда мы брали с собой мою дочь, иногда ездили одни, после того как я кончала работу в магазине. Это было очень жаркое лето, и мы чаще всего уезжали в горы, подходившие к самому Мадриду. Иной раз мы заходили в маленькое кафе, недалеко от аэродрома.

Однажды я вошла в магазин в одном из своих лучших летних костюмов: после работы мы с Игнасио должны были, как всегда, вместе пообедать. Вероятно, я даже тихонько напевала, а может быть, просто взгляд или выражение лица выдали мои чувства.

— Ты сегодня опять встретишься с ним?— неожиданно спросила Сенобия.

— С кем?— с невинным видом спросила я.

— Констансия!— В голосе Сенобии слышались слезы. Я подняла голову от холстов, которые я разбирала, и взглянула на Инес и Сенобию — моих самых дорогих друзей, смотревших на меня с тревогой и грустью.

Они сказали мне, что хотя теперь не монархия, а республика, но я все еще замужняя женщина и что весь Мадрид злословит обо мне. Игнасио был знаменитостью; я, дочь знатных родителей, тоже была на виду. Они знали, что наша дружба с Игнасио носит вполне невинный характер, но Мадрид этого не знал. Материальная независимость женщины — это прекрасно. Я имею полное право зарабатывать себе на жизнь. Но когда замужняя женщина показывается всюду с мужчиной, да еще без компаньонки — это совсем другое дело.

Замужняя! В течение последних месяцев я даже не вспоминала о Болине. Я добилась права на уход от мужа, и не я была виновата в том, что не могла получить развод. Республика обещала провести закон о разводе, но кортесы раскачивались медленно. А я тем временем нарушала нравственный кодекс высоконравственной Испании.

Но пока Сенобия говорила мне все это, я думала о том, что прилично это или неприлично, а я не могу и не хочу расстаться с Игнасио. Я даже не знала, что думал о наших отношениях Игнасио: после первого разговора он никогда не упоминал имя Болина. Но мне хотелось привлечь Сенобию на свою сторону. С этой целью я устроила ей встречу с Игнасио. Мы поехали втроем в машине Сенобии. Я решила соблюдать хоть некоторые правила приличия, на случай, если сплетня дойдет до моих родителей и они зададут мне тот же вопрос, что и моя подруга. Сенобия сразу очаровала

Игнасио, и вскоре они стали близкими друзьями. Таким образом, дело более или менее уладилось. Сенобия согласилась принимать участие в наших пикниках и экскурсиях, и когда она всюду стала появляться с нами в роли компаньонки, сплетникам пришлось попридержать язык.

В Мадриде становилось все жарче. Мы трое, Игнасио, Сенобия и я, собирались провести мой отпуск вместе. Я боялась ехать в Ла Мату, так как чувствовала, что моим родным все известно и они только ищут случая, чтобы серьезно поговорить со мной. Поэтому мы решили совершить втроем экскурсию в машине Сенобии по Саламанкской провинции. Но в последний момент Игнасио задержали дела. Он прислал нам молодого солдата, который должен был править машиной, и мы с Сенобией поехали знакомиться с Испанией. Республика пробудила в нас патриотизм, нам захотелось лучше узнать свою родину.

На второй день путешествия мы приехали в деревню Ла Альберка, где женщины носят черные шерстяные юбки, отделанные яркой золотой и серебряной тесьмой. Впрочем, нас не интересовали живописные костюмы. Нам хотелось посмотреть, какие перемены произошли после установления республики в отдаленных районах Испании. Но Ла Альберка ничуть не изменилась: по крайней мере, мы не заметили в этой старинной испанской деревне ростков новой жизни. Дома здесь были такие же ветхие, женщины, сидевшие на порогах, такие же увядшие и измученные. И мы поняли, что пройдет еще много, много времени, прежде чем изменятся обычаи и уклад жизни пятнадцатимиллионного испанского крестьянства.

Впрочем, кое-какие изменения наблюдались и в Ла Альберке. Тюрьма — грязный, вонючий хлев, не пригодный и для скотины, — была снесена. Молодая женщина, умевшая отвечать на телефонные звонки и печатать на машинке, — явление, небывалое в Ла Альберке, — заменяла справочное бюро для туристов. Она посоветовала нам, когда мы будем спускаться по крутой горной дороге, заехать в монастырь Лас Батуэкас.

Лас Батуэкас представлял собой остатки древнего кармелитского монастыря, выстроенного триста лет назад среди плодородной долины, но впоследствии покинутого монахами, которым не захотелось жить в таком пустынном месте. За последние двадцать лет кармелиты пытались снова заселить заброшенный, полуразрушенный монастырь. Но уж очень тут было глухо. Сперва в монастыре поселилось несколько монахов, потом они, один за другим, покинули его. Остался лишь

брат Хоакин, который и представлял здесь орден кармелитов.

Немногие жилые комнаты монастыря были превращены в гостиницу, где приезжих принимали столь же радушно, как в средние века странствующих идальго. Кроме брата Хоакина, в монастыре жила кухарка со своей дочуркой Карменситой, прелестной белокурой девочкой. На Карменсите был миткалевый узкий корсаж с длинными сборчатыми рукавами и длинная широкая юбка,— так обычно одевают своих детей кастильские крестьяне. Она провела нас в отведенные нам комнаты, которые оказались значительно лучше, чем мы ожидали. Правда, деревянный пол был не очень чист, в коридоре и в комнатах висела паутина, но зато нам положили новые тюфяки, о чем с гордостью сообщила Карменсита. Ее мать вымыла шерсть в реке и сама набила тюфяки. Карменсита показала нам еще одну комнату, в которой стояла ванна с краном для холодной воды, и сконфуженно объяснила, что этой ванной никогда никто не пользовался, так как монахи почему-то забыли проложить трубы.

Мы встали в шесть часов, и в эту раннюю пору монастырский сад показался нам особенно приветливым и прохладным. Гладкая каменная плита под деревом заменяла стол для приезжих. Карменсита уже приготовила нам завтрак. В монастыре не пекли хлеба, потому что в долине не сеяли пшеницы. Время от времени из Ла Альберки сюда спускались крестьяне: они продавали хлеб или чудесные лепешки из ржаной муки. Этими лепешками мы и позавтракали.

Брат Хоакин предложил нам посетить пустынную, глухую местность Лас Урдес, обманчивым преддверьем к которой служила долина Лас Батуэкас. Здесь деревья и цветы росли в изобилии. Птицы и мелкие звери нарушали безмолвие гор. Даже мы с Сенобией, ничего не понимавшие в земледелии, заметили, что земля здесь очень плодородна и что на ней отлично могли бы произрастать рожь и пшеница. Но долина сперва принадлежала одному богатому коммерсанту, а от него перешла во владение к герцогу, жившему в Мадриде; и тот и другой пускали сюда только редких туристов.

От монастыря до первой реки, мелкой, с песчаными берегами, как почти все реки в Испании, тянулась настоящая пустыня. И не то чтобы кругом не было видно растительности,— нет, здесь всюду росли деревья с ярко-зеленой листвой, а трава была высокая и густая, но за все время мы не встретили ни души. Помещик, живший в Мадриде, не считал нужным обрабатывать эту плодородную землю.

Мы с Сенобией отчасти были подготовлены к тому, что показал нам брат Хоакин в Лас Урдес. Много лет назад мой дед, который был тогда уже премьер-министром, отправился верхом в этот далекий уголок Испании навестить подвластных ему крестьян. В детстве я часто слышала рассказ об этой поездке, и он напоминал мне одну из тех сказок, которые нам с сестрой рассказывала мисс Нора.

Весь долгий летний день мой дед провел в пути. Наконец вечером он подъехал к деревне. Усталый, голодный, он попросил у маленькой старушки, сидевшей около своей крошечной хижины, кусок хлеба и приюта на ночь. Женщина удивилась. Хлеба? У нее нет хлеба. Приюта? Разве он будет спать в ее хижине.

— Да, хижина слишком мала для взрослого человека, — недовольно сказал мой дед. — Неужели во всей деревне не найдется куска хлеба, чтобы накормить голодного, — чтобы накормить премьер-министра Испании?

Женщина усмехнулась. Разве премьер-министр Испании не знает, что тысячи испанцев живут, — верней, стараются не умереть, — в районах, которые ничего не производят, на земле, которая ничего не родит, в деревнях, которые отрезаны от остального мира, потому что там нет ни дорог, ни почты, ни телефона, нет ни травы, ни сена для мулов, на которых они могли бы переправляться через горные тропинки? И разве премьер-министр Испании не знает, что жители местных деревень лишь изредка едят сухари, которые завозят сюда «хлеботорговцы», переваливающие через горы на мулах?

Рассказ, слышанный мною в детстве, здесь обрывался, и я всегда думала, что наверно в этот момент дедушка взмахивал волшебной палочкой, и перед ним вырастали три аппетитные ковриги хлеба, которые он отдавал бедной женщине. Еще одна подробность запомнилась мне: дедушка, даже согнувшись, едва мог пройти в хижину старухи. Жители Лас Урдес, голодавшие испокон века, были почти карликами. Они никогда не вырастали до нормального человеческого роста. Поэтому их хижины, сложенные из камня и глины, оказались недостаточно высокими для премьер-министра Испании.

Теперь я убедилась, что рассказ деда был слишком бледен по сравнению с той страшной картиной, которую, без всяких комментариев, показал нам брат Хоакин.

Первая деревня, которую мы посетили в Лас Урдес, была безлюдна.

— Почти все население перемерло от зоба или от маля-

ри,— пояснил брат Хоакин.— Как-то раз сюда приезжала врачебная комиссия по борьбе с малярией, но что она могла сделать для голодных людей, которые едят землю и смачивают ее водой, чтобы легче было глотать?

Мы с Сенобией побледнели.

— Почему они не уходят отсюда?— опросила она.

Брат Хоакин помолчал.

— Однажды несколько самых сильных и самых умных мужчин,— впрочем, и они оказались недостаточно сильными и умными,— спустились с гор в Саламанку,— медленно заговорил он.— Но, попав в ближайшую деревню, они увидели, что они совсем не такие, как саламанкские крестьяне: и рост у них другой и лица другие. Крестьяне смеялись над ними или в страхе убегали прочь. Они почувствовали себя еще более несчастными и вернулись в Лас Урдес. С тех пор никто из них никогда не покидал здешних мест.

Мы еще долго ехали по безлюдной пыльной дороге и, наконец, остановились у дома священника, в другой деревне. Это был скромный домик, но, в сравнении с крестьянами, священник жил, как король. У него даже была настоящая кровать с матрацем и кресло-качалка. Он сидел на веранде, уставленной цветочными горшками. Вьющийся виноград скрывал от его взора деревню.

Едва успев поздороваться с нами, священник стал жаловаться.

— Вы не можете себе представить, что значит жить среди этих голодных, невежественных крестьян!— воскликнул он.— Все они слабоумные, идиоты!

Сенобия, всегда такая сдержанная, тут вспыхнула.

— Идиоты!— почти крикнула она.— А если б они не голодали, были бы они тогда идиотами? А если б владелец долины, который заставляет их жить на этой бесплодной земле, разрешил им обрабатывать свои плодородные земли, были бы они тогда идиотами?

Священник испугался: ведь перед ним были хорошо одетые дамы, сеньоры!

— Простите,— пробормотал он.— Разрешите, я покажу вам церковь.

Церковь вызвала в нас еще большее негодование. Кроме дома священника, это было единственное каменное здание во всей деревне. Красивая, стройная, она величественно смотрела в небо. Покров на алтаре и все изображения были светлые, нарядные. Но, спустившись по каменной лестнице, мы увязали в жидкой грязи, заливавшей деревенскую улицу. На

ступеньках сидели в одних рваных штанишках дети, чудовищно грязные, изможденные, со вздутыми животами, с волосами, слипшимися от гноя и грязи. Они играли с тощим поросенком, единственным животным, которое водилось в этой деревне.

У нас с Сенобией не было сил спорить с равнодушным толстым священником. Мы сделали несколько шагов по грязи и подошли к женщине, сидевшей возле своей крошечной хижины. Когда мы с ней заговорили, она встала. Ростом она была не больше четырех футов. На ней были какие-то жалкие тряпки, повязанные у бедер. К своей иссохшей груди она прижимала ребенка. Головка его вся была в больших желтых струпьях, один глаз закрыт опухолью, из которой сочился гной.

— Здравствуйте,— пролепетала я.

Женщина молча смотрела на нас.

— Ребенок болен?— спросила Сенобия.

Лицо женщины искажилось. Мне показалось, что она сейчас заплачет. Но это был страх. С криком, похожим на стон животного, она скрылась в своей темной, зловонной хижине.

Брат Хоакин заметил наш ужас. Но он не хотел отпустить нас в монастырь, не показав подлинного героя, жившего в деревне. Это был и врач и учитель. Он делал все от него зависящее, чтобы не дать крестьянам умереть от зоба и малярии. Ему предлагали работу в других местах, но он не покинул Лас Урдес.

— Должен же кто-то остаться здесь!— сказал он весело.— А теперь, при республике, крестьяне, может быть, получат плодородную землю, окрепнут и станут жить по-людски. Они вполне нормальные люди. Они совсем не кретины, как думают иные благоденствующие ученые. Они просто голодные.

Сенобия закусила губу.

— Голодные,— повторил доктор задумчиво.— Да. Здешний народ голодает свыше трехсот лет. И вот что с ним сделал голод!

— Чем мы можем помочь вам?— спросила я, думая о том, что такой человек достоин самой высокой награды. Но ему нужны были только научные медицинские книги. Мы взяли у него список, а по приезде в Мадрид первым делом отправились в книжный магазин и подобрали небольшую библиотеку. Вероятно, книгопродавец был немало удивлен при виде двух нарядных дам, покупающих медицинские книги и со слезами на глазах диктующих ему адрес получателя.

С Игнасио мы встретились через несколько дней, и вчет-

вером, считая шофера, поехали на север: в Галисию и Астурию. Чем больше я путешествовала по Испании, тем больше начинала любить ее. У нас было очень мало времени: мы только успели мельком взглянуть на зеленые виноградники, спускавшиеся террасами с зеленых гор, на босых женщин, на нищие деревни, на прекрасные замки, на мирное галисийское побережье и осмотреть замечательный собор в Сантьяго де Компостела. Когда мы возвращались в Мадрид, я призналась Сенобии и Игнасио, что, наконец, почувствовала себя испанкой. Всю жизнь меня учили, что Испания — это страна черни, что она недостойна внимания утонченных великосветских людей. Все в моей жизни: и язык, на котором я говорила, и еда, которую мне подавали, и платья, которые я носила, — все это было подражание английскому, французскому или немецкому. А теперь я почувствовала гордость за свою прекрасную страну, за ее изумительные памятники старины, за ее мужественный народ, за его глубокую веру в светлое будущее.

Во время этого чудесного путешествия мы с Игнасио условились, что, как только в кортесах пройдет закон о разводе, мы поженимся.

Но осень сменилась зимой, пришло и прошло рождество, а кортесы все еще дебатировали аграрную реформу. Наконец в начале февраля 1932 года законопроект о браке и разводе был зачитан в кортесах, и начались прения.—

Наш магазин находился недалеко от того здания, где заседали кортесы. Я часто уходила с работы пораньше, быстро пересекала улицу и бежала туда. Друзья достали нам с Игнасио постоянные пропуска на места представителей прессы, и мы почти каждый вечер вместе слушали прения. Часто я входила в зал заседаний как раз в тот момент, когда какой-нибудь депутат-монархист, представитель католической оппозиции, яростно громил проект о разводе, утверждая, что то, что соединил бог, не властен разъединить человек, а лидер реакции Хиль Роблес делал заметки у себя в блокноте.

Многие депутаты-республиканцы были знакомы с Игнасио, а затем познакомились и со мной. Слух о том, что мы лично заинтересованы в проведении этого законопроекта, быстро распространился, и мы с Игнасио стали привлекать всеобщее внимание. Каждый вечер, когда я занимала свое место, республиканцы и социалисты движением руки или кивком приветствовали меня. Иногда они присылали мне записки, в ко-

торых сообщали, что готовят решительное выступление против монархистской оппозиции.

Я вникала во все тонкости парламентских дебатов. Я приветствовала выступления республиканцев и огорчалась успехами монархистско-католического блока. Когда кто-нибудь из республиканских лидеров брал слово и высказывался за скорейшее проведение закона, мы с Игнасио в волнении сжимали друг другу руки.

Но дело двигалось медленно. Католическая оппозиция беснено сопротивлялась, она подолгу останавливалась на незначительных деталях и в течение нескольких недель вела споры из-за примечаний и даже из-за знаков препинания. Это была настоящая обструкция. Было ясно, что закон пройдет, потому что коалиция республиканцев и социалистов имела абсолютное большинство. Но порой мы с Игнасио теряли надежду на то, что закон о разводе будет принят, пока мы еще молоды и влюблены друг в друга. Отправляясь после очередного заседания кортесов обедать, мы мрачно шутили, говоря, что закон пройдет, когда мы будем сгорбленными седыми стариками.

Мадрид — и большой и маленький город. Через две-три недели после того, как мы с Игнасио стали вместе появляться на заседаниях кортесов, весь город знал, что я буду первой испанской женщиной, которая выйдет замуж, разведясь с мужем.

Еще задолго до того, как законопроект прошел, сестра Игнасио объявила, что она не станет разговаривать с такой развратной особой, как я.

Мои родители узнали обо всем этом значительно позже, чем большинство моих знакомых. Отец решил поговорить со мной и воззвать к моему разуму. Для этого он пригласил меня к себе.

Весна была в полном разгаре. Мать и сестры уже уехали в Ла Мату. Дом опустел, на мебель надели белые чехлы, лампы завесили пестрой сеткой. Отца не было дома. Лакей провел меня к нему в кабинет. Я села в кресло и уставилась на затянутую бумагой картину.

Необычность обстановки, глубокая тишина опустевшего, словно заброшенного дома, чувство одиночества, овладевшее мной, — все это настроило меня на откровенный тон. Никогда, ни до, ни после этой встречи, я не осмеливалась говорить отцу то, что думала.

Вошел отец.

— Это правда? — спокойно спросил он.

— Да, папа, я хочу развестись с Болином и выйти замуж за Игнасио, как только пройдет закон о разводе.

Лицо отца потемнело.

— Констансия! Неужели тебе мало одной ошибки?

Я знала, что Игнасио считают республиканцем, что у него нет гроша за душой, что его довольно родовитая семья давно от него отказалась: да и как ей было не отречься от офицера, водившего дружбу с социалистами!.. Вся дрожь от негодования, я не отводила взгляда от картины.

— Развод — это бесчестие, которое не может допустить семья де ла Мора, — сказал отец. — Ты губишь не только себя, ты и мать сведешь в могилу.

Я теребила перчатку, стараясь сдержать бешенство.

— Но если ты настаиваешь на своем, — продолжал отец, — то я прошу тебя по крайней мере избежать позора. Разреши мне дать тебе тридцать тысяч песет на расторжение первого брака, и тогда вы сможете обвенчаться.

— Венчаться в церкви? — вся вспыхнув, закричала я. — Я слишком уважаю церковь, чтобы давать лживые клятвы. Ведь я должна буду поклясться, что меня принудили к первому браку, да?

Отец смутился.

— Будь благоразумна, Констансия, ты...

— Благоразумна! Вы требуете, чтобы я дала лживую клятву только ради венчания в церкви. Кто же больше уважает религию, вы или я? Кто предлагает дать заведомо лживую клятву, чтобы соблюсти приличия, вы или я?

Отец нервно кусал губы. Потом он, с все возрастающим гневом, стал говорить об Игнасио. Тут я поняла, в чем дело. Он был уверен, что я соглашусь на его просьбу — на расторжение брака вместо развода, и эта сторона дела его не особенно беспокоила. Его мучила мысль о том, что я выйду замуж за республиканца, чуть ли не за социалиста. Из разговора с отцом мне стало ясно, что он не принимал всерьез моих политических убеждений. Я — женщина, а политическим взглядам женщины можно не придавать значения. Но он предвидел, что если я выйду замуж за Игнасио, то тогда я действительно перейду во враждебный лагерь. Он не говорил мне об этом прямо, боясь выразить словами то, что так страшило его и что он надеялся предотвратить, однако, я поняла его.

Когда отец умолк, заговорила я. Я была очень резка с ним, так резка, что потом пожалела об этом и горько плакала. Но я говорила правду.

— Признаете вы это или нет, а мы с вами уже сейчас враги,— сказала я.— И теперь я приняла окончательное решение.

Он сделал отрицательный жест, но я продолжала:

— Вы палец о палец не ударили для того, чтобы сделать своих детей счастливыми, и меньше всего вы думали обо мне. Только теперь я поняла, что значит быть счастливой. Все мое воспитание было сплошной фальшью. Вы вывозили меня в свет, чтобы я нашла себе мужа, и не помогли мне сделать выбор. Вы чуть не погубили мою жизнь, прививая мне лицемерную стыдливость, ложные понятия о богатстве и общественном положении. Вы учили меня быть праздною, высокомерною и несправедливою. Лишь годы тяжких страданий помогли мне забыть все, чему вы меня учили.

— Констансия! — На глазах отца показались слезы, но я уже не могла остановиться.

— Все мое воспитание было направлено к тому, чтобы обречь меня на зависимое существование. Вы не приучали меня к труду, поэтому я должна была рассчитывать или на доходы мужа или на ваши деньги. Мои сестры тоже никогда не были счастливы; вы думаете, им хорошо живется с мужьями, которых вы для них выбрали?

Отец отвернулся. Мои слова больно жалили его. А я почти кричала:

— Вы позвали меня сюда и предлагаете отказаться от своего счастья. А ведь вы должны были бы гордиться, вы должны были бы радоваться, что хоть одна из ваших дочерей поняла, как надо жить, и добилась независимости, что хоть одна из ваших дочерей сумела выбрать себе мужа, с которым она будет по-настоящему счастлива.

Заметив, что отец сгорбился и низко опустил голову, я замолчала. Ему нечего было возразить. Я поцеловала его и ушла.

Десятого августа перед уходом в магазин я развернула газету и, как всегда, начала жадно пробегать ее в поисках новостей о разводе. Вместо этого мне бросились в глаза напечатанные жирным шрифтом заголовки. Оказалось, что ночью был подавлен мятеж монархистов, поднятый генералом Санхурхо, который некогда был близким другом Примо де Ривера. Санхурхо пытался бежать в Португалию, но его арестовали в Севилье.

Узнав об этом, испанский народ пришел в ярость. Всего несколько месяцев назад генерал Санхурхо клялся в верности

законно установленной республике. А теперь он поднял против нее монархистов. Тем не менее, ему заменили смертную казнь пожизненным заключением.

В первое же воскресенье после попытки мятежа мы с Игнасио поехали к министру финансов Индалесио Прието. Тогда и состоялось мое знакомство с ним. Прието хорошо относился к Игнасио; в Париже эти два изгнанника жили в одной гостинице. Две дочери Прието оказали мне самый сердечный прием.

Мы все возмущались правительством, которое столь либерально отнеслось к заговорщикам-монархистам, в частности к ненавистному генералу Санхурхо. Один Прието почти все время молчал. Он сидел, как Будда: его маленькие глазки были полузакрыты, руки покоились на круглом животе. Время от времени он бросал какое-нибудь замечание, и тогда становилось ясно, что он слышит все, о чем мы тут говорим. С Игнасио Прието держался явно покровительственного тона, и это меня раздражало.

Однажды, когда закон о разводе все еще дебатировался в кортесах, ко мне в спальню вбежала горничная. Глаза у нее были вытаращены, голос дрожал от страха.

— Сеньора! — пролепетала она. — Пришел ваш муж... да еще с какими-то важными людьми. О, боже мой! — Она рыдалась.

Я не могла не рассмеяться. Первый раз в жизни Болину удалось кого-то напугать! И все-таки, когда я одевалась, у меня сильно билось сердце. Конечно, Болин не менее внимательно, чем я, следил за тем, как проходил в кортесах закон о разводе. Он знал, что я хочу с ним развестись и оставить ребенка у себя. В то время даже вдова не имела всех прав на детей, но по новым законам я должна была получить Лули. Я догадалась, что Болин пришел отобрать у меня документ, в котором он дал согласие на то, чтобы ребенок жил со мной. Он рассчитывал отнять у меня Лули, пока законопроект еще не утвержден, а как только ребенок попал бы в его семью, я уже никакими силами не смогла бы вырвать его оттуда. И Болин, который никогда не проявлял никакого интереса к Лули, стал бы получать доход с ее небольшого состояния.

— Ах так? — сказала я себе. — Ну, это мы еще посмотрим!

Я медленно вошла в столовую. Болин явился с двумя известными солидными адвокатами.

— Именем закона, — громко, торжественно начал первый

адвокат, — ваш муж требует, чтобы вы вернулись к вашим супружеским обязанностям и поселились с ним под одной кровлей.

Он повторил это три раза, и три раза ему пришлось выслушать мой спокойный отказ. Тогда адвокат потребовал, чтобы я вернула документ, отдававший ребенка на мое полное попечение, поручавший мне его воспитание, разрешавший мне подписывать все касающиеся его бумаги, вести дела, снимать квартиру на мое имя, распоряжаться моим счетом в банке, получать паспорт и путешествовать за границей. Вернув этот документ, я оказалась бы в руках Болина, и это длилось бы до тех пор, пока не был бы окончательно одобрен законопроект о разводе, вернее, до тех пор, пока мы не развелись бы.

Следующее заявление было сделано еще более торжественным тоном:

— Мой клиент, сеньор Болин, настаивает на том, чтобы его ребенок жил вместе с ним и чтобы вы отдали его немедленно.

К счастью, женщина-адвокат, к которой я в свое время обратилась, оказалась предусмотрительней. Она порекомендовала мне отдать Лули под опеку Совета по делам малолетних, учрежденного в Испании год назад. Я так и сделала, и теперь, до суда, который должен был решить ее судьбу, Лули жила у моих родителей.

Когда я сообщила об этом моим ранним визитерам, лица у них вытянулись, и, огорченные неудачей, они ушли. А я и моя горничная, добрая, умная крестьянская девушка, бросились друг другу в объятия и заплакали от долго сдерживаемого волнения и радости.

Вскоре дело Лули слушалось в опекуном суде по делам малолетних. С установлением республики мало что изменилось в этом судебном учреждении. Председателем суда была герцогиня Инфантадо, достойная жена «благородного кавалера», который в годы войны умерил свою спесь и, вместо того чтобы следить издали за золотым потоком, вливающимся в Испанию, предпочел сам в него окунуться. Все другие члены суда были или судьями, или членами муниципалитета, специально занимавшимися делами малолетних.

Я уже была в приемной, когда вошел Болин и сел против меня. Я не нашла в себе сил заговорить с ним. Я смотрела на него и думала, откуда у него такие дорогие ботинки и такой элегантный костюм. И пока мы битый час ждали, чтобы нас вызвали в суд, я никак не могла отделаться от этой глу-

пой мысли. Наконец нас позвали и предложили сесть рядом, перед судейским столом. Адвокатов не полагалось: мы должны были сами выступить по нашему делу. Стараясь говорить как можно короче, я сообщила суду, что последние два года Лули жила со мной и что за это время я ничего не получала на ребенка ни от Болина, ни от кого-либо из членов его семьи. За эти два года мы с Лули вообще ничего не слышали о Болине. А теперь, когда я скоро смогу просить о разводе (как только законопроект будет окончательно утвержден), Болин пытается воспрепятствовать этому, пытается отнять у меня ребенка, с которым, он знает, я ни за что не расстаюсь.

Болин произнес длинную речь. Конечно, он заучил наизусть то, что ему написали адвокаты. Он обвинял меня в том, что я даю ребенку «масонское воспитание». Что он хотел этим сказать, я так и не поняла. Очевидно, он предполагал, что у Лули все та же старая няня-немка, которую я наняла в Малаге. Но как раз вскоре после моего приезда в Мадрид я наняла молодую немку, католичку. Я знала, что пока не прошел закон о разводе и пока испанское законодательство коренным образом не изменено, обвинения в антирелигиозном воспитании Лули достаточно, чтобы отнять ее у меня. И я сделала все, чтобы против меня нельзя было выдвинуть подобного обвинения.

Суд отказал Болину в его иске, но официальными опекунами Лули были назначены мои родители. Я лишалась права воспитывать Лули, так как суд нашел, что, поскольку я работаю, я не могу уделять должного внимания моему ребенку.

Я отлично понимала, что суд передал Лули моим родителям только потому, что члены суда, ярые реакционеры, считали, что там она будет в более «надежных» руках. В 1932 году в республиканской Испании еще было возможно отнять ребенка у матери только потому, что она должна была работать, чтобы прокормить его!

И я невольно думала о том, что если члены суда так чудовищно несправедливо поступили со мной, хорошо одетой, интеллигентной дамой, то что же делают они с бедными женщинами, которые передают на их рассмотрение свои дела!

Эти мрачные догадки тотчас же подтвердились. Покончив с делом Лули, суд перешел к слушанию дела одной бедной женщины. Ее тринадцатилетний сын попался в какой-то мелкой краже. Сначала мальчика поместили в исправительный дом для малолетних преступников, а затем суд постановил передать его в специальный интернат для тех малолетних

преступников, у которых дома «нехорошее окружение». За его содержание нужно было платить, но мать не платила, потому что у нее не было денег.

Женщина пришла в суд в рваных альпаргатах, в изношенном миткалевом платье. Плечи ее едва закрывал короткий шерстяной платок. Простоволосая, с лицом, преждевременно состарившимся от тяжелой работы и слез, она стояла перед судом на том самом месте, где я только что сидела.

Герцогиня Инфантадо спросила, сколько она зарабатывает в день.

— Две песеты, но ведь я работаю всего два-три раза в неделю. У меня еще двое детей, а муж умер шесть лет назад. У меня нет денег, я не могу платить за мальчика семьдесят пять сентимо.

Нельзя было без омерзения слушать герцогиню, которая внушала женщине, что на ее заработок, то есть на 8—10 песет в неделю, она может и содержать всю семью, и платить за сына.

Женщина стояла, не шевелясь, и смотрела в упор на эту нарядную даму, которая так любезно, таким культурным языком объясняла ей, как надо жить, чтобы не только кормить, одевать и обувать своих младших детей, но и платить за содержание старшего. Когда герцогиня закончила свои наставления, женщина долгим взглядом окинула судей и, гордо подняв голову, вышла из зала.

Герцогиня и другие члены суда были вскоре отстранены от должности.

Я немедленно подала прошение о пересмотре дела. На этот раз более беспристрастный суд постановил отдать мне моего ребенка, и через несколько дней Лули вернулась ко мне.

Наконец в кортесах прошел закон о разводе, и мой адвокат немедленно подал прошение о разводе. Мое дело должно было слушаться одним из первых. Болин решил продолжать борьбу. Он написал длинное письмо моему отцу, в котором заявлял, что не может согласиться на развод в силу своих религиозных убеждений. На моей памяти это был первый случай, когда Болин вспомнил о религии. Отец никак не реагировал на это письмо, зная, что я твердо стою на своем. Тогда Болин обратился к адвокатам, которые сперва с энтузиазмом брались за дело, а потом отказывались, убедившись, как мало у них шансов на успех.

Наконец, через четыре месяца после подачи моего проше-

ния, вновь состоялся суд. Болин не явился. Дело было настолько ясное, что разбирательство длилось недолго. Суд утвердил меня в правах опекуни моей дочери до ее совершеннолетия, но оговорил, что после того как войдет в силу настоящее постановление, я на определенный срок лишаюсь права вторично выйти замуж. Мой адвокат нашел, что эта оговорка незаконна, и посоветовал мне немедленно зарегистрироваться.

У нас с Игнасио не было причин откладывать свадьбу, и мы назначили ее на 16 января 1933 года. Родители отказались присутствовать на ней. Зато два министра, Прието и Марселино Доминго, согласились быть нашими свидетелями. Мы пригласили целую компанию друзей, в том числе, конечно, Сенобию и Инес, сопровождать нас в Алькалá де Энарес, городок, расположенный недалеко от аэродрома; там мы должны были зарегистрироваться.

По дороге на аэродром я не могла удержаться от счастливого смеха. Настроение у меня было радостное, приподнятое, совсем не такое, как в несчастный день моей первой свадьбы.

Сверх ожидания наша свадьба превратилась в политическое событие, и это было знамение времени. Реакционные власти Алькалá, проведав о том, что двое наших свидетелей— республиканские министры, заартачились. Монархисты до мозга костей, они отказались оформлять брачный контракт для первой испанской женщины, добившейся развода. Мы долго ждали в грязной комнате муниципалитета: я, взбешенный Игнасио, Прието и Доминго, лица которых побагровели от негодования и обиды. В конце концов мы победили. Новость быстро разнеслась по Алькалá, и все местные республиканцы потребовали, чтобы нас немедленно зарегистрировали. Чиновника-монархиста тут же сместили, и, после того как вновь назначенный алькальд-республиканец объявил нас мужем и женой, наши защитники выстроились у муниципалитета и восторженно приветствовали нас. Мы и наши гости с триумфом уехали из Алькалá, оставив чиновника и его приспешников посрамленными. Рабочие махали нам вслед руками, и долго еще до нас доносились их добрые пожелания.

Истратив все деньги на развод и на убранство нашей новой квартиры, мы с Игнасио остались на мели. Игнасио решил, что деньги, которые мне выплачивал отец, мы должны немедленно вносить в банк на имя Лули, а что сами мы будем жить на его небольшое жалование и на то, что я заработаю

в магазине. Для испанца это было очень смело. Большинство испанских дворян жило на свои доходы и на деньги, получаемые от тестя, а очень многие, как, например, мой первый муж — исключительно на средства жены. Конечно, я вполне одобрила решение Игнасио, и мы часто мечтали о том, что к тому времени, когда Лули вырастет, в банке соберется порядочная сумма денег, на которую мы сможем дать ей прекрасное образование.

Моя семья, как и все мои знакомые, не признавали наш брак. Мы жили «в грехе». Следовательно, я не могла ни навещать моих родителей, ни познакомить их с Игнасио. Меня бы это не очень огорчало, если б не Лули. Раз в неделю она навещала дедушку и бабушку, и они постоянно расспрашивали ее, как мы с Игнасио живем, что делаем. Вернувшись домой, она говорила мне:

— Мама, бабушка все спрашивает про папу. Почему она про него спрашивает? Разве папа не ходит к бабушке в гости?

Видя, что в Мадриде для Лули нельзя создать нормальную обстановку (а ведь мы именно стремились создать ей здоровую, уютную, настоящую семейную обстановку, такую, какой она никогда не знала прежде), мы с Игнасио по зрелом размышлении решили, что нам необходимо уехать на несколько лет из Мадрида, а может быть, и вообще из Испании. Когда Лули подрастет, — рассуждали мы, — она сама сможет разобраться в тех странных отношениях, какие установились в моей семье.

Сперва Игнасио не допускал даже мысли о том, чтобы обратиться с какой-нибудь просьбой к республиканским деятелям, которым он оказал столько услуг во время восстания, а затем во Франции. Но после долгих раздумий и колебаний он все же решил попросить Марселино Доминго, чтобы тот назначил его в Мексику военным атташе при нашем посольстве.

Несколько недель он не получал никакого ответа. Потом его неожиданно вызвали к Прието и предложили занять только что учрежденную по постановлению совета министров должность авиационного атташе при наших посольствах в Берлине и Риме.

Мы были сильно разочарованы. Нам очень хотелось побывать в Латинской Америке. Фашистская Италия и фашистская Германия нас ничуть не интересовали. Тот факт, что ему все же предложили занять пост военного атташе, придавал Игнасио смелости, и он вторично обратился с просьбой о

том, чтобы его послали в Мексику. Но Прието объяснил ему, что в таких враждебных нам странах, как Италия и Германия, на посту военного атташе должен стоять абсолютно надежный человек, на которого правительство вполне могло бы положиться. Игнасио согласился, что его долг — работать в Риме и Берлине.

Перед отъездом в Рим мы были приглашены на обед в германское и итальянское посольства в Мадриде. Я не встретила здесь никого из моих прежних друзей. Иностранцы дипломаты старательно избегали соединять несоединимое. Они приглашали республиканцев, потому что они были обязаны это делать, но они никогда не приглашали членов правительства в тот вечер, когда они принимали своих личных друзей: мадридских реакционеров и монархистов.

В Риме мы скоро убедились, что первому республиканскому правительству Испании нелегко приходится со своими собственными дипломатами. Так, посол испанской республики в Италии явно страдал комплексом неполноценности. Испанское посольство в Риме занимало великолепный дворец Барберини, и в этой роскошной обстановке, среди великолепного мрамора и знаменитых картин, посол чувствовал себя случайным гостем. Когда он на цыпочках шел по мраморным коридорам, то его можно было принять за дворецкого, который робко крадется по лестнице, предназначенной только для господ.

Игнасио добродушно посмеивался над тем, что его начальство чувствует себя так неловко в этом великолепном дворце. Его гораздо больше волновали политические настроения республиканского посла. Дело в том, что этот профессор, вместо того чтобы высоко держать знамя родины, переносил свой «комплекс неполноценности» и на посольские обязанности. Представляя молодую испанскую республику, он со всех сторон ожидал пинков. Поэтому, когда его просто игнорировали, он радовался, как ребенок, и считал это большой удачей.

Однако наш посол в Риме не составлял исключения. Республика терпела много дипломатических поражений именно потому, что ее представители за границей скорей были склонны извиняться за свое новое правительство, чем гордиться им. Впрочем, справедливость требует отметить, что и послам приходилось туго. Их окружали чиновники, политические симпатии которых ничуть не изменились после падения монархии. Вся разница заключалась в том, что теперь они держали язык за зубами, хотя им очень скоро стало ясно, что мадридское правительство весьма снисходительно

относится к своим инакомыслящим чиновникам, где бы они ни находились: дома или за границей. Эти господа, личные друзья многих иностранных дипломатов, высмеивали республиканское правительство за спиной посла, саботировали его робкие попытки собрать друзей вокруг молодой республики и давали ясно понять всем остальным дипломатам, что их симпатии отнюдь не на стороне того правительства, интересы которого они, якобы, представляют.

Нас с Игнасио возмущало подобное положение вещей. Мы ненавидели дипломатов, презиравших республику, но еще больше бесил нас посол-республиканец, который униженно благодарил за те крохи, что бросали ему с фашистского стола, и все время извинялся за свое отечество. Мы гордились тем, что мы — представители испанской республики, и никогда не упускали случая показать это окружающим.

Проведя несколько дней в фешенебельном отеле, мы с Игнасио столкнулись с финансовой проблемой. Дипломат начинает регулярно получать жалованье лишь через два-три месяца после того, как он приступил к работе. А пока что, если он военный атташе, он должен купить себе на свои деньги дорогую форму и самые дорогие вечерние туалеты жене. Мы решили, что пока Игнасио не получит жалованья, мы не можем жить в роскошном отеле. Поэтому, несмотря на то, что остальные сотрудники посольства были весьма этим шокированы, мы, собрав все свое мужество, поселились вместе с знакомым американским журналистом, Бобом Штунцем, в небольшой скромной квартире. Мы нарушили все правила дипломатических приличий, но это нас не смущало.

Наша квартира, в которой раньше помещалась мастерская художника, находилась на Виа Маргута. В ней было всего две комнаты. Из просторной, обставленной довольно ветхой мебелью столовой с большим окном, выходившим на прелестный, заросший выюнком дворик, старая, шаткая лестенка вела в низенькую спальню. Боб спал в комнатухе около кухни. Все пользовались одной, довольно примитивной, ванной.

Кто-то прислал нам девушку-испанку, которая приходила по утрам убирать и готовить. Это была очень странная девушка, фанатически религиозная. Когда нам пришлось с ней расстаться, так как готовила она отвратительно, а убирала и того хуже, она прислала нам письмо, в котором угрожала мне вечными муками и сообщала Бобу, что если б не ее бдительность, я бы давно его отравила!

Богемное жилище на Виа Маргута нас не устраивало, и я начала подыскивать более подходящую квартиру. Наконец, как раз когда из Мадрида приехали няня с Лули и наша обстановка, я сняла квартиру в небольшой вилле и, поскольку мы должны были проводить в Риме полгода, решила здесь прочно обосноваться.

Окончательное устройство на новоселье не обошлось без приключений. Нам нужно было провести электричество, и наш хозяин прислал нам монтера. Явился джентльмен в черной рубашке, на которой блестели фашистские медали. Мы были так подавлены его величием, что не посмели спросить, сколько он возьмет за работу. Мы были уверены, что столь важная персона нас не обманет. Но этот знатный итальянский фашист подал нам счет на восемьсот лир. То есть он запросил с нас по крайней мере вчетверо дороже, чем стоила его работа.

Игнасио советовал не шутить с фашистами. Аккредитованные дипломаты должны держать с ними ухо остро. «Лучше избежать «инцидента»,— сказал он мне за обедом. Но на другой день, когда эlegantный фашист пришел получать деньги по своему чудовищному счету, я вспыхнула и, употребив весь свой небольшой запас итальянских слов с примесью сходных испанских, наговорила ему таких вещей, какие ему, наверное, ни от кого не приходилось выслушивать. К моему удивлению, вся его наглость куда-то исчезла. Он уменьшил счет до трехсот лир и ушел, низко кланяясь, бормоча слова благодарности и утирая со лба пот. Это было мое первое знакомство с фашистским раболепством и фашистской наглостью, и с тех пор я пришла к убеждению, что под воинственными коричневыми и черными рубашками бьются трусливые сердца.

Наша улица примыкала к району новых больших домов, но здесь и там еще попадались не снесенные жалкие старые домишки. Как раз напротив нашей виллы сорок семейств жило в ветхом, почерневшем от времени доме. Там, в тесной комнатенке, жила наша кухарка Роза со своим маленьким сыном.

Роза была вдова: муж ее умер год назад. Ему принадлежал крошечный виноградник в Аbruццо, и поэтому он не имел права бесплатно болеть и умереть в больнице. Он проболел всего четыре дня и умер в битком набитой палате, но больница все же представила молодой вдове счет. Роза подсчитала, что для того чтобы оплатить этот счет, ей придется

работать три года и жить впроголодь, а не оплатить — отнимут виноградник. И Роза поступила в прислуги.

— Почему же вы не продадите виноградник? — как-то спросила я.

Роза посмотрела на меня, и ее спокойные черные глаза стали грустными.

— Синьора, у покойного мужа осталось три женатых брата, у всех ребяташки, и все они живут на доход с этого виноградника, хотя он такой маленький, что может прокормить не больше двух человек.

Сынишка Розы целыми днями играл на улице, в канаве, а она время от времени поглядывала на него из окна нашей кухни.

— Он не ходит в школу? — однажды спросила я, высунувшись в окно и глядя на хорошенького мальчугана, который на старом треснутом блюде лепил из глины пироги.

У Розы снова появилось то же грустно-покорное выражение, которое я часто замечала у итальянских крестьян.

— Нет, синьора, — со вздохом сказала она, — ведь у нас так мало школ!..

Таким путем в первые же дни нашего пребывания в Риме мы стали знакомиться с фашистской Италией. Мы начали понимать, что кроется за бешеными криками Муссолини и его приспешников о «процветании» страны. Мы видели несколько прекрасных шоссе́йных дорог, проведенных по приказу Муссолини, но отнеслись к ним с подозрением: нам, испанцам, они напоминали те, что провел Примо де Ривера. Постепенно мы убеждались, что «благополучие» фашистской Италии зиждется на слезах и крови крестьян и рабочих. Мужчины голодали для того, чтобы туристы могли восхищаться шоссе́йными дорогами, которые провел диктатор. Женщины голодали для того, чтобы Муссолини мог построить сверхмощные паровозы. Дети росли неграмотными для того, чтобы диктатор мог покупать оружие для своей огромной армии.

И потом, когда я слышала от некоторых: «Да, но Муссолини все-таки делает свое дело», я вспоминала о Розе и о ее малыше, игравшем в канаве, о Розе, чья жизнь была бесконечной и страшной голодовкой, о Розе — одной из жертв того, кто «делает свое дело».

Что касается общества, в котором мы принуждены были вращаться, то оно состояло из таких безнравственных, беспринципных людей, каких мне еще не приходилось встречать. Испанские аристократы глупы, ленивы, пусты, невероятно

скучны, но, в силу своих религиозных предрассудков, они в высшей степени чопорны. Фашистская же Италия чрезвычайно распушена. Адюльтер для итальянских аристократов и фашистских чиновников — это обыкновенная светская забава. Я заметила, что дамы из общества открыто изменяли мужьям. Ни один мужчина не мог остановить свою машину на Виа Венето или на другой центральной улице Рима, чтобы к нему не подошла улыбающаяся женщина и не попросила бы покатать ее. Эти новомодные сирены очень скоро давали понять иностранцам, что за свои услуги они не требуют денег, — им надо, чтобы те обеспечили им определенное положение в обществе. Проституткам разрешалось показываться лишь в немногих районах, а на бульварах расхаживали великосветские дамы. Меня трудно чем-нибудь смутить, но итальянские аристократы и их фашистские хозяева вызывали во мне непреодолимое отвращение.

Когда мы приехали в Италию, газеты убеждали итальянский народ, что он должен ненавидеть югославов, а за что — это было неясно даже самим авторам передовиц. Затем было приказано ненавидеть французов, потому что у них «нелепые демократические идеалы». После этого итальянцам заявили, что каждый честный человек обязан ненавидеть англичан, потому что они вмешиваются в итало-абиссинский конфликт. Но я видела, что эти кампании дают весьма ничтожные результаты. Кучка глупых студентов послушно бушевала перед различными посольствами, но итальянские крестьяне и рабочие, люди разумные и доброжелательные, лишь пожимали плечами во время этих кампаний «ненависти» и считали их лишним доказательством безумия людей, стоящих у власти.

Кого в Италии действительно ненавидели, так это «Третью империю». Итальянцы ненавидели немцев, а германское посольство никогда не упускало случая, чтобы высмеять Муссолини и его хвостовство. Ненависть к заносчивым немцам время от времени проскальзывала даже на страницах газет. Так, например, газеты давали понять, что маневры итальянского военно-воздушного флота — это мера предосторожности против Германии.

Вскоре Игнасио с удивлением отметил, что это взаимное недоверие двух фашистских систем распространяется и на официальные круги. Германский авиационный атташе просил у Игнасио информацию об итальянских самолетах, которую тот получал от своих «друзей» из итальянского военного министерства. В обмен германский атташе сообщал Игнасио статистические данные, из которых явствовало, — впрочем,

Игнасио и сам это предполагал,— что, как итальянцы ни хвастаются, а все-таки их воздушный флот слабее немецкого.

Мы с Игнасио задыхались в нездоровой, удушливой атмосфере Рима. Хотя мы и приобрели здесь нескольких друзей, но всегда были рады уехать на каникулы, которые мы обычно проводили в чудесных итальянских или австрийских Альпах.

Летом 1933 года я получила телеграмму от отца. Моя мать была тяжело больна и находилась во Франкфуртской лечебнице. Не могу ли я выехать к ней немедленно? Она день и ночь зовет меня.

Утром я вылетела из Рима на самолете и в тот же день была во Франкфурте. Мой приезд обрадовал родителей. Мать начала быстро поправляться.

Мы с отцом совершали длинные прогулки по чудесным окрестностям города и часто говорили о политике. Его рассуждения удивляли и беспокоили меня. Ведь он был крупным капиталистом, а не помещиком, и все-таки он считал необходимым, при помощи ассоциации предпринимателей, оказывать противодействие умеренным правительственным реформам. Со все возрастающим удивлением слушала я его откровенные признания.

Когда мать выздоровела, я вернулась в Рим и рассказала Игнасио все, что слышала от отца. С тех пор тяжелое предчувствие не покидало нас. Очевидно, дела республики были не очень хороши. Республиканских лидеров, подвергавшихся нападкам со всех сторон, скорей можно было обвинить в робости, чем в безрассудной смелости. Алькалá Самора, который вышел из первого кабинета министров, так как большинство высказалось за отделение церкви от государства, только что был избран президентом республики. Этот впавший в мистицизм седовласый старец всю свою жизнь был монархистом,— республиканцем он стал лишь в годы диктатуры. Теперь, под давлением реакционеров, он подписал приказ о роспуске кортесов и о назначении новых выборов. Богатые, могущественные реакционеры возлагали на эти выборы большие надежды. Отец намекнул мне, что ему известен точно разработанный план действий, согласно которому после всеобщих выборов реакционеры должны были вернуться к власти,— по существу, это был план заговора против республики.

По мере того как приближались ноябрьские выборы, волнение наше все росло. Газеты, казалось, ничего не подозре-

вали. «Эль сосьялиста», официальный орган социалистической партии и Всеобщего рабочего союза, одна из немногих газет, которую мы получали регулярно, не давала ни малейшего представления об опасности, угрожавшей Испании. Каждый раз, когда я вспоминала слова отца, они вызывали во мне нервную дрожь. Нет, не может быть, чтобы республиканцы не знали о готовящемся наступлении реакции! — говорила я себе.

Девятнадцатого ноября мы с нетерпением ждали новостей. Наконец, когда в посольство хлынул целый поток телеграмм, мы поняли, что республиканское правительство потерпело поражение. Везде одержали победу реакционеры.

— Не могу сказать, чтобы меня это удивило, — мрачно заметил Игнасио.

В самом деле, здесь не было ничего удивительного. Ибо первое республиканское правительство, робкое, нерешительное, колеблющееся, сулило грандиозные реформы, но практически не сделало почти ничего. Где земля, которую оно обещало крестьянам? Все еще в руках помещиков. Где сносные условия труда для городских рабочих? Республиканское правительство лишь тогда проявляло твердость, когда нужно было посылать войска на подавление забастовок.

На выборах реакционеры выступили единым фронтом: они действовали смело и решительно. Они всячески привлекали на свою сторону рабочих. Кого не могли запугать, тех подкупали: раздавали тюфяки и другие подарки.

Между тем, силы республиканцев были раздроблены. Существовали десятки республиканских группировок. Два крупных рабочих объединения, Всеобщий рабочий союз (ВРС) и Национальная конфедерация труда (НКТ), враждовали друг с другом, а реакционеры, глядя на них, посмеивались в кулак. Главу ВРС, Ларго Кавальеро, министра труда в республиканском правительстве, мой отец недаром считал разумным человеком. НКТ, анархо-синдикалистская федерация профсоюзов, отказалась принять участие в голосовании. Робкая, неустойчивая политика республиканцев, реформы, остававшиеся на бумаге и никогда не проводившиеся в жизнь, разногласия в рабочем движении — все это в новых кортесах дало реакционерам абсолютное большинство голосов. Правда, в общем за прогрессивные партии голосовало большее число избирателей. Но кортесы находились под контролем Сэды, объединения правых автономистских партий. Для Испании настали черные дни.

Результаты выборов не замедлили сказаться и на нас с

Игнасио, и притом самым неожиданным и странным образом. С первого же дня нашего пребывания в Италии Игнасио прилагал все усилия к тому, чтобы возможно шире и полнее информировать испанский генеральный штаб об итальянском воздушном флоте. Я помогала ему переводить с итальянского разные материалы и технические статьи из газет и журналов. Он посещал авиазаводы, осматривал самолеты, беседовал с инженерами, приобретал «друзей» в министерстве авиации. Его еженедельные доклады являлись образцом информации и до ноябрьских выборов вызывали в испанском генеральном штабе всеобщее одобрение.

А теперь вдруг генеральному штабу показалась ненужной информация Игнасио. Мы знали, что в генеральный штаб пришли новые люди, политические враги Игнасио. Тем не менее, это нас поражало: каковы бы ни были их политические взгляды, однако, должны же они интересоваться точной информацией об итальянском воздушном флоте! Было похоже на то, что у них появились иные, более надежные источники информации, чем военный атташе испанского посольства. Раскрылась эта загадка лишь много времени спустя. Измена всегда подготавливается исподволь и обдуманно.

Когда правительство Лерруса, пришедшее к власти после ноябрьских выборов, послало своего представителя в Ватикан для ведения переговоров о конкордате¹, дуче решил уделить некоторое внимание испанскому посольству, которым с момента провозглашения в Испании республики фашистские власти явно пренебрегали. В связи с этим вслед за назначением посла в Ватикан немедленно последовало назначение нового посла в Рим, на смену злосчастному старому профессору, который представлял первое республиканское правительство. Новый посол, реакционер по убеждениям, был сын шапочника. Старые испанские дипломаты-аристократы так его третировали, что он, в отместку им, вероятно, непрочь был бы стать республиканцем.

Конечно, толку от него было не больше, чем от профессора, и нам приходилось самим устанавливать контакт с нужными нам людьми. Самым полезным человеком для Игнасио оказался знаменитый полковник Лонго. Он много лет жил в Испании, где обучал летному искусству будущих пилотов, а затем был назначен авиационным атташе при итальянском посольстве в Мадриде. Каждый испанский пилот знал пол-

¹ Конкордат — соглашение между папой и правительствами отдельных государств.

ковника Лонго, как знала его каждая испанская проститутка и каждый ростовщик.

Полковник вернулся в Италию вскоре после нашего приезда в Рим. Его вызвали на родину для того, чтобы он принял участие в подготовке перелета в Соединенные Штаты, который должен был совершить генерал Итало Бальбо. Полковник был одним из командиров эскадрильи, совершившей перелет через Атлантический океан. Затем он был назначен в министерство авиации для руководства иностранными военными атташе. Разумеется, все его руководство сводилось к тому, что он показывал иностранцам ровно столько, сколько было необходимо, чтобы произвести на них впечатление, и давал им возможно менее точную информацию.

Игнасио, который всячески скрывал свое отвращение к бойкому и любвеобильному полковнику, скоро стал узнавать от него многочисленные «тайны». Очевидно, полковник считал, что Испания — второстепенная держава, а Игнасио слишком безвреден, чтобы что-нибудь от него скрывать. Во всяком случае, Игнасио находился в значительно лучшем положении, чем другие иностранные атташе, и если б наше правительство интересовалось его работой, оно убедилась бы, что она далеко выходит за пределы обычных обязанностей авиационного атташе.

Мы дважды имели возможность пожать руку дуче — избретателю фашистской системы, основанной на крови и голоде, и оба раза уклонились. Первый раз — когда Муссолини давал обед в Квиринале¹ в честь испанского посольства. Мы вежливо отказались пойти на этот обед, хотя супруга нашего посла несколько раз звонила нам по телефону и очень сердито настаивала на нашем присутствии. Зато после мы вдоволь поиздевались над коллегами. Дело в том, что Муссолини, войдя в столовую, не пожелал знакомиться с сотрудниками испанского посольства и, наскоро пообедав, ушел, оставив гостей в полном недоумении.

Затем он устроил прием в честь австрийского канцлера Дольфуса. Мы также на нем не присутствовали, выразив этим наш скромный протест против двух развлекающихся диктаторов.

Однако в эту зиму я все-таки увидела Муссолини — на балу, который давала бразильская дипломатическая миссия в связи с тем, что ее повысили рангом: теперь она стала посольством. Я стояла недалеко от диктатора и не без удоволь-

¹ К в и р и н а л — королевский дворец в Риме.

ствия отметила, что он не слишком высок и не слишком импозантен. Пока он не выдвинет нижнюю челюсть, не упрется рукой в бедро и не вытянет правую ногу, он имеет вид мрачного, грузного, коренастого, но самого обыкновенного, ничем не примечательного человека.

Несмотря на то, что Игнасио был назначен авиационным атташе не только в Рим, но и в Берлин, генеральный штаб пока не посылал его в Германию. Мы поехали туда по приглашению одной нашей приятельницы-немки, настроенной антифашистски. Она звала нас провести две недели в имении ее родителей недалеко от Мюнхена. Отец Лизелотты (так звали нашу приятельницу) был очень крупным фабрикантом. Он и его жена мечтали получить от фюрера какую-нибудь награду или титул и шли на все, лишь бы угодить ему.

Мы приехали в Баварию вскоре после июньской «чистки» 1934 года, когда все еще шептались о ней. Испанский консул в Мюнхене много рассказывал нам об этом страшном, кровавом деле. Шопотом говорили о нем и многие соседи Лизелотты. Но за обеденным столом говорить о преступлениях Гитлера не разрешалось: можно было лишь восхищаться им.

Во время нашего пребывания в Германии умер Гинденбург — человек, предавший республику и вручивший власть фашистам. Вся семья Лизелотты немедленно облеклась в глубокий траур, и тетка Лизелотты, мечтавшая танцевать танго с Игнасио (настоящим испанцем!), должна была отказаться от своей мечты. Всему дому — горничным, лакеям, поварам, садовникам, дядям, тетям, детям — было вменено в обязанность слушать по радио, как проходят бесконечно долгие похороны фельдмаршала.

Из Цейбурга-на-Дунае Лизелотта и мы с Игнасио ездили на музыкальный фестиваль в Байреит. Я была глубоко разочарована. Музыка показалась мне весьма посредственной, игра — плохой, публика — напыщенной и жеманной, и вся атмосфера — скучной и довольно глупой. Одного вида вагнеровской виллы, в которой поселился охраняемый штурмовиками Гитлер, было достаточно, чтобы отбить всякую любовь к немецкой культуре.

Лизелотта дала нам возможность наблюдать представителей высшего немецкого общества в домашней обстановке. За эти две недели мы сделали для себя немало открытий. Иностранные газеты неоднократно указывали, что Гитлер разорил «бизнес». Действительно, гитлеровский режим уничтожил

почти все небольшие предприятия, но зато мы воочию убедились в том, что он всемерно способствовал процветанию крупных трестов. Отец Лизелотты поддерживал Гитлера именно потому, что с приходом к власти фюрера он получил возможность снизить заработную плату своим рабочим и удлинить их трудовой день. Почти все его мелкие конкуренты были уничтожены, задавлены непомерными налогами, и он никогда так не наживался, как при Гитлере.

Атмосфера в Германии с каждым днем становилась все более удушливой, и мы без сожаления покинули ее. Мы поехали сначала в Австрию (тогда это еще была очаровательная страна), затем в Венецию, а оттуда на далматское побережье. Прекрасные приморские города Югославии, голубое небо, милые люди — все это доставило нам много радости. Всюду мы наблюдали трения между сербами и хорватами — трения, которые искусственно создавал Муссолини, но чувство собственного достоинства, присущее этим людям, их гордый и свободолюбивый нрав действовали на нас ободряюще.

Мы вернулись в Рим загорелые, поздоровевшие, счастливые, но на другой же день нас охватила глубокая тревога. Вести из Испании были дурные, очень дурные. Игнасио боялся работать в посольстве, так как знал, что оно наводнено фашистскими шпионами: при его появлении разговоры прекращались, и наступала гробовая тишина. Теперь Игнасио был единственным лояльным республиканцем в посольстве.

Мы получили несколько кратких писем от Прието, которые еще усилили наше беспокойство. Он ничего нам не объяснял, а только намекал на близкую катастрофу.

Мой дядя герцог Маура, свяк моего другого дяди — граф Лос Андес и с десятков других монархистов под видом паломников явились в Рим и, собравшись в «Гранд-отеле», начали вести переговоры с Альфонсом о восстановлении монархии. Позже мы узнали, что Альфонсу и его присным Муссолини обещал оружие и деньги, необходимые для переворота в Испании, — переворота, который эта группа реакционеров не сумела осуществить.

Пока Альфонс конспирировал в Риме, в Испании реакционеры принимали срочные меры к тому, чтобы повернуть историю испанского народа на сто лет назад. Я уже говорила, что земельная и другие реформы первого республиканского правительства были проведены, главным образом, на бумаге. Но Сэда решила покончить с самой идеей о том, что

крестьяне должны получить землю, а рабочие — более высокую заработную плату и право объединяться в профсоюзы.

После выборов предатель Алехандро Леррус, бывший радикал, возглавил умеренно-реакционный кабинет министров. Четвертого октября мы с Игнасио узнали по телефону страшную весть. Сэда пришла к власти и без Муссолини. Леррус, предав республику, как это сделал в Германии Гинденбург, предоставил Сэде три министерских портфеля: юстиции, общественных работ и земледелия. Таким образом, партия, в программе которой значилось уничтожение прогрессивного социального законодательства, возврат церкви всех ее владений и пересмотр конституции, получила бразды правления в трех основных министерствах.

Услышав это, мы совсем было пали духом. Но мы знали, что испанский народ не может отказаться и не откажется от стремлений, родившихся вместе с республикой всего два с половиной года назад. Тот, кто намеревался повернуть вспять историю Испании, не учел твердой воли испанского народа.

Пятого октября мы получили этому подтверждение. Нет, республика еще не погибла: рабочие Мадрида объявили всеобщую забастовку!

В Барселоне каталонские республиканцы провозгласили независимую республику. Не сепаратистские настроения руководили ими. Они действовали так, чтобы спасти Каталонию от мадридских реакционеров и фашистов.

Насколько можно было судить по той неполной информации, какую мы получали в Риме, на призыв мадридских рабочих откликнулась вся Испания. Со страхом вспоминали мы о несвоевременной стачке батраков в Эстремадуре и Андалусии, подорвавшей силы и отнявшей жизнь у нескольких тысяч крестьян. Смогут ли теперь крестьяне, голодавшие в течение многих месяцев, поддержать мадридцев? Мы не знали — мы могли только надеяться.

Но в одном мы были уверены: мужественные и решительные горняки Астурии откликнутся на призыв к всеобщей забастовке и будут бороться с реакцией до последней капли крови.

Шестого октября вечером Игнасио положил телефонную трубку и тяжело опустился на стул.

— Барселона сдалась? — спросила я, сдерживая слезы.

— Сдалась, — с горечью ответил Игнасио.

Мы тогда еще не понимали, как могло капитулировать Барселона, население которой, все, до последнего человека, готово было защищать свою республику от Хила Роблеса и

Сэды. Сдалась? Невероятно! И только несколько месяцев спустя мы узнали, что у руководителей забастовки нехватило веры в силы народа. Мы узнали, что у Барселоны не было оружия, не было лозунгов борьбы против Сэды и, самое главное, что десятки республиканских группировок не смогли договориться между собой и выработать единый план действий.

Всеобщая забастовка в Барселоне была подавлена девятого октября. Мадридские рабочие, растерявшиеся после падения Барселоны, стали понемногу возвращаться на работу. Держались лишь астурийские горняки.

— Я больше не могу оставаться здесь,— сказал мне в этот вечер Игнасио,— может быть, я пригожусь в Мадриде.

Мне было ясно, что приезд Игнасио в Мадрид именно в этот момент, без официального вызова, чреват серьезными последствиями. Республиканские лидеры уже были на пути во Францию. Сэда, в противоположность республиканцам, не проявляла великодушия к своим врагам. Но у меня не поворачивался язык просить Игнасио остаться.

— Поезжай,— сказала я, силясь улыбнуться.

— Это совсем неопасно,— улыбнувшись мне в ответ, проговорил Игнасио, и я постаралась поверить ему.

Игнасио вылетел на самолете. Я не поехала провожать его на аэродром из боязни, что это может привлечь внимание к его неожиданному отъезду. Мы надеялись, что сотрудники нашего посольства, занятые посылкой поздравительных телеграмм Сэде, гражданской гвардии и армии, разгромившим всеобщую забастовку, не заметят его отсутствия.

Прошло девять дней. Никаких вестей от Игнасио. И почти никаких вестей из Испании. Что там происходит? Где мой муж? Долетел ли он до Мадрида? Может быть, он арестован? Я начала терять самообладание, по ночам перестала спать. Наконец, на десятый день, поздно вечером получилась телеграмма, подписанная другом Игнасио: муж здоров и находится во Франции. А через два дня я уже ехала встречать его в приморский городок Остию.

По дороге в Рим Игнасио рассказал мне обо всем. Он прилетел в Мадрид, когда забастовка уже прекратилась, и направился прямо к Прието. Обе его дочери были страшно взволнованы. Полиция разыскивала их отца как одного из руководителей всеобщей забастовки. Игнасио решил переправить Прието во Францию. С этой целью он взял у друзей автомобиль, имевший пропуск во Францию, и, надев форму

майора военно-воздушного флота, сел за руль. В довольно вместительном отделении для багажа лежал Прието. Все шло прекрасно. Гражданские гвардейцы козыряли проезжавшему в машине майору; Прието, один из самых известных людей в Испании, был скрыт от их взгляда.

В Сан Себастьяне Игнасио вышел из машины и переоделся. Когда стемнело, французский шофер благополучно доставил Прието во Францию.

— Что происходит в Испании? — спросила я.

Игнасио кратко обрисовал положение. Астурийцы все еще держались. Правительство не могло доверить убийство испанских рабочих испанским солдатам. Соппротивление все еще не было сломлено.

Наш посол, казалось, был несколько удивлен, увидев на следующее утро Игнасио. Но свое неудовольствие он выразил лишь тогда, когда Игнасио отказался подписать телеграмму, в которой посольство поздравляло Сэду с разгромом всеобщей забастовки, и пожертвовать на гражданских гвардейцев: сбор в их пользу открыла «АБЦ».

— Через неделю мы будем безработные, — с веселым видом объявил мне Игнасио.

Это была единственная шутка, которую можно было услышать у нас в доме в эти дни.

До нас стали доходить сведения об астурийском восстании. Итальянские газеты не писали ни слова правды, но те, кому удалось бежать из Испании, подробно рассказали об этих страшных событиях.

Хиль Роблес и Сэда превратили Испанию в кровавый застенок. Мужественные астурийские горняки, сражавшиеся за демократию, были разгромлены марокканскими войсками, которые были вызваны правительством, не доверявшим испанским солдатам. Марокканцев привез в Испанию новый начальник генерального штаба, генерал Франсиско Франко. Впервые в истории марокканские войска сражались с испанским народом на Пиренейском полуострове. Наслуя, грабя, убивая, они промчались по Астурии, как дикий ураган.

Игнасио был уверен, что Сэда его немедленно отзовет, и решил совершенно открыто, на виду у всех, проехать в Испанию. Он остановился в Барселоне, чтобы навестить арестованного Асанью, содержавшегося в пловучей тюрьме на пароходе, стоявшем в гавани, а оттуда проехал в Мадрид. В военном министерстве он был принят чрезвычайно холодно. Начальство заявило ему, что оно его не отзывает, но, конечно, если он сам хочет подать в отставку... Это была

политика генерала Франко: он добивался того, чтобы все республиканцы, служившие в армии, вышли в отставку.

— Этого-то как раз я и не сделаю,— говорил мне Игнасио.— Уйти и расчистить дорогу для полной фашизации армии? Никогда.

Вернувшись в Рим, Игнасио рассказал мне о бойне в Астурии. Горняков разбили марокканские войска, во много раз превосходившие их численностью и вооружением. Некоторые испанские офицеры, командовавшие марокканцами, восстали, некоторые летчики отказались бомбить мирное население Астурии. Но таких оказалось немного. Сопrotивление борцов за свободу было сломлено.

Началась зверская расправа. В истории немного найдется таких страшных событий, как те, что совершались в Астурии после «победы» марокканцев. Мы узнавали о них от беженцев, которым удалось перейти границу. Был убит журналист Луис де Сирваль, который слишком много видел; было арестовано много женщин и детей; их пытали огнем и избивали железными прутьями, требуя, чтобы они выдали, где скрываются их отцы, мужья и братья. Тридцать тысяч горняков было брошено в тюрьмы. Тысячи скрывались в горах.

Мы с Игнасио не в силах были оставаться в Италии в то время, когда тысячи испанцев гибли под пытками. Люди, которым удалось бежать из Испании, наводнили Париж, голодные, нищие. А Игнасио получал большое жалованье. Мы не знали, как долго он будет его получать, но решили, что пока у нас есть хоть сентимо, мы будем помогать испанским беженцам. Мы спешно уложились и выехали во Францию.

Астурийцы тесно сплотились в борьбе против Сэды. Они видели, как расстреливали их товарищей, как возвращались из тюрем их жены, матери, дочери — скрюченные, искалеченные пытками. Но никакой террор не мог сломить мужество астурийцев. Они нелегально переправляли товарищей через границу, собирали деньги и пересылали их изгнанникам. Астурийцы, которых мы увидели в Париже, сидели буквально без гроша, ютились в предместьях и, соблюдая почти военную дисциплину, во всем подчинялись своим руководителям.

К сожалению, не все испанские беженцы проявили такую непоколебимую волю к борьбе за свое будущее. Так, например, Прието даже не пытался указать французской социалистической партии на серьезность положения, создавшегося в Испании, и весьма мрачно смотрел на вещи. В провале мадридской забастовки он обвинял ее руководителя Кавальеро,

а тот всю вину за разгром сваливал на Прието, который должен был поднять восстание в армии против Сэды. Армия не выступила: кто в этом виноват — оставалось неясным. Теперь Кавальеро сидел в тюрьме; его друг, Альварес дель Вайо, приехал в Париж для того, чтобы помирить двух враждовавших между собой социалистических лидеров и привлечь внимание французской социалистической партии к дальнейшей судьбе Испании. Дель Вайо понимал, что чудовищный террор в Астурии и во всей Испании прекратится лишь в том случае, если прогрессивные силы всего мира будут действовать сообща. Он знал, что испанская демократия не сможет одержать победу, пока не объединятся все партии, поддерживающие республику.

— Мы должны объединиться, — повторял дель Вайо, но Прието, охваченный глубоким пессимизмом, упорно молчал.

В Париже Игнасио неожиданно получил распоряжение выехать в Берлин. Два года он тщетно ждал, чтобы его послали в Германию, и вот теперь, когда мы думали, что его отзовут совсем, наконец, получил этот приказ.

Мы вылетели из Парижа на самолете Люфтганзы. Тут я узнала, что такое «слепой полет», над облаками. Мы пошли на посадку над самым аэродромом Темпельгоф. Эта точность нас поразила: она показывала, как старательно муштровали наци своих пилотов, осваивавших путь от Парижа до Берлина. С таким же рвением осваивала Люфтганза воздушную линию Берлин — Лондон: полеты совершались в тумане, при густой облачности, и летчики ориентировались только по приборам.

В Темпельгофе нас встретил весьма представительный господин в котелке, в пальто с каракулевым воротником, с толстой сигарой в зубах: это был директор Люфтганзы. Он отвез нас в отель. Через час к нам явились два офицера из вренного министерства, оба хорошо говорившие по-испански, хотя и с латино-американским акцентом, и предложили свои услуги. Они сообщили, что на время нашего пребывания в Берлине нам предоставлена машина и что они, по очереди, каждое утро будут заезжать за Игнасио и сопровождать его на приемы, на заводы и аэродромы. Мы знали, что испанский посол известил германское военное министерство о нашем приезде, но оказанное нам «радушие» превзошло все наши ожидания.

Каждый день приносил все новые сюрпризы. Игнасио был

принят начальником германских военно-воздушных сил, генералом Мильхом. Затем Мильх с женой и несколько видных офицеров воздушного флота пригласили нас в один из самых шикарных берлинских ресторанов. На банкете в аэроклубе, куда мы были приглашены в качестве почетных гостей, мне преподнесли золотую булавку со значком аэроклуба. Специальный «Юнкерс-52» доставил нас в Бремен, и пока Игнасио осматривал авиационные заводы Фокке Вульфа, любезный немецкий офицер показывал мне достопримечательности города. Потом нас угощали весьма изысканным обедом в так называемом «городке Хаг», славившемся своим кофе. Через несколько дней нас пригласил к себе главный инженер заводов Фокке Вульфа, живший в одном из самых фешенебельных кварталов Берлина. Все это приводило нас в полное недоумение.

Наконец наци заговорили откровенно и недвусмысленно. Они «великодушно» предлагали Испании (и выражали надежду, что Игнасио поддержит их в испанском военном министерстве) следующее: Германия готова предоставить в распоряжение Испании мощный воздушный флот, причем платежи не должны беспокоить испанское правительство. Продукты питания, в которых так нуждалась «Третья империя», а также «несколько концессий», как, например, разрешение построить на испанской территории широкую сеть мощных радиостанций, которые могли бы осуществлять связь с самолетами Люфтганзы и цепелинами, совершающими рейсы в Южную Америку,— вот все, чего потребует в обмен «Третья империя». Конечно, продажа Испании значительного количества самолетов повлечет за собой отправку немецких специалистов и инструкторов в испанскую армию.

Тогда мы еще не могли проникнуть в тайные замыслы немецких фашистов, но Игнасио сразу понял, как опасно было бы усиливать при их помощи испанский воздушный флот, и особенно теперь, когда руководство всей армией находится в руках архиреакционного правительства, а начальником генерального штаба является генерал Франко. Разумеется, Игнасио тщательно скрывал от немцев свои мысли и продолжал пользоваться их гостеприимством, очень интересуясь тем, как долго оно будет продолжаться. Почему в гестапо не оказалось точной информации о наших политических убеждениях, это до сих пор остается для нас загадкой. Очевидно, там держались того мнения, что испанский авиационный атташе не может не разделять политики своего нового правительства. Мы были достаточно осторожны и не

стали разубеждать немцев, понимая, что сведения об их планах будут нам очень полезны. Но когда, позже, мы рассказали об этом в Париже, то ни Прието, ни другие республиканские лидеры не придали нашим сведениям особого значения. Республиканцы были во-время предупреждены, но они не были во-время вооружены для борьбы с врагами.

Берлин совсем не напоминал тот город, который я посетила в 1919 году. Шикарные рестораны на Унтерденлинден и Курфюрстендамм, куда нас приглашали на обед чиновники из министерства авиации, были полны военных и безвкусно, но богато одетых дам — жен и содержанок фашистских бюрократов и коммерсантов. Но у людей из других кварталов Берлина, у людей, ездивших в метро, посещавших дешёвые кафе и кино, были апатичные, скучные лица. Часто к нам подходили прилично, но бедно одетые люди и просили денег с таким видом, словно они спрашивали, как пройти на такую-то улицу. Универсальные магазины не были так переполнены, как несколько лет назад; ассортимент товаров был менее разнообразен, и самые товары уступали по качеству тем, которые можно было найти в любом парижском и даже итальянском универсальном магазине. Берлин отнюдь не производил впечатления счастливого города.

Германское министерство авиации оставалось любезным до конца. С нами простились столь же учтиво, как и встретили. Всевидящее око гестапо скользнуло мимо нас, и мы уехали, отлично осведомленные о германских авиазаводах и германских планах проникновения в Испанию. Это могло бы очень и очень пригодиться республиканским лидерам. И не Игнасио повинен в том, что его страна оказалась неподготовленной в тот момент, когда ей пришлось обороняться от немецких захватчиков.

— Не надо так волноваться,— вот все, что сказал Прието моему мужу на другой день после нашего приезда из Берлина.

Игнасио закусил губу, но ничего не ответил. Мы немедленно выехали в Рим, весьма удивленные тем, что в Париже не оказалось приказа об отозвании Игнасио в Испанию.

В Италии сотрудники посольства смотрели на нас с плохо скрываемым ужасом и, казалось, шептали нам вслед: «Берегись: республиканцы!» Игнасио много работал, и в дальнейшем его знание итальянских авиазаводов принесло большую пользу республике.

Начиналась весна 1935 года. Италия усиленно готовилась к абиссинской кампании. Куда бы мы ни поехали, всюду нам попадались лагеря чернорубашечников. Все дороги на Неаполь были забиты пехотой и обозами. Фашистская пресса призывала записываться в добровольцы и сражаться за «святое дело». Ограничения для военных атташе все увеличивались. Посольства жаловались, что итальянские военное и авиационное министерства чинят всевозможные препятствия при посещении военных заводов и лагерей. Игнасио, благодаря «дружбе» с полковником Лонго, который был назначен военным атташе в Южную Америку, но пока оставался в Италии, все еще удавалось получать именно ту информацию, в какой он нуждался. Когда, например, итальянская пресса хвасталась тем, что авиационные заводы приступили к массовому производству бомбардировщиков типа «Савойя», Игнасио только весело усмехался. Он знал, что завод «Савойя» выпустил только один такой самолет, да и тот оказался с дефектами. Когда же фашистские газеты, желая произвести впечатление на Англию и Францию, сообщили, что эскадрилья этих мифических самолетов вылетела в Абиссинию, Игнасио громко расхохотался: ведь мы лично знали тех инженеров, которые работали над устранением дефектов пробной модели.

Первые недели жаркого итальянского лета мы провели в Риме, терпеливо ожидая, когда Игнасио отзовут. Мы регулярно получали сведения из Испании и всей душой стремились в Мадрид. Медленно, но верно совершалось объединение демократических сил Испании. Сэде не удалось вернуть страну к феодализму. Реакционерам приходилось не сладко.

Нам так хотелось быть дома, участвовать в организации сопротивления фашизму! Но Игнасио не мог подать в отставку. Он должен был оставаться в армии — это было необходимо. Республика нуждалась в офицерах-республиканцах. Поэтому мы сидели в Риме и терпеливо ждали.

Наконец двадцать восьмого июля, во время завтрака, нам позвонил секретарь нашего посла: «Немедленно явитесь в посольство!»

Мы приехали в утрюмую, настороженную Испанию. Особенно тревожно было в Каталонии, где каждую минуту мог произойти взрыв. Лучшие сыны каталонского народа все еще томились в тюрьмах. Барселонцы накапливали ненависть.

В Астурии не прекращались жестокие репрессии. Весь мир знал о той зверской расправе, какую учинили в этом бога-

тейшем угольном районе генералы и гражданская гвардия. Даже консерваторы и некоторые реакционеры ужаснулись, узнав чудовищные подробности астурийского террора. Хиль Роблес и правительство пытались скрыть правду, но астурийскую эпопею нельзя было утаить.

Конечно, Игнасио был встречен в военном министерстве без восторга. Вскоре его послали на работу, вернее, в изгнание, в Севилью. Его нельзя было ни уволить из армии, ни заставить уйти самого. Я была уверена, что он пробудет в Севилье несколько недель, самое большее несколько месяцев, поэтому мы с Лули остались в Мадриде. Игнасио часто навещал нас.

Инес и Сенобия все еще работали в магазине, и я решила присоединиться к ним и вложить немного своих денег на расширение дела. Но никого из нас особенно не интересовала продажа крестьянского полотна и глиняной посуды. Мы чувствовали, мы знали, что так дальше продолжаться не может, что положение в стране должно измениться.

Продажность правительственных кругов ни для кого не составляла тайны. Некий голландец, получивший от правительственных чиновников на откуп игорные дома, заплатил за это огромные деньги, а затем, решив, что его обсчитали, сам раскрыл всю эту махинацию. Газеты ежедневно сообщали о новых случаях взяточничества и вымогательства в правительственных учреждениях. Астурийская трагедия глубоко запала в сердце народа. Мадридские рабочие все еще подвергались репрессиям за всеобщую забастовку, и терпение у них истощалось. Крестьяне жестоко голодали. Что-то должно произойти — и очень скоро!

Двадцатого октября свыше четырехсот тысяч испанцев, собравшихся со всех концов страны, — многие пришли пешком, многие приехали на ослах, — явились на митинг, состоявшийся под открытым небом, недалеко от Мадрида, чтобы послушать речь Асаньи. Правительство и полиция намеревались спрвоцировать народ на беспорядки. Когда медленно двигавшаяся многотысячная толпа переходила мост через Мансанарес, конная полиция начала теснить ее. Провокаторы, замешавшись в толпу, подстрекали ее на активное выступление. Пулеметы, установленные на грузовиках, были направлены прямо на демонстрантов. И все оказалось тщетно; испанский народ стал дисциплинированным. Чтобы перейти мост и добраться до места, где происходил митинг, требовалось часа два, но за весь день не произошло ни одного инцидента.

Все, кто в это воскресное утро слушал Асанью, воспрянули

духом и исполнились твердой решимости. Вслед за оратором четыреста тысяч испанцев повторяли боевые лозунги: «Всеобщая амнистия! Освободить тридцать тысяч заключенных — жертвы террора!»

Как-то вечером, в начале ноября, когда мы с Игнасио спокойно сидели дома, нас срочно вызвали по телефону. Мы подъехали к указанному дому и нашли там Прието, которого нелегально переправили в Испанию через французскую границу. Кризис, по его мнению, наступил. И он, Прието, может пригодиться Испании. Грустный и мрачный во Франции, сейчас он был полон энергии. Грандиозный митинг, состоявшийся двадцатого октября, казалось, вернул ему веру в испанский народ. Реакционное правительство должно пасть. Мы все должны работать, работать и работать.

Сначала мы решили спрятать Прието у нас, но Лули, которая уже ходила в школу, была живой семилетней болтушкой, имевшей пока еще весьма отдаленное представление о политике. Я так и слышала, как она говорит своим подругам: «У папы и мамы есть секрет! У нас дома прячется один дядя: только это секрет, и я вам не могу сказать, как его зовут!»

Мы устроили Прието в семье, где не было детей, и он начал руководить работой правых социалистов. Левые социалисты, которыми руководил Ларго Кавальеро, тоже энергично взялись за дело, и хотя полного единения еще не было достигнуто, все же надо признать, что осенью 1935 года и те и другие работали много и интенсивно.

В начале декабря разразился давно назревавший правительственный кризис. Скандальные истории подорвали авторитет Сэды. Реакционеры пытались исправить положение созданием «центральной» партии. Но этот трюк не удался. Правительство неожиданно сыграло нам на-руку: начальником военно-воздушного флота оно назначило Нуньеса де Прадо, генерала-республиканца, одного из самых многообещающих молодых испанских генералов. Он немедленно вызвал из Севильи Игнасио и сделал его своим помощником. Конечно, у Нуньеса де Прадо и Игнасио не было полной свободы действий, так как начальником генерального штаба оставался генерал Франко, однако им удалось перевести ряд монархистски и фашистски настроенных офицеров в отдаленные районы и назначить республиканцев на ответственные посты.

Президент Алькала Самора не мог более сопротивляться воле народа. Восьмого января 1936 года он распустил кортесы и назначил всеобщие выборы на шестнадцатое февраля.

В связи с этим чрезвычайное положение, объявленное Сэдой шестого октября 1934 года, было отменено, а вместе с ним и цензура. Левая пресса обнародовала документальные данные об астурийских репрессиях. Из Парижа стали возвращаться беженцы. Предвыборная кампания началась.

Мы все отчетливо сознавали, что эти выборы решат судьбу Испании. Что нас ждет — фашизм или демократия, средневековые или светлое будущее, тирания или справедливость? На карту была поставлена испанская республика, на чашу весов была брошена свобода и самое существование испанской демократии.

По одну сторону баррикад стояли крупные капиталисты, помещики, могущественные монашеские ордена, высшие духовные власти (но не все священники) и военная каста.

По другую сторону — испанский народ.

Правые партии действовали сообща. Сэда и ее двойник — партия аграриев — являлись самыми мощными реакционными партиями. Монархисты не могли выставить своего кандидата на республиканских выборах, но они оказывали широкую материальную поддержку этим двум партиям и голосовали за их кандидатов. Потерявшая всякий престиж радикальная партия Лерруса поддерживала Сэду и аграриев. Фаланга была весьма немногочисленна и занималась, главным образом, бесчинствами и убийствами из-за угла. Точная копия итальянской и германской фашистских партий, она была хорошо вооружена, очень хорошо организована и имела свои отделения в Мадриде, Севилье, Барселоне, Валенсии, Виго. Фалангисты использовались Сэдой лишь в качестве вооруженной силы, да они больше ни на что и не претендовали: это были открытые наемники Сэды, которая платила им десять песет в день. Традиционалисты, они же карлисты, расходились с монархистами только в вопросе о кандидатуре на королевский престол, в остальном эти две партии были единокорны. Карлисты пользовались некоторым влиянием в Наварре, где крестьяне-горцы, оторванные от остальной Испании, свято хранили традиции карлистских войн прошлого века. Некоторые реакционные националистические партии Каталонии, в которые входили, главным образом, капиталисты, голосовали вместе с Сэдой.

Таковы были официальные силы реакции. Но за официальными партиями стояли деньги и еще раз деньги. От банкиров, фабрикантов, помещиков главари Сэды требовали и

получали огромные суммы. Впервые в Испании на предвыборную борьбу тратились такие колоссальные средства.

Народ вел предвыборную кампанию без денег, но у него было другое средство, которым он пользовался тоже впервые: единство. Трагические события в Астурии, кровавые репрессии, цензура, фашизм в Германии и Италии, сознание того, что эти выборы явятся поворотным пунктом в истории испанского народа — все это заставило республиканских и социалистических лидеров понять, что в момент борьбы против фашизма надо отбросить все межпартийные распри и разногласия.

Впервые все антифашистские и демократические партии Испании создали мощное объединение, вошедшее в историю под названием Народного фронта.

Программа Народного фронта начиналась со слов: «Республика, как ее понимают партии, входящие в Народный фронт, не руководствуется какими-либо классовыми или экономическими побуждениями, она зиждется на принципах демократической свободы, принципах общего блага и социального прогресса».

Первый пункт программы Народного фронта требовал всеобщей амнистии для политических заключенных: «Свободу тридцати тысячам!»

Второй пункт предусматривал организацию общественных работ — нечто вроде WPA, рузвельтовской организации помощи безработным.

Далее предлагалось урезать власть испанских банков, снова передать школы под контроль государства, причем намечалась обширная программа всеобщего образования, и указывалось на необходимость оказать различного вида помощь крестьянам в соответствии с проектом аграрной реформы. Наконец, согласно пункту шестому, рабочие должны были получить социальное законодательство, твердые ставки и прочее.

Этот скромный документ не угрожал существованию капиталистической системы в Испании. Он не выдвигал пункта о национализации банков, земли, фабрик и заводов. Социальное законодательство, о котором в нем упоминалось, не выдерживало никакого сравнения с законами о заработной плате и об условиях труда в других демократических странах. О непосредственной помощи безработным здесь вообще не говорилось. Программа Народного фронта, в основном, предполагала продолжать реформы, начатые первым республиканским правительством и прерванные «черным двухлетием» —

эпохой власти Сэды и Хиль Роблеса. Партии Народного фронта стремились создать свободную, прогрессивную Испанию с гражданскими свободами для всех.

Программу Народного фронта поддерживали республиканские и антифашистские партии: левореспубликанская партия, которую возглавлял Асанья, партия республиканского союза во главе с Мартинесом Баррио, национальная республиканская партия Санчеса Романа и левая республиканская партия Каталонии, во главе которой стоял Луис Компанис. Все эти партии представляли среднее сословие в рядах Народного фронта.

Народный фронт поддерживали и партии рабочего класса: оба крыла социалистов, возглавлявшиеся Прието и Кавальеро, коммунисты и немногочисленная синдикалистская партия. Анархо-синдикалистская Национальная конфедерация труда (НКТ) и Федерация анархистов Иберии (ФАИ) пакта Народного фронта не подписали.

Итак, в стране боролись две силы: реакционеры, с их программой неприкрытого фашизма и возврата к средневековью, и народ, поддерживавший демократическую и умеренно-либеральную программу Народного фронта.

Предвыборная борьба была страстной и ожесточенной. Сэда, располагавшая огромными суммами, пускалась на все. Хиль Роблес, напуганный ежедневно печатавшимися в газетах материалами об астурийском терроре, сделал рискованный шаг. Назвав себя jefe (jefe — это испанский эквивалент дуче и фюрера), он открыто повел фашистскую пропаганду. На Пуэрта дель Соль, главной мадридской площади, его толстая физиономия красовалась буквально во всех окнах.

Богатые дамы, связанные с его партией, предлагали нищим испанским крестьянам и безработным в обмен на избирательный бюллетень, поданный за их кандидата, одеяла и тюфяки. Все многоквартирные мадридские дома были наводнены агентами Хиль Роблеса — добрыми дамами, предлагавшими пятьдесят песет за голос. От одной такой щедрой особы, собиравшей голоса в нашем доме, моя горничная-андалуска получила вперед двадцать пять песет. Кроме того, ей был обеспечен бесплатный проезд в избирательный участок, куда ее сопровождала эта дама, набравшая группу из одиннадцати горничных. Затем каждая девушка получила еще по двадцать пять песет, и, как потом рассказывала моя горничная, все поблагодарило даму за катанье и деньги, отдали свои голоса Народному фронту.

Такая же ожесточенная предвыборная борьба велась во всей стране. Реакционеры, захлестнутые волной народного гнева, пускались на любые трюки. Епископы угрожали прихожанам вечным проклятием, если они будут голосовать за Народный фронт. Детей учили, что голосовать за Народный фронт значит совершить смертный грех. Помещики угрожали крестьянам голодом, предприниматели грозили рабочим увольнением.

Утром шестнадцатого февраля мы с Игнасио проснулись с тревожным чувством. Мы знали, что испанский народ поддерживает Народный фронт, но смогут ли устоять голодные крестьяне и рабочие, которых, с одной стороны, всячески запугивали, а с другой — подкупали?

Мы с Игнасио пошли к урнам рано утром. Я голосовала первый раз в жизни. Наш район не отличался фешенебельностью, и в длинной очереди перед зданием школы, где происходило голосование, стояли мелкие служащие, лавочники, ремесленники. Все они были единоклюбы в своем стремлении поддержать Народный фронт.

Вернувшись домой, мы с Игнасио сели у радио и телефона в ожидании новостей. В рабочих районах мужчины и женщины, полные энтузиазма, шли с песнями на избирательные участки. Мы опасались беспорядков, но в Мадриде день прошел спокойно, хотя всюду расхаживали вооруженные фалангисты.

В полдень у нас в доме было полно народа: приходили и уходили друзья и знакомые. Всем хотелось узнать новости, поделиться тем, что слышали, просто посидеть с нами. Все мы, убежденные сторонники демократии, прожили первую половину февраля в таком волнении и тревоге, что нам хотелось быть вместе.

В шесть часов вечера на улицы хлынули первые толпы счастливых, возбужденных людей, праздновавших победу.

Сперва нам трудно было поверить этому. Но вечером стали поступать сведения из провинции.

Народный фронт одержал полную победу во всей Испании. Кандидаты Народного фронта получили огромное большинство голосов.

Реакционеры, видя, что все потеряно, сделали последний отчаянный шаг. Реакционные офицеры попытались вывести войска из казарм и заставить их стрелять в народ. Генерал Франко, который все еще был начальником генерального штаба, велел выдать оружие агентам Сэды. Фалангисты стреляли из-за угла.

Но у народа нельзя было отнять то, чего он только что добился. Он подозревал о существовании заговора. И вот, хмурые толпы людей окружили офицеров, фалангисты встретили сопротивление, а после того как гражданские гвардейцы, под командой фашистских офицеров, арестовали кандидатов Народного фронта, народ разгромил штаб-квартиру монархистов.

Премьер-министр подал в отставку. Его сменил Асанья. Кабинет министров был составлен из членов обеих республиканских партий,—представители других партий Народного фронта не вошли в правительство. Реакционеры отступили, отложив военный мятеж до «лучших времен», и в стране наступило какое-то зловещее, тревожное спокойствие.

С семнадцатого февраля вся демократическая Испания была уже на-чеку, находилась в состоянии боевой готовности. Народ слишком много выстрадал, чтобы всецело положиться на кабинет Асаньи. Мы, как и все испанские демократы, в течение многих месяцев жили в сильнейшем напряжении и тревоге. Я не помню буквально ни одного дня, ни одной ночи, когда бы нам не рассказывали о новом тайном заговоре против республики. Реакционеры, потерпев поражение на выборах, решили одержать победу силой оружия.

Но республика еще не научилась защищаться. Со дня бегства Альфонса произошло много событий. Испания видела, как умирали за свободу астурийские горняки, видела террор, репрессии, кровавую бойню. Тревожные сигналы, раскрытые заговоры, слухи о растущей активности реакционеров — все это внятно говорило о том, что уже завтра фашисты попытаются силой свергнуть республику.

Но Асанья и его кабинет все еще поклонялись идолу «законности», все еще придерживались правила: «тише едешь — дальше будешь». Так, например, Асанья ни за что не стал бы принимать никаких мер против офицера-предателя, пока суд не доказал бы, что он был активным участником заговора, ставившего своей целью ниспровержение республиканского строя. Игнасио переходил от отчаяния к бешенству. Он знал наперечет всех офицеров, подготовлявших мятеж против республики, все в армии знали их, и, тем не менее, новый военный министр, Сантьяго Касарес Кирога, адъютантом которого был Игнасио, не принимал против них никаких мер.

Несмотря на преступную беспечность и инертность правительства, Игнасио все же удалось кое-что сделать. Хотя теперь его назначили адъютантом военного министра, он настоял на том, чтобы за ним сохранили пост помощника ко-

мандующего военно-воздушным флотом. Воспользовавшись этим, он перевел в Мадрид наиболее надежных республиканских летчиков. Предателей, находившихся под его командой, он или уволил, или перевел в районы, не имеющие особого значения. Лучшие, хотя далеко не первоклассные, самолеты он сконцентрировал на мадридских аэродромах.

Однажды вечером, проведя целую неделю в напряженной работе, он пришел домой совершенно измученный и сказал:

— Ну, Мадрид обеспечен честными пилотами! И если правительство не пожалеет кого-нибудь из уволенных мной изменников, то нам бояться нечего,— во всяком случае за авиацию. Не думаю, чтобы эти старые калоши, которые я оставил в Севилье и Леоне, смогут бомбить Мадрид.

Игнасио был прав. Но в марте 1936 года он еще не мог предвидеть массированных налетов фашистской авиации, которая ежедневно будет сбрасывать на Мадрид свой смертоносный груз.

Подготовка к военному мятежу, которая шла днем и ночью и началась немедленно после выборов, являлась лишь частью плана, намеченного испанскими реакционерами. В промышленности и торговле наблюдался застой. Богачи переводили свое состояние за границу, многие монархисты и помещики двинулись в Париж вслед за деньгами. Хирел и наш магазин. Инес и я относились к этому безразлично: все наши мысли были с республикой.

Но Сенобия была настроена иначе. Ее меблированные квартиры пустовали. Пока я жила в Риме, она завела новых друзей, а когда я вернулась, то нашла ее сильно изменившейся. Во время предвыборной борьбы Сенобия заявляла, что она «ни на чьей стороне», и, несмотря на наши с Инес попытки воздействовать на нее, осталась «нейтральной». В день выборов она не голосовала. Теперь же она все чаще возмущалась правительством и становилась все более и более равнодушной к успехам Народного фронта. Между тем, Испания жила политикой, и те, с кем мы расходились во мнениях по важнейшим политическим вопросам, не могли уже оставаться нашими друзьями. Моя дружба с Сенобией дала глубокую трещину.

Вернувшись этой зимой в Испанию, я нашла, что во многих семьях резко изменились отношения. Изменились они и в моей семье. Мои родители помирились с Игнасио. Они даже пригласили нас к обеду. Игнасио, конечно, предпочел бы остаться дома, но я считала, что раз они решили меня

«простить», то я должна сделать то же самое. Поэтому раз в две недели мы стали ходить к ним обедать в их новую квартиру, которую я сама только что отделала: так как крестьянское полотно почти не находило сбыта, то наш магазин занялся отделкой квартир, и мамина квартира была одной из первых наших работ. Мой младший брат, которого мы время от времени встречали у моих родителей, только что вернулся из Германии, где он целый год учился в школе. Мне хотелось узнать, какое впечатление произвела на него «Третья империя», но он больше интересовался боксом и молодыми девушками, чем политикой.

Ни разу не встретив у матери двух замужних сестер, я поняла, что Маричу, Рехина и их мужья не желают сидеть за одним столом с известными сторонниками Народного фронта. Я знала, что Маричу очень несчастна со своим мужем. В мадридском обществе она пользовалась репутацией отличного игрока в покер, и те деньги, которые она выигрывала, частично вознаграждали ее за скупость мужа, биржевого маклера. Но последние вести о Маричу были гораздо тревожней, чем ее игра в покер: она, вместе с нашей кузиной, дочерью герцога Мауры, стала активной фалангисткой. Поведение Маричу очень волновало моих родителей. Они были бы рады, если б она, как полагается аристократке, поддерживала Сэду или монархистов, но помогать фалангистам, когда все в Испании знали, что они просто наемные убийцы! Мать утверждала, что вовлекли ее в эту гнусную организацию несчастная жизнь с мужем и любовь к юному сердцееду, красавцу Примо де Ривера, лидеру фаланги. К этому я могла лишь добавить, что подобные случаи нередки за границей. На моих глазах не одна богатая, избалованная, невежественная молодая женщина, выйдя замуж за нелюбимого человека, начинала искать развлечений, как противоядия от скуки, и становилась рьяной фашисткой.

Рехина, моя любимая сестра, была теперь почти такой же чужой мне, как и Маричу. Она вышла замуж за аристократа, жившего своим трудом: он был инженер. После того как я развелась и вторично вышла замуж, Рехина со мной не встречалась: с ее точки зрения, я опозорила себя навек. И хотя даже родители простили мне мой второй брак, Рехина не изменила своего отношения. Ее супруг когда-то отличался либеральными взглядами, правда, весьма умеренными. При первом республиканском правительстве он служил в министерстве земледелия, но потом, в эпоху реакции, активно саботировал проведение земельной реформы.

Нам с Игнасио нелегко было встречаться с моими родителями. Мы старательно избегали разговоров на наиболее жгучие темы. По-моему, я никогда еще не говорила так много о погоде, как в эту зиму с моими родителями. Несмотря на победу Народного фронта, нам все-таки удавалось сохранить мирные отношения, главным образом, ради Лули, пока, однажды вечером, мой отец не нарушил этот и без того непрочный мир.

Отец полюбил Игнасио. Он говорил мне, что, несмотря на «ужасные взгляды» Игнасио, несмотря на то, что мы с ним «живем в грехе», он хотел бы, чтобы и другие его зятья были такими же, как Игнасио.

И вот, в этот роковой вечер мои родители попросили его присутствовать на семейном совете. После обеда отец угостил нас коньяком и кофе. Игнасио закурил сигару. Мать села поодаль в глубине комнаты. Я начала нервничать. По всему было видно, что отец готовится к серьезному разговору. Мы ждали.

Наконец он заговорил:

— Ты знаешь, Констансия, я начинаю стареть...

Я удивилась. Отец был здоров, полон энергии и все расширял свое дело. Никогда прежде я не слыхала, чтобы он говорил о близкой смерти.

— Я должен подумать о моих детях.

Игнасио покраснел. Он не выносил напоминаний о том, что я дочь богатого коммерсанта и крупного помещика. По нашему скромному образу жизни всякий мог догадаться, что мы живем только на жалованье Игнасио.

— Ты знаешь,— поспешно продолжал отец,— что после аграрной реформы часть моей земли должна быть продана крестьянам. Но если я разделю ее между детьми, то отдельные участки окажутся слишком малы, чтобы их можно было подвести под этот закон.

— Папа, вам незачем советоваться с нами относительно вашей земли,— возразила я.— Вы знаете, нам с Игнасио земля не нужна, мы не крестьяне. Мы не можем жить в деревне и обрабатывать землю. Мы работаем в Мадриде. Мы не хотим быть «городскими помещиками». Делайте с землей, что хотите.

Отец кашлянул.

— Ты меня не совсем поняла. Вот Маричу и Рехина поняли сразу.

У матери был смущенный вид. Отец некоторое время колебался, но затем продолжал:

— Тебе нужно только подписать бумаги. Я... все равно, попржежнему... Это просто формальность... Понимаешь?.. Это для закона... Все так делают...

Я вскочила.

— Иначе говоря, вы хотите, чтобы я помогла вам обойти аграрную реформу?

Глаза отца потемнели от гнева. Он обратился к Игнасио:

— После моей смерти этот участок перейдет к Констансии. Неужели вы хотите, чтобы земля, которая принадлежит вашей жене, была продана каким-нибудь жалким нищим? А если вам это все равно, подумайте о Рехине и Маричу. Я должен выделить землю Констансии, иначе этот закон коснется и нас.

Игнасио направился к двери.

— Это дело ваше и Конни, — сказал он холодно. — Меня это не касается. Поговорите с ней.

Но я проследовала за ним.

После этого инцидента мы стали встречаться с моими родителями лишь изредка и всегда чувствовали себя очень неловко. Отец простил мне мое замужество, терпел даже мои крайние политические убеждения, пока они оставались теорией. Но когда мы с мужем применили нашу теорию на практике, он почувствовал себя оскорбленным. Он понимал, или, вернее, пытался понять, что взбалмошная женщина может ж е л а т ь, чтобы крестьянам жилось лучше: эти гуманистические бредни казались ему неопасными. Но не сохранить своего наследства, своей собственности—это уж он считал явным безумием.

Испания волновалась. Алькала Самору, президента, продавшего республику в 1933 году и пытавшегося продать ее и в 1935-м, открыто обвиняли в измене. Ходили слухи, что военный мятеж произойдет в тот самый момент, когда кортесы сместят Самору. Но несмотря на то, что президент отказался принять представителей кортесов, смещение Саморы прошло спокойно. Президентом республики был избран премьер Асанья. Его правительство, нерешительное и беспечное, все еще бездействовало, но он был официальным республиканским кандидатом, и его избрали единогласно.

Фашисты изменили тактику: от подкупа они перешли к насилию. Четырнадцатого апреля, в день годовщины провозглашения республики, в Мадриде начались провокации, беспорядки, убийства из-за угла. Они не прекращались в течение нескольких месяцев, так как фашисты, действовавшие

по тщательно разработанному плану, решили внести деморализацию в ряды демократов и создать дурную славу республиканской Испании во всем мире.

Из фалангистов, этих наемных убийц, составились ударные отряды реакции. Мой отец и его друзья платили фалангистам деньги, а сами стояли в стороне и следили за результатами. Фалангисты выслеживали намеченную жертву—какого-нибудь профессора, адвоката, судью, политического деятеля—и стреляли в него из-за угла, часто у дверей его собственного дома. Иногда отряды фалангистов, одетых в военную форму, которую им все-таки позволили носить, хотя они были уволены из армии, устраивали беспорядки во время парадов. На глухих, пустынных улицах постоянно находили трупы газетчиков, продававших газеты Народного фронта. В лучшем случае их жестоко избивали. Если же кто-нибудь, в целях самозащиты, убивал фалангиста, то устраивались пышные похороны, служившие предлогом для новых беспорядков.

И после каждого такого случая «АБЦ» и другие фашистские газеты начинали трубить о том, что «Народный фронт—это анархия и насилие».

Много социалистов и республиканцев погибло этой весной на улицах Мадрида. Но сторонники Народного фронта не устраивали торжественных похорон. Они лишь горько оплакивали жертвы фалангистского террора. Они молча опускали в могилу тела демократов, убитых ночью, из-за угла, бандой наемных негодяев, тогда как фашисты всюду кричали о необходимости «восстановления закона и порядка».

Выстрел в спину прервал жизнь офицера-республиканца Карлоса Фараудо. Все его преступление заключалось в том, что он честно служил республике.

Правительство, раскачивавшееся крайне медленно, действовавшее в строгих рамках закона, встревожилось убийством кадрового офицера и решило приставить к видным республиканцам агентов тайной полиции, которые должны были охранять их. И теперь Игнасио всюду ходил в сопровождении трусливого полицейского чина, который больше заботился о спасении собственной жизни, чем о защите Игнасио. Этой весной на улицах Мадрида были произведены покушения на Ларго Кавальеро и на многих других республиканцев,— агенты тайной полиции не помогли,— но кабинет министров ответил на это лишь увеличением числа полицейских, следовавших по пятам за республиканскими деятелями.

Иногда Игнасио приходил с работы в полном отчаянии.

— Почему они не прекратят этого? — говорил он. — Почему они не запрещают фалангу? Почему они не ликвидируют эти уличные нападения, арестовав тех, кто их оплачивает? Почему, черт возьми, они не борются с назревающим мятежом и не производят чистки в рядах армии?

Этого требовал народ. Этого требовал здравый смысл. Однако республиканское правительство, провозгласившее принцип «законности» и полного «беспристрастия», ограничилось тем, что перевело нескольких генералов из Мадрида на стратегически важные пункты: в Марокко или в провинцию.

Мадрид напоминал пороховой погреб. По крайней мере два раза в неделю нам сообщали, что мятеж назначен на эту или на следующую ночь. Много ночей провели мы у телефона, ожидая услышать страшную весть о том, что мадридский или какой-нибудь другой гарнизон выступил против республики. И каждое утро, после такой бессонной ночи, Игнасио шел к себе в министерство и требовал от своего начальства, военного министра Касареса Кироги, занявшего пост премьера после избрания Асаньи президентом, немедленных действий.

Но Касарес только смеялся в ответ.

— Вы паникер, Сиснерос, — говорил он. — Все находится под моим контролем. Я совещаюсь с другими министрами, и мы полагаем, что нами сделано немало для обеспечения безопасности республики.

— Но убийства на улицах!

— Банда головорезов, — отвечал невозмутимый Касарес. — С ними справится полиция.

Однажды Игнасио с группой друзей, которые, как и он, считали, что республика, в целях самосохранения, должна принять срочные меры, отправился к Асанье просить его воздействовать на кабинет.

Игнасио рассчитывал встретить того человека, который в 1935 году произнес пламенную речь и которого Хиль Роблес бросил в тюрьму. Но Асанья был уже не тот. Уединившись в небольшом, но роскошном президентском дворце, некогда принадлежавшем королю, он утратил всякую связь с народом. Далекий, безучастный ко всему, он словно впал в летаргическое состояние, из которого потом так и не вышел.

— Республика достаточно защищена, — холодно сказал он.

— Но генералы, которых перевели на острова, как, например, Франко и Годед, все еще командуют войсками, — напомнил ему Игнасио. — Теперь они подозревают, что нам известно их участие в заговоре, и это заставляет их действовать энергичнее, — вот и весь результат этих переводов.

— Кабинет министров является хозяином положения во всей стране.— Это было последнее слово Асаньи.

В кортесах реакционеры широко использовали свои преимущества. После каждой вылазки фалангистов фашистские депутаты требовали назначения правительства «закона и порядка». Депутаты Народного фронта, составлявшие большинство в кортесах, выступали и голосовали единодушно, но кабинет министров, в который входили исключительно республиканцы, проявлял недопустимую медлительность. Народ голосовал за реформы — где же они? Прошло несколько месяцев, а республиканский кабинет все еще не раскачался. Народ одержал победу на выборах, но оказалось, что представителям народа в кабинете министров нужен не месяц, а десятилетие, чтобы дать крестьянам хлеб, а рабочим — прожиточный минимум.

В программе Народного фронта значилось, что все рабочие, выброшенные на улицу после всеобщей забастовки 1934 года, должны быть снова приняты на работу. А мой отец, например, ни за что не хотел принять обратно несколько тысяч своих рабочих, голодавших в мадридских трущобах.

— Это послужит им уроком,— говорил он.

Хозяева закрывали заводы, что являлось своеобразной «забастовкой протеста» против Народного фронта, безработица все росла, но хотя это был один из самых наболевших вопросов, требовавших скорейшего разрешения, республиканский комитет все еще не решался заставить промышленников подчиниться декрету. Локаутированные рабочие не были вновь приняты на работу, хотя с шестнадцатого февраля прошло уже несколько месяцев.

Теперь почти бездействовали и кортесы: они были деморализованы, с одной стороны, постоянным саботажем и сопротивлением реакции и инертностью правительства — с другой. Еще ни одно мероприятие Народного фронта не было осуществлено кабинетом. Для чего же проводить законы, когда требуется целая вечность, чтобы они вошли в силу?

Анархисты, с их теорией отрицания политической борьбы, широко пользовались спячкой правительства. Буквально каждый анархистский союз объявлял забастовку. Социалисты и коммунисты, у которых теперь, после отмены цензуры, была своя газета, «Мундо обреро», призывали народ к спокойствию.

— Не играйте на-руку фашистам,— предупреждали коммунисты.

— Фашисты ждут лишь удобного момента, чтобы разда-

вить «революционную», как они выражаются, забастовку. Будьте осторожны,— твердили социалисты.

Но левое крыло социалистической партии, возглавлявшееся Ларго Кавальеро, и анархисты не понимали этой мудрой политики. Общее тяжелое положение в стране они еще усугубляли несвоевременными забастовками.

И когда на смену весне пришло жаркое испанское лето, атмосфера в стране стала еще напряженнее. Часто, когда я шла по улице, мне начинало казаться, что вся страна, затаив дыхание, ждет, ждет неизбежной катастрофы.

Был такой день, когда мы думали, что мятеж вспыхнет с минуты на минуту. В Иесте, под Толедо, гражданские гвардейцы убили восемнадцать крестьян за то, что те недостаточно быстро покинули землю, незаконно присвоенную одной частной компанией. Гражданские гвардейцы поспешили зарыть тела убитых, причем у одного из них так и остался мешок за плечами — это выяснилось впоследствии, когда его откопала обезумевшая от горя жена. Народ взволновался. Мадридские рабочие были в нерешительности. Фашисты приурочили свое выступление к тому моменту, когда, по их расчетам, в Мадриде будет объявлена забастовка протеста.

— Не бросайте работы,— настаивали коммунисты и социалисты.— Сохраняйте спокойствие ради спасения республики. Своей выдержкой вы спасете демократию!

Заговор провалился. В последнюю минуту мятеж удалось предотвратить.

Атмосфера сгушалась. Длительная забастовка строительных рабочих, осложненная саботажем предпринимателей, нерешительностью правительства и дезорганизацией, которую вносили анархисты, создала в Мадриде чрезвычайно тревожное положение. В кортесах разгорались страсти.

Однако планы фашистского мятежа были раскрыты вовремя. Новость распространилась по всей стране с молниеносной быстротой. Фалангисты слишком рано выпустили когти. Они захватили валенсийскую радиостанцию, а затем, когда выяснилось, что они поторопились, оставили ее. В помещении военной организации фалангистов были найдены документы, из которых явствовало, что в заговоре, ставившем своей целью свержение республики, принимал участие ряд генералов.

Вся Испания узнала о планах заговорщиков. Мы с Игнасио облегченно вздохнули. Теперь уж правительство обязано

принять меры! Теперь весь мир знает о заговоре, направленном против республики.

Но вечером двенадцатого июля Игнасио пришел с работы в полном отчаянии. Я его ни о чем не спрашивала. Все было понятно без слов. Наконец он взволнованно заговорил:

— Каждому идиоту ясно, что нужно делать. Арестовать Франко. Арестовать Могу. Арестовать всю их подлую банду. Сначала действовать, а объяснять — потом. Пусть их судят хоть через полгода, но арестуйте их сейчас, сейчас, пока еще не поздно! — Игнасио начал передразнивать своего начальника, но голос его дрожал от бешенства: — «Успокойтесь: вам всюду мерещатся какие-то призраки. Мы — демократы. Мы должны предоставлять свободу слова и другие свободы всем гражданам Испании».

— Включая фашистов, — добавила я с горечью.

Игнасио кивнул головой.

— И изменников, — продолжал он. — Их болтовня меня не страшит, но они готовят военный мятеж, у нас есть доказательства, и все-таки правительство не считает нужным арестовать их.

Едва мы забылись тревожным сном, как зазвонил телефон. Игнасио вскочил. Я тоже встала, охваченная волнением, ослепленная ярким светом.

— Умер? — услышала я голос Игнасио. Затем он вошел в спальню и стал одеваться.

— Они убили Хосе Кастильо.

Кастильо был командиром специально подобранным отряда штурмовых гвардейцев, одного из немногих полицейских отрядов, на которые можно было вполне положиться. Их казарма помещалась в небольшом доме, недалеко от нас, и Кастильо, идя на работу или возвращаясь домой, часто заходил к нам.

В эту роковую июльскую ночь он вышел с женой подышать свежим воздухом. Фашисты выстрелили ему в спину.

Игнасио ушел из дому в полночь. Весь следующий день народ ждал, что правительство арестует и накажет убийцу Кастильо. Весь Мадрид знал, что фашисты стреляли ему в спину. В полдень штурмовые гвардейцы, выйдя из казармы, прошли по улицам Мадрида. Они ждали распоряжений от правительства, но их не последовало. Тогда они решили сами учинить суд: они любили своего командира.

Спустя несколько часов гвардейцы вернулись в казарму. Кальво Сотело, один из недавно выдвинувшихся фашистских главарей, затмивший даже Хилия Роблеса, был мертв.

Мадрид затаил дыхание. Неужели правительство будет медлить еще хоть мгновение? Народ выступил на защиту республики. Пора выступить правительству.

Игнасио вернулся поздно ночью, совершенно измученный.

— Теперь правительство попытается в два дня сделать то, с чего надо было начать в тот самый день, когда мы одержали победу на выборах,— сказал он.— Но и сейчас оно не рискует принять чрезвычайные меры. Франко, Годед и Мола несомненно выступят раньше, чем мы сумеем помешать им.

Теперь я часто вспоминаю эти слова Игнасио. Но тогда я объяснила их тем, что он переутомлен, изнервничался, может быть, слишком возбужден, и оттого так мрачно смотрит на будущее.

Следующий день прошел спокойно. Я облегченно вздохнула. Мы уже наметили планы на лето. Лули была в детском лагере, в Эскоряле. Магазин, как всегда, закрылся первого июля. Инес уехала к своим родителям в Соединенные Штаты. У нас все уже было уложено. Но до отъезда я решила переехать поближе к военному министерству и к магазину. Я нашла квартиру, наняла монтеров и маляров. Игнасио не мог сейчас же ехать в отпуск, да и я решила остаться, последить за ремонтом. Фредди Бауэр, родственник известного мадридского банкира, пригласил нас пожить до отпуска у него, и мы с благодарностью приняли его предложение.

Похороны Кальво Сотело послужили поводом для фашистской демонстрации. На следующий день Хиль Роблес, снова ставший центром внимания, заявил в кортесах, что «кровь Кальво Сотело падет на головы тех, кто поддерживает Народный фронт», и прибавил: «Наша страна уже стала фашистской. Вряд ли нам еще придется долго разговаривать в кортесах. Недалек тот день, когда насилие, которое вы примените, обратится против вас самих». Правительство расценило его речь как объявление гражданской войны. Честные люди могли только пожимать плечами, слушая, как фашисты обвиняли в насилии Народный фронт. Насилие применил не народ. Кальво Сотело заплатил жизнью за жизнь сотен испанцев, павших в течение последних месяцев от руки фашистских убийц. Почему испанский народ должен оплакивать Кальво Сотело, новоиспеченного фашистского jefe, когда убит Кастильо и столько других республиканцев?

Настало семнадцатое июля 1936 года.

Игнасио вернулся домой к завтраку бледный, измученный. Он сказал, что Касарес послал его домой отдохнуть.

Когда мы пили кофе, зазвонил телефон.

— Если я вам нужен, я приду,— услышала я голос Игнасио,— но я очень устал и хочу спать. Нельзя ли все-таки обойтись без меня?

Пауза. И снова раздался голос Игнасио — внятный, спокойный, но какой-то очень напряженный:

— Хорошо, я приду немедленно.— Опять пауза.— Немедленно.

Он вошел в столовую.

— В Марокко военный мятеж,— сказал он.— Всякая связь с Африкой прервана. Возможно, что восстали и некоторые гарнизоны в Испании.

— Когда?

— Сегодня рано утром. Касарес знал об этом уже в десять часов, но он пошел на заседание кабинета и сказал об этом другим министрам вскользь, в конце заседания. А теперь он думает, что это довольно серьезно. И он послал меня домой спать!..

— Серьезно... — прошептала я.

— Это мятеж. Ну что ж, посмотрим, будет ли Испания фашистской.

Игнасио ушел из дому семнадцатого июля 1936 года в три часа дня.

IV

«ЛУЧШЕ БЫТЬ ВДОВОЙ ГЕРОЯ, ЧЕМ ЖЕНОЙ ТРУСА»

(1936—1939)

Семнадцатое июля 1936 года. Три часа дня.

Военный мятеж в Марокко. Игнасио ушел в министерство. Я осталась одна во всем доме. Это был очень жаркий день. Я отдернула штору и выглянула в окно. Уличный торговец катил свою тележку. Больше никого не было видно. Солнце ярко освещало мостовую. В Мадриде царил покой.

Семнадцатое июля 1936 года. Четыре часа.

Наверно скоро позвонит Игнасио. Он скажет: «Все в порядке. Предатели арестованы». Затем, через два-три дня, мы поедем отдыхать к морю, будем лежать на солнце и смотреть, как волны разбиваются о скалы.

Семнадцатое июля 1936 года. Пять часов.

В доме тихо, пусто. Теперь уж конечно, Игнасио скоро позвонит. Военный мятеж в Марокко. А что если это только часть заговора? Игнасио ждал этого. А если восстанет мадридский гарнизон? Народ будет защищать республику. Испания никогда не станет фашистской, пока существует испанский народ.

Семнадцатое июля 1936 года. Восемь часов.

Все еще жарко. От горячего ветра на лице выступает пот. Улица заметно оживляется: идут люди, о чем-то говорят. Я слышу голоса, но не разбираю слов. Может быть, о мятеже? О чем они говорят?

Девять часов.

Возвращается наш хозяин, Фредди Бауэр. Он побывал в нескольких кафе. В ресторане Молинеро, как всегда, сидят главари Сэды и монархистов. Фредди считает, что это хороший признак. Если мятеж представляет серьезную опасность, неужели правительство не арестовало бы фашистов?

Я посмотрела на него в упор.

— Вы думаете? — спросила я.

Фредди уткнулся в тарелку.

— Во всяком случае, настроение у них приподнятое, — сказал он с горечью, — они пили шампанское и провозглашали тосты. Они вели себя так, словно у них праздник.

После некоторого молчания Фредди прибавил:

— Народ будет защищаться, — конечно, если правительство предоставит ему эту возможность.

Семнадцатое июля 1936 года. Полночь.

Почему Игнасио не позвонил? Ведь он знает, что я одна в тихом, пустынном доме, что я жду его звонка. Он позвонил бы, я знаю, он непременно позвонил бы, если б мог. Значит, он страшно занят. Значит, мятеж представляет серьезную опасность.

Восемнадцатое июля 1936 года. Четыре часа утра.

Я сижу у окна в гостиной и смотрю на безлюдную улицу. Входит Фредди.

— Игнасио еще нет, — сказала я.

— Идите спать, Конни, никаких новостей, — ответил он.

Я ложусь, но не могу заснуть. Когда совсем рассвело, я встала, приняла ванну, оделась, выпила кофе. Горничная принесла утренние газеты. Заголовки невразумительные. Мятеж в Марокко не представляет серьезной опасности. Правительство является хозяином положения. Правительство приняло меры,

Приняло меры... Я снова сижу у окна, измученная бессонной ночью, и смотрю, как люди идут на работу. Такие же ли они, как всегда? Говорят ли они о мятеже?

Восемнадцатое июля 1936 года. Одиннадцать часов утра.

Пустой дом вздрогнул от резкого телефонного звонка.

— Игнасио! Ты здоров? Что происходит? Ты не придешь домой? Мятеж...

Его голос, резкий, отрывистый, перебивает меня:

— Я в военном министерстве. Почти всю ночь провел на аэродроме. Собрал всех моих пилотов, они ждут приказа.

— Но что...

— Конни! — Голос Игнасио показался мне очень громким. — Обещай мне одну вещь.

— Да, но...

— Обещай мне не выходить из дому. Понимаешь? Ни в коем случае не выходи из дому.

Я растерялась.

— Но почему же, Игнасио? Что происходит? — спросила я.

Игнасио положил трубку. Мне еще только предстояло постигнуть правила военного времени: бывают моменты, когда не все можно сказать по телефону.

Восемнадцатое июля 1936 года. Четыре часа.

Я немного поспала, но сон не освежил меня. Стало еще жарче. Радио у нас не работало. Но правительство распорядилось, чтобы все время работали уличные громкоговорители, и через открытые окна к нам доносился голос диктора: «Народ Испании! Слушай нашу радиопередачу! Слушай нашу радиопередачу! Не выключай свои радиоприемники! Предатели распространяют лживые слухи. Они сеют ужас и панику. Правительственные сообщения будут передаваться круглые сутки — слушайте правдивую информацию правительства! Включайте радиоприемники! Включайте радиоприемники!»

Напротив нашего дома, в маленьком кафе, где продавали фруктовые воды и сэндвичи, установили рупор. В крошечном садике, за свежевывкрашенными столиками, сидели люди, потягивали прохладительные напитки и — слушали. У стойки теснилась толпа и — слушала.

Мы с Фредди не могли больше оставаться дома. Нам хотелось побыть на людях. Вечером мы пошли в кафе, заняли один из столиков и стали слушать и радиопередачу и разговоры посетителей.

«Хозяином положения является республика», — раздавался голос диктора.

— Ага! — сказал сидевший недалеко от меня маленький

человечек своей полной, добродушной жене.— Теперь-то мы им покажем, этим паразитам! Расстрелять всех генералов, всех до одного!

Жена утвердительно кивнула головой.

«Президент Асанья переехал из своего дворца в Эль Пардо, в Национальный мадридский дворец».

Высокий франт, стоявший сзади меня, фыркнул.

— Ах, вот как! Правительство является хозяином положения! А Асанье все-таки пришлось переехать! Так, так!

Мой сосед встал.

— А ну, повтори, монархистское отродье!

Толпа отвернулась от громкоговорителя.

— Кто, кто это сказал?— раздались крики.

Франт незаметно скрылся.

— Я ничего не понимаю,— сказал Фредди.— Ради всего святого, что происходит?

Я покачала головой. Только бы вернулся Игнасио!

В полночь Фредди ушел, а я отправилась домой. Засыпая, я все еще слышала громкий голос диктора.

Под утро я внезапно проснулась. Было еще очень рано. Из соседнего дома через открытые окна отчетливо доносился голос диктора:

«Внимание! Испанский народ! Слушайте краткий обзор военных действий».

Окончательно проснувшись, я села на постели.

«Мятеж против республики, руководимый кучкой предателей-генералов, начался в Марокко. Пустив в ход гнуснейшую ложь, изменники уговорили своих солдат восстать против республики. Отдельные части марокканских войск переправлены в Испанию, где они безуспешно сражаются с правительственными войсками. В то же время другие участники заговора подняли против республики отдельные полки на севере и на юге. Там бои еще продолжаются, но мы уверены в нашей победе...»

Я поспешно начала одеваться. Мало-помалу все прояснялось. Заговор был тщательно подготовлен. Повидимому, по сигналу из Марокко должны были восстать гарнизоны во всей Испании. Но мятежникам не удалось захватить республиканцев врасплох. Восстали сравнительно немногие гарнизоны. Можно было рассчитывать, что республиканские войска останутся хозяевами положения.

Газеты меня несколько успокоили. Ведь я не знала, как не знал, сидя в военном министерстве, Игнасио, как не знал и весь испанский народ, что утром девятнадцатого июля

1936 года, когда испанцы, ничего не подозревая, спокойно вышли на работу, в Берлине и Риме два фашистских диктатора отдали приказ об отправке в Испанию войск, самолетов, крейсеров, автотранспорта, военных специалистов, инструкторов, боеприпасов, орудий, денег. Неравная борьба, борьба Испании против Германии и Италии, уже началась. Но мы этого еще не знали.

Часов в десять правительственное радио сообщило, что генерал Франсиско Франко, ненавистный генерал, посылавший марокканцев грабить и убивать астурийских горняков, вылетел в Марокко с Канарских островов, где он находился после того, как его сняли с поста начальника генерального штаба. Так, по отдельным деталям, мы смогли восстановить картину заговора в целом. Игнасио всегда говорил, что Франко крайне честолюбив. Генерал Годед умней его. Генерал Мола лучше знает военное дело. Но Франко — самый честолюбивый генерал.

Игнасио вернулся домой в воскресенье, в пять часов утра. Он не спал и почти не ел с четверга — с того дня, как он ушел из дому. Он был так бледен, худ и измучен, что я пожалела его и уложила спать, не спросив ни о чем.

Через несколько часов меня снова разбудило радио. Я поспешно закрыла окна, чтобы Игнасио не проснулся, выскользнула на улицу и стала слушать. Правительство Касареса подало в отставку. «Новое правительство возглавит Мартинес Баррио. Слушайте все! Включайте радиоприемники! Сейчас мы будем передавать состав нового кабинета!»

Через час Игнасио проснулся. За завтраком мы с Фредди забросали его вопросами. Игнасио вкратце рассказал нам главное. Мятеж гораздо серьезней, чем можно было предполагать. Заговор был тщательно обдуман. По плану заговорщиков, все мятежные войска из разных провинций соединятся и наступают на Мадрид. Правительство должно помешать этому. Единственная сила, на которую можно всецело положиться, — это объединенные в профсоюзы рабочие и партии Народного фронта. Однако республиканское правительство не хочет вооружать народ. Поэтому оно подало в отставку и на смену ему пришло еще более умеренное правительство, которое намерено заключить мир с мятежниками.

— Мир? — крикнула я, вскочив из-за стола. — Но ведь это означает победу фашизма? Народ никогда не...

Игнасио усмехнулся.

— Не волнуйся, Конни, — сказал он. — Я не думаю, что все кончено, утверждать так было бы легкомысленно. Марти-

нес Баррио не понимает создавшегося положения. Ему не удастся заключить мир с фашистами. Он этого еще не знает, но это так. Вы бы видели эти тысячные толпы перед военным министерством. Они там с четверга: целый день спокойно стоят с профсоюзными книжками, а спят в саду или на тротуарах. Ждут оружия, стоят и ждут.

Мы еще час слушали радио, но диктор так ничего и не сообщил о составе правительства Мартинеса Баррио. Игнасио отправился в министерство. Уходя, он опять взял с меня слово, что я не выйду на улицу. Фашистские снайперы стреляли в рабочих, в известных республиканцев и в кого попало.

По рассказам Игнасио я составила себе такую картину. Мятежники объявили военное положение в тех городах, где восстали гарнизоны. В ответ на это правительство Касареса, еще до отставки, издало приказ, согласно которому все солдаты, находившиеся под командой мятежников, имели право не подчиняться своим командирам. Им предлагалось либо присоединиться к войскам, оставшимся верными правительству, либо разойтись по домам. Рабочие ответили генералам-предателям общенациональной стачкой: это была слабая защита от бомб и артиллерии, но она ясно показала их настроение.

Мятежники опирались на две группы войск: на марокканцев, которых они убедили в том, что республиканское правительство намерено расправиться с ними в отместку за зверства в Астурии, и на наваррских карлистов, этих фанатиков, всегда готовых взяться за оружие «во имя бога и короля».

Начальник Наваррского военного округа генерал Мола должен был двинуться на Мадрид, заняв по дороге Страну Басков, которую наваррские карлисты ненавидели испокон веков. Генералу Годеду, составителю военного плана мятежников, предстояло разгромить Барселону и занять всю Каталонию и Балеарские острова, а генералу Кабанельясу, военному губернатору Сарагосы,—повести на Мадрид еще одну колонну, занимая по пути все крупные города. В Севилье горлодер Кейпо де Льяно рассчитывал на гарнизон и сыновей богатых скотоводов — андалусских сеньорито.

Таков был, в основном, план этого заговора, направленного против законного испанского правительства. Предполагалось, что не останется в стороне и гражданская гвардия, особенно в деревнях и селах, и что полиция в больших городах также поддержит фашистов. Вызывали сомнение лишь авиация и морской флот; во всяком случае, фашисты рассчитывали на

их нейтралитет. Мадрид, по их расчетам, мог продержаться неделю, в крайнем случае — десять дней. В стране будет установлена военная диктатура.

Но при первых же попытках осуществить этот план мятежники потерпели неудачу. Положение в Сарагосе оставалось неопределенным. Правительство Касареса послало туда командующего военно-воздушным флотом генерала Нуньеса де Прадо для переговоров с его старым другом, генералом Кабанельясом. Игнасио должен был сопровождать своего начальника, но в последнюю минуту его задержали в военном министерстве. Генерал взял с собой трех лучших штаб-офицеров. Самолет приземлился в Сарагосе. Офицеров расстреляли немедленно, а Нуньес де Прадо еще два месяца дожидался пули от своего «друга».

Самый неприятный сюрприз приготовила мятежникам авиация. Последние месяцы Нуньес де Прадо и Игнасио поработали немало, и теперь, когда разразилась катастрофа, тесно сплоченная группа пилотов, механиков и радистов, для которых мятеж не явился неожиданностью, арестовала офицеров-мятежников. Но всю авиацию спасти не удалось: трагедия, разыгравшаяся в Севилье, отняла у правительства немало летчиков и самолетов. Правительство дало приказ верным республике африканским летчикам запастись горючим и лететь в Севилью. Тем временем севильские летчики, которые вели неравную борьбу с превосходящими силами мятежников, были разбиты. И когда африканские летчики прилетели в Севилью, мятежники немедленно расстреляли их.

Военные моряки восстали против своих офицеров и задержали корабли, которые должны были перевозить марокканцев в Испанию.

В то утро, когда Игнасио ушел, в доме стало как-то особенно тихо и пусто. Радио все еще молчало: о правительстве Мартинеса Баррио ничего не было известно.

Фредди пошел послушать, что говорят в городе. Около трех часов он мне позвонил.

— Грандиозная демонстрация протеста против переговоров с мятежниками! — Фредди так волновался, что я его понимала с трудом. — Мадридский народ не хочет правительства Мартинеса Баррио. Он требует образования правительства Народного фронта и оружия для борьбы с мятежниками. Если бы вы видели эту демонстрацию, Конни! Поразительно!

Несколько тысяч мадридцев направились к сердцу Мад-

рида — Пуэрта дель Соль. Они шли стройными рядами, гордо и уверенно. Не сдаваться фашистам! Оружие — народу!

В то время как многие республиканские лидеры все еще считали мятеж, продолжавшийся уже четвертый день, чем-то вроде легкой стычки, мадридские рабочие и служащие сразу поняли, что произошло. Уже тогда, в июле, они были полны решимости бороться с фашизмом до конца и заставили все еще колебавшееся правительство подумать об обороне страны. Снова наспех перекроили состав правительства. Пост премьера занял Хосе Хираль, многие министерские портфели получили бывшие члены кабинета Касареса. Это еще не было правительство Народного фронта, в нем были представлены лишь республиканские партии, и все же народ одержал некоторую победу.

Но пока правительство медленно и нерешительно облакало страну в панцырь и доспехи, два фашистских диктатора уверенно и стремительно приближались к намеченной цели: к захвату богатого Пиренейского полуострова, с его шахтами, индустриальными районами, с его армией, морским флотом и базами для подводных лодок. Гитлер и Муссолини готовились к вторжению в Испанию в течение многих месяцев, и теперь они действовали с ужасающей быстротой. Пока мы сидели в Мадриде и говорили о создании народной армии, Гитлер уже отправлял в Испанию легион «Кондор», самолеты, военных техников, бомбы и патроны. Муссолини отдал приказ своей авиации вылететь в Испанию. Итальянские транспортные суда готовились к перевозке итальянских войск.

В июле 1936 года мы всего этого еще не знали, но кое о чем, конечно, догадывались. Когда мы смотрели на карту, нам становилось ясно, что Испания — богатая добыча для фашистов. И мы знали, что восставшие генералы не разборчивы в средствах и что они не постесняются призвать иностранные войска, чтобы задушить Испанию. В течение нескольких месяцев франкистские газеты писали о том, что для того, чтобы страна «успокоилась», «должны умереть» два-три миллиона испанцев. Но все наши догадки бледнели перед чудовищной действительностью. Прошли недели и даже месяцы, прежде чем мы поняли, что у нас не гражданская война, а фашистская интервенция.

В воскресенье, в четыре часа дня, неожиданно пришла весть о мятеже в мадридском гарнизоне. Фредди выскочил на улицу, и я осталась одна. Я металась по комнате, звонила дочерям Прието и проклинала себя за обещание, которое дала Игнасио.

Вечером я узнала, что народ штурмовал казармы Монтанья. Мадридские граждане были безоружны, у них была только одна старая пушка, и они с молниеносной быстротой передвигали ее с места на место, чтобы фашистам казалось, будто народ располагает целой батареей легкой артиллерии.

На другое утро я в первый раз в жизни проснулась от разрыва бомб. Я бросилась на балкон и увидела — над городом кружат два старых самолета. Над самолетами я заметила два белых дымка и снова услышала взрывы — звук, который потом стал таким привычным, что через год я уже просыпалась только от какой-нибудь особенно яростной бомбежки.

Но в это июльское утро все население Мадрида бросилось к окнам и на крыши, чтобы следить за действиями республиканских самолетов, бомбивших казармы Монтанья. Всю ночь правительственные громкоговорители приказывали забаррикадировавшимся фашистам сдаться, и всю ночь народ осаждал казармы. Теперь, когда войска мятежников шли на Мадрид, с этим вражеским гнездом надо было разделаться немедленно. Бомбардировщики должны были принудить фашистов сдаться.

Самолеты, трижды описав круг, скрылись. Через несколько минут зазвонил телефон: Игнасио сообщил о победе народа. Мадридцы, мужчины и женщины, проломили ворота казарм и захватили оружие, хранившееся в этом гнезде мятежников. Столица была в безопасности!

Этот день был полон событий. Когда мы завтракали, по радио сообщили о победе народа в Барселоне. Мятежники были разбиты во всей Каталонии. Их главарь, генерал Годед, попал в плен. Другой видный фашистский генерал, Фалхуль, был арестован при захвате казарм Монтанья.

Через несколько часов радио сообщило о смерти генерала Санхурхо, погибшего во время воздушной катастрофы в Португалии, когда он летел в Испанию, чтобы присоединиться к мятежникам. Падение на сенсацию иностранные корреспонденты напечатали сообщение о том, что Санхурхо должен был возглавить мятеж. «Гибель будущего главнокомандующего армией мятежников», — кричали заголовки.

Испанцы, конечно, только усмехались, читая эти сообщения. Старый генерал Санхурхо, поддерживавший диктатуру Primo de Rivera, был известен тем, что вся его энергия и предприимчивость уходила на сердечные дела. Даже в 1926 году, когда он был на вершине военной «славы» (ему удалось разгромить горсточку безоружных арабов), вся Ис-

пания знала, что бравый генерал Санхурхо — это, выражаясь мягко, самый знаменитый в стране «*bon-vivant*». Злые языки говорили, что Санхурхо гораздо больше одержал побед над женщинами, чем над марокканцами, и эта острота пользовалась большим успехом. После того как республика отменила ему смертный приговор, который он честно заслужил, подняв монархистский мятеж против юной республики, этот дамский угодник поселился в Португалии, где стал связующим звеном между наци и испанской военщиной. Если бы он и получил пост главы правительства, которое предполагали образовать мятежники, то лишь номинально.

В Мадриде циркулировали самые разнообразные слухи. Буквально из каждого провинциального города поступали противоречивые сведения. Игнасио приходил домой редко, полумертвый от усталости. Он был теперь неофициальным помощником Прието, который, не будучи официальным членом правительства, фактически являлся военным министром. Малодушное правительство, все еще стоявшее у власти, находилось в состоянии полнейшей растерянности. Прието и Игнасио требовали от военного министра выдать оружие народу. Когда же правительство стало, наконец, вооружать народ и формировать полки, военное министерство превратилось в сумасшедший дом.

Мадрид переживал тяжелую трагедию. Многие семьи, расставшиеся на летние месяцы, никогда уже больше не собрались вместе. Немало женщин и детей, отдохавших на курортах, были убиты фашистами, а мужья и отцы все еще в волнении ждали от них известий. При таких обстоятельствах погибла молодая жена известного журналиста и писателя Рамона Сендера. Она осталась одна на даче, недалеко от Мадрида, и фашисты, зная, что ее муж отчасти симпатизирует левым, расстреляли ее на глазах у детей.

Лули жила в летнем детском лагере, в Эскоряле, и сперва я была за нее спокойна. Радио уверяло нас, что в этом районе правительство одержало победу. Но когда друзья стали рассказывать всякие ужасы, мной овладела тревога. В одном сообщении, которое потом оказалось неверным, глухо упоминалось о том, что район Эскоряла в руках фашистов. Я потеряла голову. Я позвонила друзьям и попросила у них машину, потом позвонила Игнасио и сказала, что немедленно еду в Эскорял, за Лули.

— Сейчас нельзя, — ответил он. — Ни в коем случае. Подожди немного. Я уверен, что она в полной безопасности.

Я стала ждать. Я горько упрекала себя в том, что по-

слала Лули в лагерь. Что если фашисты узнают, кто ее отчим и мать! Что если они бомбят Эскорьял!

Через час позвонил Игнасио. Лули в полной безопасности. Эскорьял в руках правительственных войск. Дети даже не знают о мятеже. Руководители лагеря решили не пугать их. Лули весела, здорова и сильно загорела.

Я тяжело опустилась на стул и вытерла слезы.

Двадцать третье июля. С начала мятежа прошла неделя. В Мадриде фашисты потерпели поражение. Несколько тысяч подозрительных офицеров было арестовано. В результате убийства на улицах значительно сократились.

Целую неделю, пока вокруг меня разворачивались крупнейшие события, я просидела дома. Я знала, что сейчас республике очень нужна помощь женщин. Наконец я почувствовала, что больше не могу сидеть сложа руки, что я должна работать и приносить пользу стране.

Прежде всего я позвонила в мадридский военный госпиталь. Но там от моих услуг вежливо отказались. У меня не было ни медицинского образования, ни привычки к тяжелой работе в госпитале.

Огорченная неудачей, я позвонила члену ВРС Исавель Паленсия и предложила поехать вместе в Народный дом, где заседал комитет этой организации: я надеялась, что, может быть, там меня устроят на работу.

Мы условились встретиться у автобусной остановки.

После завтрака я с некоторой робостью вышла на улицу. Pistoleros все еще продолжали «работать», и хотя правительство убеждало недавно созданные рабочие дружины не стрелять в ответ, но milicianos, которые, разъезжая на грузовиках, патрулировали улицы, еще недостаточно осторожно обращались с непривычным для них инструментом. Идя по безлюдной улице, мимо вновь строившегося многоэтажного здания, я вдруг услышала громкий треск пулемета. От страха у меня захватило дыхание. Я стояла неподвижно и, конечно, представляла собой прекрасную цель для фашистских pistoleros, прятавшихся на постройке. Снова затрещал пулемет. Я не видела, близко или далеко пролетают пули, но знала, что стреляют в меня, так как кроме меня около постройки не было никого.

Я сознавала, что мне надо бежать. Но я не бежала. Я медленно повернула голову и стала смотреть на дом, закрытый лесами. Никого. Неожиданно из-за угла выехал грузовик — как раз в тот момент, когда снова затрещал пулемет. Грузовик был полон дружинников. Стоя на коленях,

они целились из винтовок. В ответ на пулеметную стрельбу они дали залп. Я услышала свист пуль.

В сотне шагов от меня валялся в канаве опрокинутый газетный киоск. Под свист пуль и треск пулемета я медленно, с трудом двинулась к этому легкому деревянному киоску, медленно опустилась на колени и укрылась за импровизированной низенькой деревянной баррикадой. Пулемет смолк. Дружинники бросились в дом, но там никого уже не было. Фашисты успели скрыться. Через несколько минут я вышла из-за прикрытия и увидела приближающийся автобус. Он остановился. Открылась дверца, и снова затрещал пулемет. Шофер подождал, пока прекратится стрельба, и только тогда повернул руль.

Автобус был переполнен, но я сейчас же увидела Исавель с дочерью. Они были центром внимания дружески расположенной к ним группы рабочих. Все знали, что Исавель Паленсия — активный деятель социалистической партии, и внимательно слушали ее, а она говорила о том, что мы должны сохранять спокойствие и не поддаваться на провокацию еще не арестованных фашистов.

— Стрельбой с балконов и из окон фашисты пытаются вызвать панику и тревогу, — предупреждала Исавель.

Не успели мы сойти с подножки автобуса, как вокруг нас снова затрещали выстрелы. Мы бросились вслед за толпой к метро.

Там уже было полным-полно, а народ все прибывал. Поезда не ходили: метро превратилось в убежище. Тут только я поняла, что значит для рабочих и служащих ежедневно ходить на работу, в то время как подлые pistoleros беспрерывно стреляют из-за угла.

По лестнице спускалась заплаканная женщина. Она еле двигалась. Волосы у нее свисали на искаженное мукой лицо. Два молодых человека, видимо, незнакомых, вели ее под руки.

— Что с вами? — участливо обратилась к ней Исавель.

Женщина зарыдала — громко, отчаянно, безутешно. Затем, немного успокоившись, она стала рассказывать:

— Я шла с братом мимо отеля «Палас», недалеко отсюда, но вдруг раздались выстрелы, и мой брат...

Один из молодых людей досказал за нее.

— Его убили, — тихо проговорил он.

При этих словах женщина снова зарыдала.

— Он был еще совсем мальчик! — почти выкрикнула она. — Совсем мальчик!

Через полчаса мы все вышли из метро. Несколько человек вызвались помочь женщине разыскать тело брата. В толпе многие плакали.

Здание ВРС окружали полицейские и дружинники. Исавель показала свой членский билет, и мы вошли в битком набитую комнату. Кто сидел на деревянных скамьях или на полу, кто спал вповалку, кто стоял в очереди. Тут были каменщики, рабочие стальной, электрической и других отраслей промышленности — все члены ВРС. Здесь впервые услышали мы новое приветствие. Им обменивались люди, стоявшие в очередях, и оно переходило из уст в уста:

— Salud! Salud! Salud!

Salud! Мы повторяли про себя это приветствие Народного фронта, прибавив его к тому новому запасу слов, который появился у нас в эти тревожные дни войны.

Исавель попыталась пробиться к руководителям ВРС, которых она знала лично, но это оказалось совершенно невысказано. Сотни людей ждали, чтобы их приняли профсоюзные лидеры. Тогда мы тоже заняли места на деревянной скамье и стали ждать своей очереди к сотруднику, ведавшему набором женщин-добровольцев.

Люди, собравшиеся в этот жаркий июльский день в Народном доме, были потные, растрепаны. Большинство мужчин были в комбинезонах — так называемых топо: эта форма появилась так же внезапно, как и приветствие salud. В топо люди шли на фронт, и первые бои разыгрались между одетыми в полную боевую форму фашистами и добровольцами в синих рабочих комбинезонах.

Эта толпа, заполонившая все помещение ВРС, вселила в меня чувство гордости и уверенности в своих силах. Хотя многие выглядели очень усталыми и у них было такое же озабоченное, настороженное выражение лица, как у Игнасио, но они не нервничали, не шумели и не притворялись беспечными. Те же люди, что взяли штурмом казармы Монтанья, что недоедали и недосыпали в течение целой недели, теперь спокойно ждали приказаний. Испанский народ приучался к дисциплине.

Представитель комитета принял нас вежливо и приветливо, сразу согласился предоставить работу Исавель, но ее дочери и мне отказал наотрез. ВРС направляет на работу только своих членов, — объяснил он. Сначала я разозлилась, а потом поняла, что это разумно. Иначе на фабрики, на телефонные станции, в такси и в автобусы могут прокрасться фашистские шпионы. ВРС должен отвечать за женщин, ко-

торых он посылает вместо ушедших на фронт мужчин. Что касается работы в госпиталях, то это тоже очень щекотливый вопрос. Ведь госпитали тесно связаны с фронтом. Конечно, мы понимаем, какую осторожность должен проявлять в этом отношении профсоюз?..

Мы с Марисой, дочерью Исавель, вышли из ВРС с неменьшим желанием во что бы то ни стало найти работу, но нас порадовало сознание ответственности и та строгая дисциплина, какую мы там наблюдали.

Автобус, который вез нас обратно, был набит людьми в топку. Они спешили домой за вещами и в тот же день должны были выступить на фронт. Всю дорогу мы вели оживленный разговор. Когда я вышла на своей остановке, они приветливо помахали мне рукой. Мне опять пришлось присесть под выстрелами *pistoleros*.

Дома меня ждала телеграмма от родителей, из Парижа: они просили сообщить, что со мной. С горьким чувством прочитала я эту телеграмму. Последнее время мы с Игнасио подозревали, что мой отец принимает деятельное участие в подготовке мятежа. Его электрокомпания была тесно связана с германскими фашистами, и из его намеков можно было понять, что он играет роль некоего посредника между ними и испанскими мятежниками.

То, что он увез семью за границу накануне мятежа, могло быть простой случайностью, но все-таки я ответила родителям довольно холодно. Играл ли мой отец активную роль в подготовке мятежа или нет, все равно, я знала, что он его финансировал. Может быть, это на его деньги были куплены винтовки, из которых стреляют *pistoleros*. Я телеграфировала родителям, что здорова, и посоветовала им задержаться на несколько дней во Франции, пока правительство не восстановит в Испании порядок. Отец ответил, что вернется с матерью и братом в Ла Мату, через Португалию.

Это были последние сведения, которые я получила от моих родителей непосредственно.

Утром я позвонила Марии, жене Фернандо, одного из наших лучших и честнейших пилотов. Она, как и я, целые дни сидела дома одна. У нее было четверо детей, но она решила оставлять их с няньками и подыскивать работу, которая могла бы принести пользу республике. Вместе с ней мы пошли к Тересе Гонсалес Хиль.

Я училась с Тересой в одной школе. Дочь мадридских буржуа, она вышла замуж за известного молодого пилота,

разделявшего политические взгляды своей аристократической семьи. Но за последнее время он сильно изменился. В 1930 году он принимал участие в восстании воздушного флота и эмигрировал в Париж. Тереса оставила свою почтенную семью и отправилась с мужем в изгнание.

Тереса никогда не отличалась храбростью, теперь же присутствие духа окончательно покинуло ее. После установления республики ее муж демобилизовался, открыл на кооперативных началах авиационный завод и совсем недавно получил правительственную премию за конструкцию самолета нового типа. Мятеж разразился как раз в то время, когда юная чета только начала процветать. И теперь муж Тересы оставил свой завод, жену и ушел на фронт с полком, составленным из рабочих его завода. Он находился на Гвадарраме, защищая подступы к Мадриду от фашистских полчищ.

Нам с Марией не сразу удалось ободрить Тересу. Она говорила, что в муже вся ее жизнь. У нее было предчувствие, что его убьют. Может быть, он уже убит? Что она без него будет делать?

Мы убеждали ее взяться за работу, которая поможет ей отвлечься, и наконец она согласилась. Затем, уже втроем, мы направились к Трини, жене другого пилота, а от нее — к Конче Прието, старшей дочери министра, самой доброй, отзывчивой и умной из всех его детей.

Укомплектовав мой «полк», я стала осаждать служащих правительственных учреждений. В частности, я позвонила одной знакомой, работавшей в комитете по охране малолетних, и опросила, в каком положении находятся дети, которых прежде опекали монашеские ордена.

Это требует некоторого пояснения. Дело в том, что детские благотворительные учреждения, существовавшие при монархии, постепенно переходили в ведение республиканского правительства. Не потому, чтобы правительство желало этого, а потому, что у него не было иного выхода. Ибо как только в стране установилась республика, монархисты и фашисты отказались финансировать сиротские дома и благотворительные школы, которые они до сих пор содержали. «Теперь этим должно заняться правительство,— цинично заявляли они.— Почему мы должны заботиться о бедных? Пусть о них заботится их собственное правительство». Министерство юстиции сейчас же отдало распоряжение перевести сиротские дома на содержание правительства, но управление ими осталось в руках тех, кто ведал этими учрежде-

ниями еще при монархии,— факт, характерный для республиканского правительства.

Я кое-что знала о злополучных приютах и школах для детей мадридских бедняков. Большинство этих учреждений помещалось в домах, лишенных каких бы то ни было удобств. В частности, я хорошо помнила один небольшой монастырь в предместье Мадрида, так называемый Ла Гиндалера, в котором жило восемьдесят мальчиков в возрасте от шести до двенадцати лет. В 1935 году я посетила его вместе с одним австрийским журналистом, который желал ознакомиться с состоянием общественной «благотворительности» в испанской столице.

Прежде всего мы увидели самих мальчиков. Грязные, оборванные, худые, все в болячках, они играли во дворе на кучах мусора. Мы позвонили. Старая монахиня отворила садовую калитку и провела нас в дом. Окна в приемной были выбиты и заткнуты тряпками.

К нам вышла старая, маленькая, жирная игуменья. Когда она говорила что-нибудь, вернее шамкала своим беззубым ртом, ее морщинистое лицо все тряслось.

— Иностранный журналист желает посмотреть, как живут испанские мальчики-сироты,— сказала я, но она как будто не поняла.

Мы вошли в классную. Стены ее были покрыты грязью всевозможных цветов и оттенков, неопишуемых и непередаваемых. За партами сидели мальчики и что-то ели: по всей вероятности, иного назначения у парт в этой школе не было. Рядом с классом находилась кухня, где на полу были свалены в одну кучу грязная посуда, остатки пицци, мусор и всякая всячина. Тараканы разгуливали по полу и взбирались на столы. Меня чуть не стошнило.

Я привела сюда журналиста, чтобы показать ему разницу между старым приютом и новым клубом для мальчиков, который мы недавно открыли по соседству. Это был обыкновенный клуб,— такие мы открывали во всех рабочих районах Мадрида. В нем мальчики могли проводить время после школы, а те, кто не посещал ее, проводили тут целый день: зимой — в помещении, летом — в саду. В клубе были книги, игры, здесь обучали столярному делу, музыке, рисованию.

Контраст оказался гораздо резче, чем я ожидала. Мне было стыдно и больно, что в 1935 году в Мадриде могли существовать такие чудовищные учреждения. Этого мало: мадридские богачи заявили, что они закроют и этот приют,

если правительство не будет его финансировать. Тогда средства на содержание восьмидесяти мальчиков стало отпускать, через посредство комитета по охране малолетних, министерство юстиции, но «воспитатели» остались прежние. Позднее, когда в этом сиротском приюте разыгрался грандиозный скандал, нам объяснили, что приют, а следовательно, и «воспитание» мальчиков, были доверены дряхлым монахиням, которых нельзя было использовать на другой работе и которых направили в этот приют как в богадельню, где они могли бы спокойно доживать свои дни. Однако это вряд ли могло оправдать все то, что я здесь увидела.

Монастырь Ла Гиндалера не многим отличался от остальных приютов, в которых находилось три тысячи сирот. Конечно, после победы Народного фронта в феврале 1936 года, некоторый сдвиг все же произошел. Отдельные приюты были переведены в лучшие помещения, монахиням, которые продолжали заниматься воспитанием детей, было приказано учить их, по крайней мере, читать и писать. Но теперь, в связи с войной, положение резко изменилось. Многие монахини бежали, многие совсем забросили детей и только и делали, что читали молитвы. Правительству пришлось взять заботу о детях на себя.

Монахини оставили детей на произвол судьбы потому, что они ждали молниеносной победы мятежников, а вовсе не из страха перед победой народа, которая им ничем не угрожала: в первые дни мятежа не было никаких антирелигиозных демонстраций. Правда, несколько церквей сожгли, но ведь в них были обнаружены пулеметы и винтовки. Народ уже не испытывал благоговения к алтарю, в котором хранились пули, предназначенные трудящимся Мадрида. Пострадали только те священники, о которых прихожанам было известно, что они ярые сторонники фашистов.

Я знала, что монахини бросили детей. Поэтому я отправилась со своими «новобранцами» в комитет по охране малолетних. Ответственный секретарь принял нас очень любезно — и тут же забыл о нас. Битый час сидели мы в его кабинете и слушали, как дружинники, один за другим входившие к нему, докладывали, что такой-то и такой-то приют оставлены монахинями, и спрашивали, что делать с детьми.

Здесь все были страшно растеряны: совсем не то, что в ВРС. Чиновники, служившие здесь еще при монархии или при первом республиканском правительстве, метались, как угорелые, и ничего не делали.

Наконец секретарь вышел из себя:

— Я не знаю, что нам делать! У нас много свободных помещений, у нас сотни брошенных сирот, и нет ни одного надежного человека, который взял бы на себя заботу о детях.

— Об этом мы все утро и хотим с вами поговорить,— вмешалась я.— Мы пришли сюда предложить свои услуги.

— Очень мило,— поклонился он,— но нам нужны женщины, которые могли бы готовить, мыть полы и посуду. Все помещения, которые мы получили, находятся в ужасном состоянии. И весь вопрос в том, что у нас нет денег. Мы уже израсходовали почти весь годовой бюджет, а сейчас едва ли подходящий момент, чтобы просить новых ассигнований.

Я попыталась прервать его, но он поднял руку. Он, видимо, приготовил небольшую речь и решил во что бы то ни стало произнести ее.

— Нам не только необходимо позаботиться о детях, оставленных монахинями,— внушительно заговорил он,— мы должны также подыскать помещения для тысяч уличных детей — продавцов газет, лотерейных билетов и так далее. Мы не можем оставить их на милость фашистских снайперов. Уж и так имеется много жертв.

Он сделал страдальческое лицо.

— Да, но...— попробовала возразить я. Но он еще не кончил.

— Вчера меня посетили профсоюзные работники и рассказали, что у тысяч детей отцы ушли на фронт, а матери заняли их места на заводах. Нам нужно приютить этих детей. Профсоюзы намерены открыть детские дома на свои средства. Но мы — правительственное учреждение. Мы должны вестись всем. Мы должны показать пример.— Он вздохнул, опять уткнулся в свои бумаги и прибавил:

— Но как? Как? Я завален работой. Я не знаю, за что взяться.

— Послушайте, нас здесь пять здоровых женщин,— заговорила я.— У всех нас есть дети, и мы знаем, как с ними обращаться. Мария и Тереса прекрасно готовят, а мне не в первый раз мыть полы.

Секретарь улыбнулся и только покачал головой. Но мы продолжали сидеть. Секретарь попробовал пошутить. Но мы сидели с каменными лицами. Секретарь забеспокоился. Он думал, что мы очень влиятельные дамы. Каждый раз, когда он взглядывал на Кончу Прието, его бросало в дрожь.

В конце концов вышло по-нашему. Дружинник повез нас на Травесия дель Фукар.

Несколько минут мы тряслись по скверной булыжной мостовой, потом машина остановилась, шофер открыл двери, и мы очутились в XVII веке.

Перед нами тянулась узкая старинная улица. В нескольких шагах возвышалось массивное и, вместе с тем, стройное здание монастыря с двумя небольшими башенками. За монастырем виднелся сад, обнесенный высокой каменной стеной.

В этом монастыре помещалась школа для девочек среднего сословия, но все они разъехались на летние каникулы, а монахини бежали.

У ворот мы остановились в нерешительности, и нас сейчас же окружила толпа. В окнах и дверях соседних домов появились удивленные лица.

— Почему ушли монахини? Разве им что-нибудь угрожало?— спросила я.

Полная, добродушная женщина в широкой ситцевой кофте засмеялась.

— Нет, сотрагедо¹,— ответила она,— никто их не трогал, никто их не тнал. Просто их запугали друзья и родные, да и капеллан велел им уйти.

— Зачем вы пришли?— спросила одна женщина, высунувшись в окно.— Вы от монахинь? Вы пришли взять что осталось в монастыре?

— Теперь все принадлежит правительству!— крикнул мужчина.— Вы ничего не получите.

Мы засмеялись. Дружинник рассказал, зачем мы приехали. Женщины заговорили разом:

— Значит, вы будете ухаживать за детьми бесплатно?

— А мне можно будет посылать к вам моих двух ребят? Ведь они меня прямо с ума сводят, целый день играют в канаве...

— За девочек, которые учились в монастыре, платили. Какая же это школа для бедных! А вы тоже будете брать деньги?

— Мы будем вам помогать. Позовите нас, если что будет нужно.

Мы дали обещание нашим будущим соседям, что их дети будут играть с нашими новыми питомцами, и этим сразу

¹ Товарищ.

завоевали симпатии женщин. Им казалось невероятным, что монастырь, так долго живший обособленно от всего квартала, теперь сольется с ним, войдет в их жизнь. С тех пор стоило нам появиться на улице, как нас встречали улыбками и приветствием *salud*.

Дружинник нашел ключ, и мы вошли в монастырь. После того как монахини покинули его, там был произведен обыск: искали оружие. В зале стояли четыре уродливых комода с выдвинутыми ящиками. На полу валялись старые католические журналы, пыльные тряпки, электрические провода и штепсели. Мы обошли весь монастырь. Оказалось, что это очень поместительное, но ветхое и запущенное здание. Кухня представляла собой отвратительное зрелище. На тарелках лежали остатки последней трапезы монахинь. За эти три жарких июльских дня пища испортилась. Красные кафельные полы в кухне и в кладовой покрывал живой ковер из тараканов.

Взглянув на бледные лица моих спутниц, я почувствовала, что сама бледнею при виде тараканьих полчищ, которые при нашем приближении бросились врассыпную.

— Разве мы не жены героев? — несколько неуверенно проговорила Мария. И мы бодро принялись за дело.

Прежде всего надо было распределить работу. Две из нас должны были работать на кухне, двум поручалось привести в порядок помещение. Меня выбрали начальницей: в мои обязанности входило вести все счета, заказывать обеды, составить расписание уроков, заботиться об одежде для детей, купанье, прогулках. Но все эти заботы появились значительно позже. А в этот день нам предстояло вымыть полы, выбросить всюду валявшиеся тряпки, приготовить для детей ужин и постели: дети должны были прибыть в тот же вечер.

Не прошло и часа, как явился ответственный секретарь.

— Сможете ли вы перед сном накормить детей? — спросил он.

Я посоветовалась с Марией и Тересой. Они заявили, что кухня оказалась в гораздо худшем состоянии, чем они предполагали. Прежде чем топить, надо вычистить трубу, затем нужно отскрести ножом тарелки, кастрюли и сковороды, а уж потом взяться за мыло и горячую воду. Кроме того, совсем не так приятно, когда во время приготовления ужина всюду шныряют тараканы. Мария и Тереса уже заказали порошок, чтобы посыпать полы. Для мытья кухни им понадобится больше часа.

Однако, услышав, что дети голодают уже целую неделю, то есть с того дня, как монахини повели их в церковь молиться о победе «избранников божьих» (так они называли мятежников), Мария и Тереса не стали больше спорить. В монастыре было много кроватей. Мы выяснили, что можем принять восемьдесят человек.

В этот вечер большой автобус привез пятьдесят детей, которых сопровождал представитель комитета. Он забрал их из монастыря, стоявшего на окраине Мадрида: там прошла вся их жизнь. Почти все они казались очень испуганными. Некоторые тихо плакали, одна девушка, лет семнадцати, истерически кричала. На всех были грязные платья из дешевой черной фланели, за плечами висели холщевые мешки, в которых лежало рваное белье. Волосы у детей были грязные, нечесанные, на лицах были видны следы бессонницы и слез. Двигались они покорно, как стадо овец, говорили между собой взволнованно, но вполголоса.

Я не могла удержаться от слез. Я никогда не видела ничего печальнее этой первой группы детей. Но сейчас не время было проявлять свои чувства. Если мы хотим успокоить детей, то должны сами держаться возможно естественнее, должны показать им, что не произошло ничего особенного. Мы повели их в смежную с залой гостиную, где монахини, вероятно, принимали своих самых почетных гостей. Это была большая квадратная комната, где стояли два неудобных дивана с прямыми спинками, весьма непрочные стулья, обтянутые какой-то бесцветной материей, и покрытый белой вышитой салфеткой круглый стол на трех ножках, на котором стоял чахлый цветок. На стенах висели два громадных изображения страстей господних.

Видно было, что детям внушала страх эта «роскошная» обстановка. Мне пришлось сказать им несколько слов. Мои помощницы не хотели говорить. Да к тому же ведь я — начальница! Я взяла себя в руки, постаралась улыбнуться и сдержать непрошеные слезы.

— Мы надеемся, что вам здесь будет хорошо, — начала я. — Не надо говорить так тихо, вы можете говорить громко, можете смеяться. Вы будете здесь играть, веселиться. У нас прекрасный сад. Завтра сюда приедут другие дети. А свои мешки вы можете оставить здесь. Сейчас мойте руки, и мы вас покормим.

Дети, видимо, были удивлены. Трое или четверо смельчаков стали робко задавать вопросы:

— Разве мы здесь будем жить?

— Значит, сестры говорили неправду?

Одна маленькая девочка захныкала:

— Не говори ей, что сказали сестры, не говори!

Но заговорило сразу несколько голосов:

— Сестры сказали, что вы будете нас бить, а дружинники — насилловать.

Это грубое слово странно и жутко прозвучало в устах девочек — ведь большинству из них не было еще и двенадцати лет! Так вот чем была вызвана истерика старшей девочки, бедной Аны Марии, которую в соседней комнате старалась успокоить Конча Прието! Сестры покинули детей, оставили их без еды, без присмотра, предупредив, что теперь они попадут в руки злых людей из Народного фронта, которые будут с ними жестоко обращаться, будут их обижать. Неудивительно, что у детей были заплаканные и испуганные лица.

Возмущению нашему не было границ.

Даже если обманутые сестры сами верили этим нелепым рассказам, они не смели запугивать детей и оставлять их одних!

Наш обед имел большой успех, хотя нам он казался очень скромным, и мы боялись, как бы дети не подумали, что мы всегда будем их так кормить. Мы приготовили салат; никто из детей никогда не ел его прежде, и они пришли от него в восторг. На сладкое мы подали рисовый пудинг с молоком и сахаром: это им тоже очень понравилось. А главное, мы позволили им разговаривать во время еды. Вспоминая свои школьные дни, я хорошо понимала их радость.

Но особенно памятно нам купанье наших девочек. В монастыре была низенькая старинная ванная комната, похожая на чулан. Здесь стояли две обыкновенные ванны, а у стен — двенадцать ножных.

Мы позвали двух старших девочек и велели им садиться в ванны, а сами принялись мыть малышей в ножных. Но обе девочки стояли около ванн и не двигались. Видимо, им было стыдно раздеваться при нас, но они отговорились тем, что никогда в жизни не принимали ванны. Мы отыскали для них две ширмы и на этом успокоились. Нам и в голову не могло притти, что не менее трудно будет купать малышей. Я подошла к хорошенькой черноволосой и черноглазой Энрижете, расстегнула ей тяжелый, грязный черный передник, сняла толстые черные чулки и изношенные башмаки. Но когда я попыталась снять заскорузлую от грязи рубашонку, она начала вырываться и все что-то кричала, чего я сразу

не смогла понять, так как она шепелявила. Наконец я разобрала.

— Это грешно! — твердила она сквозь слезы. Ей было четыре года!

Хотя в спальнях царил страшный беспорядок, — постели стояли неубранные, на полу валялась одежда монахинь, — нам все же удалось приготовить для наших новых питомиц два дортуара на пятьдесят кроватей с довольно чистым бельем. Нам казалось, что девочки будут чувствовать себя менее одинокими и несчастными, если мы позволим подругам спать на соседних кроватях. Когда же девочки робко начали искать себе подруг, Конча и Тереса не выдержали и отошли в угол поплакать. Этим девочкам запрещалось иметь подруг! Я вспомнила, что и меня в детстве лишали дружбы и привязанности, а ведь этим бедняжкам было еще хуже: у многих из них не было семьи, они знали только монастырь, и теперь им не верилось, что им позволили иметь подруг. Некоторые так оробели, что не решались подойти к тем девочкам, рядом с которыми им хотелось лечь спать.

На третий день мы пригласили парикмахершу и попросили вымыть восемьдесят головок, имевших такой вид, словно их никогда прежде не мыли. Парикмахерша только покачала головой. Почти всех девочек надо было коротко остричь, и весь день мы с Марией натирали им головы уксусом и другими специями. Только у десяти девочек не оказалось вшей! Мы не могли удержаться от смеха при виде того, как эти десять счастливиц гордились и важничали.

Вымыв и одев наших питомиц в чистые платья, мы пригласили врача. У десяти девочек он нашел туберкулез и другие серьезные болезни. Остальные страдали худосочием, некоторые — острым малокровием, у многих оказалась трахома.

Я никогда не забуду, как мы отправляли их в больницу. Дети пытались сдержать слезы, отчего их красные веки становились еще красней. Они уже успели привязаться к нам, и мы должны были очень осторожно объяснить им, что это опасная заразная болезнь. Мы обещали, что, как только они выздоровеют, мы снова возьмем их к себе.

Я вызвала из лагеря свою дочь. Она приехала загорелая, веселая и с восторгом принялась помогать мне в детском доме. Девятилетняя Лули старалась делать для восьмидесяти девочек то, чего не могли сделать мы, взрослые женщины: она старалась научить их играть. Девочки так долго жили

в монастыре, где им запрещалось разговаривать, что и теперь, выйдя в сад и разбившись на группы, они стояли молча и смущенно переминались с ноги на ногу.

В эти летние солнечные дни над нами витала смерть. Страшная весть пришла к нам в монастырь: на фронте был убит муж Тересы. Мы с Марией ничем не могли помочь ее тяжкому горю. Но, как у всех испанских женщин, столкнувшихся с первыми несчастьями в эти первые дни гражданской войны, воля наша закалялась. Мы в первый же день мятежа решили бороться с фашистами до последней капли крови. Когда же мы увидели, сколько горя несут они с собой, то исполнились еще большей решимости.

Игнасио назначили командующим военно-воздушным флотом республиканской Испании. Он летал на «консервных банках» — так мы называли старые, почти непригодные самолеты, которыми располагала наша авиация. Два раза он возвращался на самолете, изрешеченном пулями, а однажды — с мертвым летчиком-наблюдателем. Он никогда не рассказывал мне об этом, а я не признавалась, что мне это известно.

В монастыре для детей наступила спокойная, размеренная жизнь. К счастью, они были еще слишком малы, чтобы понять, что в эти дни мы переживаем величайшую трагедию. Они вставали рано, и все соседи собирались смотреть, как они занимаются в саду гимнастикой. После завтрака начинались уроки чтения и письма, потом дети играли, а иногда ходили в музеи, которые еще не были закрыты. Часто к нам приходили сотрудники *Milicia popular*¹, показывали кинокартины, декламировали стихи, играли и пели. Мы учили детей пению, и часто вечерами, после ужина, они пели испанские народные песни.

За несколько недель в детях произошла разительная перемена. Они окрепли, хорошо загорели. До поступления к нам они были неграмотными, а теперь большинство читало детские книжки с веселыми цветными картинками. Впервые они были счастливы. И как мы, взрослые, сжились с печалью, так дети, наконец, сжились со счастьем. Иногда их приходили проводить родственники, и не одна из этих «тетушек» пыталась броситься на колени и целовать нам руки за то, что мы сделали счастливой ее Кончиту.

¹ Организация, созданная передовой испанской интеллигенцией для культурной работы в рядах республиканской армии и среди гражданского населения.

Положение на фронте было серьезное, но не катастрофическое. Мы были уверены, что мятеж долго не продлится. Единодушный ответ народа на призыв правительства стать под знамена демократической Испании являлся вернейшим залогом нашей победы. Мадрид и Барселона находились в руках правительства, а также весь юго-восток и северо-восток, от побережья Средиземного моря по направлению к Пиренеям, и дальше, миль на пятьдесят к северо-востоку от Мадрида. Кроме того, у нас оставалось кантабрийское побережье, на крайнем севере Испании.

Мы располагали огромной армией, правда, еще не обученной и не вооруженной,—мы располагали колоссальным количеством живой силы. Нас поддерживала большая часть военно-морского флота, штурмовая и почти вся гражданская гвардия. Если бы только нам удалось закупить самолеты, винтовки, орудия, боеприпасы и прочее, мятежники были бы вынуждены сдаться, и все кончилось бы с минимальным числом человеческих жертв.

Но мы не могли предвидеть, что законное, всеми признанное испанское правительство, пришедшее к власти после всеобщих выборов, встретит препятствия при закупке военных материалов, необходимых для разгрома остатков мятежных войск.

Двадцать седьмого июля мы узнали страшную весть: французское правительство отказалось продать нам оружие!

Почему? Это было непонятно. Мы знали, что французские реакционеры оказывают давление на французское правительство Народного фронта, но чтобы премьер-министр, социалист, отрицал право законного, признанного правительства на покупку оружия для подавления фашистского мятежа!.. Нет, это просто чудовищно! Это безумие! О чем думают французы?!

Тридцать первого июля Игнасио сообщил еще более страшную весть: в Испанию вторглись итальянцы. Итальянские самолеты снизились на территории мятежников, некоторые, сбившись с пути, сделали вынужденную посадку во Французском Марокко. Документы, найденные у итальянских летчиков, были датированы шестнадцатым июля, а шестнадцатое июля — это канун мятежа. Муссолини отрицал этот факт, так же как Гитлер отрицал посылку оружия и военных специалистов. Когда же война кончилась, оба диктатора стали хвастаться, что они принимали участие в подготовке мятежа и с первого же момента начали оказывать

изменникам-генералам всякого рода помощь: войсками, самолетами, танками, перевязочными средствами.

Италия продолжала поставлять мятежникам «Капрони», «Фиаты», «Савойя» (четыре самолета марки «Савойя» разбиты на территории Французского Марокко, на пути к мятежникам). Немецкие броненосцы воспрепятствовали нашему флоту бомбардировать города, занятые мятежниками в Испанском Марокко. Так, третьего августа «Дейчланд», вместе с несколькими немецкими эсминцами, медленно маневрируя вдоль порта Сеута, не давал возможности нашему крейсеру «Хайме I» и другим испанским боевым кораблям обстреливать порт.

Немецкие бомбардировщики и истребители, «Юнкерсы-52» и «Хейнкели», пилотируемые немецкими летчиками, снизились в Севилье и Кадисе. Теперь они перевозили на полуостров офицеров и солдат Иностранного легиона, и каждый день войска мятежников значительно пополнялись марокканцами и белыми наемниками.

Немецкое военное судно «Камерун», пытавшееся войти в Кадисский порт, было задержано в испанских территориальных водах и обыскано испанскими моряками: они обнаружили на корабле нефть, предназначавшуюся для мятежников.

От начала и до конца писала правду об Испании только одна страна: Советский Союз. Даже те испанцы, которые никогда прежде не слышали о ней, неожиданно узнали в эти августовские дни, что единственный народ, не покинувший нас в нашей борьбе за демократию,— это советский народ. Все испанские газеты огромными буквами напечатали сообщение о том, что советские рабочие в первый же месяц войны собрали для испанского народа четырнадцать миллионов рублей.

Эта весть помогла нам перенести потерю Бадахоса, небольшого городка на португальской границе. Бадахос пал тринадцатого августа. На его долю выпала «честь» быть первым испанским городом, разгромленным итальянскими и немецкими самолетами. Жители Бадахоса войдут в историю как первые испанцы, погибшие от бомб иностранных фашистов. Впоследствии мы привыкли к ужасам войны, но первое время мы почти не в состоянии были читать в газетах рассказы очевидцев и смотреть на снимки страшной бойни, которую марокканцы и легионеры учинили в этом мирном городке, заняв его после длительной воздушной бомбардировки. Бада-

хосская бойня, происходившая на арене для боя быков, потрясла весь мир.

События в Бадахосе лишней раз показали, как мы нуждались в самолетах, квалифицированных летчиках и механиках. Когда начался мятеж, у нас было около семидесяти старых машин: это были, главным образом, французские «Брегеты» выпуска прошлого столетия. Спустя месяц после начала войны мы были вынуждены наскоро приспособить для бомбежки надвигавшихся колонн мятежников несколько пассажирских самолетов.

Тем временем к мятежникам прибывали целые эскадрильи лучших немецких и итальянских самолетов всех типов: бомбардировщиков, главным образом, истребителей, транспортных самолетов, и военные специалисты: механики, радисты, строители аэродромов, пилоты,— главное, пилоты!

Мы знали, что не французский народ отказал нам в помощи,— нас предало правительство Франции. Народ был на нашей стороне. Он организовал в Париже грандиозный митинг и горячо приветствовал великую испанку, депутата кортесов Долорес Ибаррури, обратившуюся к нему с речью: «Вы должны помочь испанскому народу! Помните: сегодня мы, а завтра придет ваша очередь! Нам нужны винтовки, самолеты, пушки, чтобы разгромить фашистов, стоящих у ваших границ!»

Когда Пасионария кончила свою речь, вся огромная аудитория встала и громко потребовала: «Avions et canons pour l'Espagne!»¹

Нет, не французский народ, а некоторые лидеры французской социалистической партии, в том числе Леон Блюм, позволили запугать себя и предали испанскую демократию.

Но мы с самого начала были обречены на неравную борьбу не только из-за недостатка самолетов. Огромный вред приносила нам наша наивность, мягкость, попытка поддерживать добрые отношения с теми странами, которые еще до начала мятежа сговорились предать нас. Наши аэродромы были наводнены шпионами, а Мадрид переполнен фашистами, поддерживавшими связь с заграницей. Немецкие пассажирские самолеты продолжали делать посадку на центральном гражданском аэродроме в Мадриде, и однажды утром, провожая нашего друга, летевшего в Астурию, я увидела, что человек, который был мне известен как шпион, занял место на одном из этих немецких самолетов, стоявших

¹ Самолеты и пушки для Испании! (франц.).

в нашем аэропорту! Пользуясь нашей беспечностью, немцы обнаглели окончательно: однажды сделал посадку в Мадриде немецкий военный самолет, имевший на борту пулеметы и полный груз бомб. Поняв свою ошибку, он снова поднялся в воздух, но из-за недостатка горючего ему пришлось снизиться на ближайшем поле. Через несколько дней германское правительство заявило протест против задержания «незаконным» испанским правительством самолета «нейтральной» державы!

Нужно было срочно заделать трещины в нашей броне. Между тем правительство Хиралья, состоявшее из одних правых республиканцев, являлось слишком слабым орудием в борьбе против двух иностранных захватчиков. Профсоюзы и партии Народного фронта не входили в кабинет Хиралья.

Президент Асанья, хотя и сам принадлежал к республиканской партии, сознавал, что правительство нуждается в поддержке широких народных масс: фашизм может быть разбит только объединенными силами демократии. Испанский народ, у которого для ведения войны не было ни оружия, ни самолетов, особенно нуждался в таких руководителях, к которым он мог бы питать полное доверие. Только подлинное правительство Народного фронта могло руководить испанским народом в борьбе против фашизма.

Хираль, не имевший ни малейшего понятия о том, как нужно вести войну, с радостью подал в отставку. В новом кабинете были представлены все партии Народного фронта: в него вошли два республиканца, представитель «каталонской левой», баскский националист, Прието — от правого крыла социалистической партии, Кавальеро — от ее левого крыла и два коммуниста¹. Только анархисты отказались войти в правительство.

Пост премьера занял Ларго Кавальеро. Это был незаурядный человек, с весьма сложной биографией. В эпоху диктатуры Примо де Ривера он сотрудничал с милитаристами, а после победы Народного фронта на выборах отказался войти в республиканское правительство, предпочитая оставаться в стороне; он был уверен, что республиканцы «сами свернут себе шею». Но теперь об этом старались забыть. Как никак Кавальеро был лидером профсоюзов. Он вышел из среды мадридских строительных рабочих, и это способствовало его популярности. Прието — типичный мелкобур-

¹ Висенте Урибе и Хесус Эрнандес.

жуазный интеллигент, а рабочие предпочитали видеть во главе правительства своего человека.

Правда, с самого начала Кавальеро окружил себя весьма сомнительным «мозговым трестом»: беспринципными, честолюбивыми, презиравшими народ политиками, вроде Луиса Аракистайна. Мы знали доходящее до ребячливости тщеславие самого Ларго Кавальеро. И все же мы надеялись, хотя и не без тайного страха, что драматизм положения внушит ему сознание ответственности, что он может стать именно тем руководителем Народного фронта, который приведет нас к победе.

В один из редких дней отдыха мы с Игнасио ночевали у Фредди. В три часа ночи нас разбудил телефонный звонок.

К телефону подошел Игнасио. Звонил Прието. Новый кабинет только что назначил Игнасио командующим военно-воздушными силами республики — после трагической гибели Нуньеса де Прадо этот пост долгое время оставался незанятым.

Игнасио отошел от телефона удрученный и злой. В течение нескольких недель он руководил крошечной эскадрилей республиканских самолетов и сам со своими пилотами летал на фронт. Теперь ему опять придется сидеть за письменным столом и целый день слушать тревожные сигналы и призывы о помощи, которые поступают из городов, подвергшихся бомбежке, и отказывать им в этой помощи, потому что у него нет самолетов.

— Ничего хорошего в этом нет, — проворчал он, снова пытаясь заснуть.

Ни ему, ни мне не могло притти в голову, что настанет день, когда он, командующий всеми военно-воздушными силами республики, будет иметь в своем распоряжении один-единственный самолет!

В сентябре положение на фронте стало еще более серьезным. Напряженное состояние, в котором находился Мадрид, чувствовалось даже в нашем монастыре. После чудовищной бойни в Бадахосе Западный фронт был прорван, и войска мятежников, пополненные марокканцами и легионерами, при поддержке фашистской авиации, двигались на Мадрид. Мужественные, но необученные и плохо вооруженные дружинники, ежедневно выезжавшие из Мадрида на фронт, не в силах были сдерживать натиск фашистов. Наших бойцов расстреливали пулеметным огнем, засыпали бомбами, их громила тяжелая немецкая и итальянская артиллерия, они

гибли тысячами, но, конечно, не могли приостановить наступление противника. В современной войне одной храбрости недостаточно.

Мы нуждались в дисциплине не меньше, чем в мужестве. И первой боевой единицей, показавшей, что для ведения войны можно и должно создать регулярную народную армию, явился Пятый полк. В этом полку, организованном испанскими коммунистами, были люди разных политических убеждений, но их объединяло твердое решение защищать родину до конца.

Этот славный полк первый ввел у себя политических комиссаров. Его офицеры знали свое дело. А ведь известно, что пулеметный огонь способен обратить в бегство самое храброе войско, если его командиры неопытны, если у бойцов нет веры в них. Пятый полк всегда до последней возможности удерживал свои позиции, никогда не обращался в паническое бегство, а в том случае, если командиры считали отступление необходимым, отступал в полном боевом порядке. Пятый полк никогда не бросался на врага очертя голову, никогда не бравировал бесцельной удачей. Политические комиссары разъясняли бойцам смысл и значение нынешней войны, обучали неграмотных, делали доклады во время затишья на фронте, следили за состоянием здоровья бойцов. Отношения между командирами и бойцами были проникнуты духом подлинного демократизма.

Пример Пятого полка сыграл огромную роль в организации народной армии. Испании нужна была дисциплинированная армия, и притом — немедленно. Многие испанские патриоты, слушая дурных советчиков, восставали против самого принципа дисциплины; особенно те, кто сидел в министерских кабинетах. Но на фронте бойцы стали замечать, что в боях Пятый полк несет меньшие потери людьми, что он, словно несокрушимый утес, возвышается над всей остальной плохо обученной и недисциплинированной армией.

Но в сентябре Пятый полк еще только начинал свою героическую борьбу. Положение на фронтах было чрезвычайно серьезное. И вот, однажды ночью, когда Мадрид, выключив свет и погрузившись в тьму, как того требовали строгие правила военного времени, спал мирным сном, началась первая воздушная бомбардировка. Никогда не забуду, как билось в эти часы мое сердце. Что если бомбы упадут на ветхий монастырь, где живут мои девочки? После этого я никогда не оставляла их на ночь одних.

Игнасио говорил, что война кончится не скоро и что Мадрид постоянно будет под угрозой.

— Вывези детей к морю, — советовал он.

В комитете по охране малолетних мое предложение вывезти детей из Мадрида расценили как «паникерство». А через несколько дней я получила приказ немедленно вывезти детей из Мадрида. Я наметила Аликанте, прелестный юго-восточный морской курорт. Секретарь, по обыкновению настроенный пессимистически, недоверчиво усмехнулся.

Приехав в Аликанте, я была поражена тем, что война почти не коснулась этого городка. Местные республиканцы разгромили фашистов в первые же дни и теперь спокойно ждали конца войны. Но когда я сказала, что приехала искать убежища для мадридских детей, все пошло мне навстречу. Выбрав несколько брошенных фашистами домов, где можно было разместить моих 650 питомцев, я уже через два дня добывала койки, постельное белье, столы, налаживала вопрос с питанием.

Когда поезд привез в Аликанте двести бледных, утомленных дорогой малышей, первых бездомных детей Мадрида, мы с удивлением увидели, что весь город собрался встречать их. Может быть, иностранца это и не удивит. Но ведь мадридцы никогда не водили дружбы с аlicantийцами: на протяжении многих лет каждая провинция в Испании жила обособленно, отчужденно.

Едва мои малыши стали выходить из вагонов, тотчас заиграл духовой оркестр — несколько нестройно, но зато очень торжественно. У вокзала выстроились аlicantийские школьники, одетые во все белое; у девочек были новые красные ленты в волосах, у мальчиков — красные галстуки. Мои сироты, воспитанные в монастыре, измученные долгим сиденьем в переполненном поезде, расплакались от волнения. Никто никогда не обращал на них внимания, а здесь их встречали с духовым оркестром и для них пели школьники!

Тут же, на площади, алькальд произнес краткую речь.

— Привет вам, маленькие мадридцы! — начал он. — Здесь вам будет хорошо! Наши дети будут играть с вами. Вы забудете о бомбах и войне, потому что скоро мы прогоним иностранных захватчиков из Испании. А пока что, я надеюсь, вы полюбите и наше море, и наш город. Вам нечего бояться, вы не должны чувствовать себя одинокими, потому что все мы здесь, в Аликанте, любим вас и будем заботиться о вас, как о своих собственных детях.

Тут алькальд, высокий, худой механик, избранный после

победы Народного фронта и не привыкший произносить речи, совсем расчувствовался.

— Viva la República! ¹ — крикнул он, схватил на руки стоявшую возле него девочку и расцеловал ее. — Viva Madrid! Viva el Frente Popular! ² — Алькальд смахнул слезу.

Наших маленьких мадридцев, у которых от восторга сверкали глаза, усадили в автомобили и в автобусы, и, под громкие приветственные крики школьников, замыкавших процессию, мы поехали через весь город в предместье Сан Хуан. Улицы были запружены народом, школьники пели, родители тихонько плакали, а алькальд все жаловался, что забыл конец своей речи. Оказывается, он хотел сказать вот что: республика сражается за испанских детей, и, что бы ни случилось с мужчинами на фронте и с женщинами в тылу, новое поколение будет расти счастливым и свободным.

Я просила его не огорчаться. Его страстный призыв: «Viva la República!» объяснил все.

Разумеется, как во время всякого настоящего парада, под конец пошел дождь. Но на это никто не обратил внимания. Школьники пели так же громко, оркестр играл с таким же воодушевлением, а жители Аликанте — подумать только: жители Аликанте! — все так же горячо приветствовали нас криками: «Viva Madrid!»

Как часто, когда у нас оставалось мало продовольствия, когда наши армии отступали и будущее рисовалось в самом мрачном свете, вспоминала я этот скромный парад под теплым аlicantийским дождем! Еще и сейчас воспоминание о горячих приветствиях, о слезах, с которыми аlicantийцы встречали маленьких мадридцев, придает мне силу и мужество. Народ, который так страстно стремится отвоевать свободу для своих детей, не может быть побежден.

После возбуждения, вызванного парадом, у измученных детей наступил полный упадок сил. Мы надеялись немедленно уложить их в постель, но забыли, что они никогда не видели таких роскошных домов, как те, в которых обитали аlicantийские богачи. Дети мадридских рабочих испуганно, на цыпочках проходили по комнатам, осторожно трогали пальцами дорожную, но аляповатую мебель и громко выражали свой восторг. Зато наши питомцы не проявили такой бережности. Они ничего не видели, кроме монастыря, мона-

¹ Да здравствует Республика!

² Да здравствует Мадрид! Да здравствует Народный фронт!

хини не прививали им любви к вещам. И я никогда еще не встречала такой страсти к разрушению, как в этих детях. Новые игрушки, которые мы достали для них, через полчаса валялись сломанные. Дети рабочих радовались куклам и книжкам с картинками, а наши бедные сироты, которых никогда не учили играть, рвали книжки и ломали куклы, и им опять становилось скучно.

Только под вечер удалось нам их уложить, и тогда мы смогли, наконец, перевести дух и собраться с мыслями.

А нам было над чем призадуматься: этот день принес печальные вести.

Музыка и речь алькальда отвлекли меня от них, но теперь, когда дети спали, молодой врач, четыре девушки, помогавшие мне, и я устроили небольшое совещание. Итальянская армия, немецкие самолеты и марокканцы быстро приближались к Мадриду.

Широкая, находившаяся в прекрасном состоянии шоссейная дорога на Мадрид пролегла в открытой местности. Деревушки, расположенные возле дороги, подвергались систематической бомбежке. Над населением учинялась расправа: женщин, если они не успевали бежать, отдавали марокканцам на поруганье, мужчин расстреливали пачками. Мадрид был переполнен беженцами.

Пал Толедо — трагический памятник прекрасодушию, если хотите, гуманности нашего правительства. Фашисты захватили женщин и детей толедских трудящихся в качестве заложников и, вместе со своими женами и детьми, укрылись в Алькасаре. Долгое время республиканские войска не решались бомбить Алькасар. Когда же колонны мятежников подошли к Толедо, Кавальеро, наконец — увы, слишком поздно! — дал приказ взорвать крепость. Но неопытные дружинники, деморализованные долгим ожиданием, не сумели это сделать. А когда фашисты взяли Толедо, то они отнюдь не проявили такого милосердия, как мы.

Война заставила нас понять, что такое фашизм.

Устроив детей в Аликанте и Сан Хуане, я рассчитывала вернуться в Мадрид и вместе с Кончей Прието взять на свое попечение детей дошкольного возраста, отцы которых ушли на фронт, а матери заняли их места на производстве.

Но положение на фронте нарушило все мои планы. Правительство предполагало вывезти из Мадрида не только бездомных сирот, но и вообще всех детей, родители которых были согласны на их эвакуацию из осажденного города, еже-

дневно подвергавшегося бомбежке. Вопрос с питанием обстоял в Аликанте довольно благополучно.

Конча Прието телеграфировала мне, что ей предложили работать по эвакуации детей. Мне поручили срочно подыскать помещение, закупить продукты, словом, подготовить все к приезду детей.

Игнасио был в Мадриде. Не буду говорить о том, как мне хотелось поехать к нему, напомним только, что во время войны разлука тяжела вдвойне.

Тем не менее я сознавала, что должна остаться в Аликанте. Детей надо было устроить как следует, чтобы они чувствовали себя здесь, как дома. Надо было добывать продукты у крестьян, встречать поезда, нанимать кухарок, заказывать кровати, шить простыни и платья, покупать книги, приглашать учителей.

Я телеграфировала Игнасио, что остаюсь в Аликанте и прошу прислать мне Лули. Когда она вышла из вагона, загорелая, цветущая, веселая, мне пришлось выдержать борьбу с самой собой. Мне так хотелось, чтобы в те редкие часы, которые оставались у меня от бешеной работы в детских домах, от переговоров с крестьянами и т. д., Лули была со мной. Но в такой тяжелый момент нельзя было пользоваться никакими привилегиями. Ведь другие дети жили же без родителей. Другие матери по просьбе правительства отдали же своих ребят в «колонии», как мы называли наши детские дома. И я тоже устроила Лули в один из таких домов. Надо сказать, что Лули быстро освоилась в новой обстановке, и я, как всякая мать, втайне гордилась тем, что она и здесь стала вожаком всего класса.

Я уже не помню точно, когда начались продовольственные затруднения. Это пришло постепенно. Однажды мы не смогли достать яиц. На другой день достали лишь немного. Аликантийцы великодушно отдавали детям все, что могли. В первую очередь кормили больных и детей. Но с каждым днем питание становилось все более скудным. «Добровольцы», которые помогали мне доставать продукты для детских колоний, затрачивали все больше времени на обход крестьян в поисках куска мяса или мерки картофеля. Доктор, наблюдавший за нашими детьми, нервничал. Дети стали хворать.

И вот однажды главный мой фуражир, шофер Пако, прибежал в колонию запыхавшийся и взволнованный.

— Пароход! — крикнул он. — В порту стоит советский пароход!

Мы отправились встречать «Неву». Весь город высыпал

на набережную, расцвеченную флагами. Никогда в жизни не слышала я таких восторженных криков. Дело было не только в продуктах. Не меньше нуждались мы в моральной помощи. Мы были счастливы от сознания, что, по крайней мере, один народ не предал нас. Наши дети тоже пришли приветствовать «Неву». Они раздавали матросам цветы и кричали «ура» капитану.

Узнав о том, что портовые грузчики Одессы работали круглые сутки, чтобы быстрее закончить погрузку «Невы», и отдали свою заработную плату на закупку продуктов для Испании, мы были очень смущены. Ибо, к сожалению, «Нева» была далеко не так быстро разгружена в Аликанте. Наши русские друзья, осведомленные о продовольственных затруднениях в Испании, прислали нам несколько тысяч фунтов масла. К несчастью, все наши холодильники — грузовики и вагоны — попали к фашистам, а в Аликанте стояла такая жара! Что нам было делать с нашим огромным богатством? Наши грузчики молниеносно выгрузили муку, шоколад, сгущенное молоко, консервированное мясо, а потом всем пришлось ждать, пока городские власти в срочном порядке подыскивали помещение для такого огромного количества масла. И так как его нельзя было отправить в Мадрид, то все это богатство досталось Аликанте, и в течение нескольких месяцев мы три раза в день ели масло.

Но задержка с разгрузкой масла не омрачила радости аликантийцев. После прибытия «Невы» мальчуганы целый день бегали по городу и писали буквально на всех домах: «Viva Rusia!» и «Viva la URSS!»¹ До прихода «Невы» жители Аликанте ничего не знали о Советском Союзе. Никакие «агенты Москвы» не бродили по улицам города. А теперь аликантийцы плакали от радости и до хрипоты кричали: «Viva la URSS!»

Советский народ, единственный в мире, не покинул нас.

От Игнасио я почти не имела вестей. Конча Прието тоже была слишком занята, чтобы что-нибудь узнавать от своего отца, министра морского и воздушного флота. Но напряженность положения ощущалась и здесь. На мадридском фронте войска генерала Франко неумолимо продвигались вперед. Столица подвергалась непрерывной бомбежке. По всей Испании бомбы мятежников убивали женщин и детей.

¹ Да здравствует Россия! Да здравствует СССР!

Как-то, в середине октября, Конча Прието получила записку от отца. Он писал, что положение весьма серьезно и что он не может спокойно работать, пока его дочери находятся в Испании, где они ежеминутно подвергаются опасности: они должны уехать. Я не верила своим ушам. Женщины Мадрида сражались бок о бок со своими друзьями, под грохот пушек они строили баррикады, готовили бойцам пищу. Мы же находились в относительной безопасности, мы выполняли, правда, будничную, но абсолютно необходимую работу. Почему министр морского и воздушного флота считает, что его дочери должны пользоваться привилегиями? Я взглянула на Кончу.

Как всем нам было больно и стыдно, когда Сенобия и ее муж-поэт, которые вначале помогали нам в организации детских домов, неожиданно уложили свои чемоданы и уехали из Испании! Мы смотрели на них как на дезертиров. Испания нуждалась в своих поэтах, Сенобия тоже могла работать, значит, и она была нужна. И все-таки они, как и многие другие испанские интеллигенты, считавшие, что у них слишком нежные и чувствительные сердца, чтобы переносить все ужасы войны, уехали за границу.

Ну, а Конча?

— Я ни за что не уеду,— сказала она, и глаза ее засверкали.— Я просто не понимаю отца.

После этого она еще несколько раз сообщала мне содержание писем отца и своих ответов. Меня удивляло упорство Прието: ведь его дочь решительно заявляла, что не покинет родины и будет помогать народу в его борьбе... Но прошло некоторое время, и Конча перестала со мной об этом говорить. Я уже решила, что инцидент исчерпан, как вдруг однажды, рано утром, ко мне прибежал ночной сторож и разбудил меня:

— Кухарка из дома Кончи Прието сказала, чтоб вы сейчас же шли туда!

Я вскочила в испуге и принялась поспешно одеваться. Что случилось? Уж не заболела ли Конча?

Поднимаясь по лестнице, я услышала плач двадцати двух детей, находившихся в ее ведении. Кухарка стояла в углу и тоже плакала. Всклипывая, она рассказала, что произошло:

— Ночью на машине приехал секретарь сеньора Прието. Он сказал, что приехал за Кончей. Сеньорита Конча плакала и говорила, что не поедет, что ей стыдно уезжать, что она не боится и хочет остаться.

— Ну? — торопила я.

— Секретарь уехал, а потом вернулся с нашим гражданским губернатором. И губернатор сказал Конче, что у ее отца очень важная работа и его нельзя волновать и что он велел ему непременно отправить Кончу вместе с секретарем. Конча опять заплакала и сказала губернатору, что отец не должен был бы так о ней беспокоиться,— ведь у всех отцов в Испании есть дочери.

При этих словах кухарка снова разрыдалась, дети подняли рев, а старшие начали причитать:

— Мы все умрем! Мы все умрем!

— Никто не умрет! — закричала я. — Успокойтесь, никто не умрет!

Наплакавшись вволю, кухарка продолжала рассказывать:

— Ну, они сказали еще, что сеньора Асанья, жена президента, и Бланка Прието тоже уезжают, а Конча все твердила: «Не поеду, не поеду». Тут я заснула, потому что было очень поздно, а когда проснулась, то ее уже не было.

После того как эти три женщины с утренним самолетом покинули Аликанте, и кухарка, и дети, и весь город пришли к одному выводу: если министр прибегнул к помощи губернатора, чтобы заставить свою дочь уехать из Аликанте, значит, мы все подвергаемся смертельной опасности. Встревожились не только дети. Мужчины начали строить баррикады вдоль дамбы и вокруг города. Женщины обдумывали, куда бы им спрятать детей, когда начнут бомбить город.

Я старалась успокоить и детей и население. Я не хотела говорить правду о Прието, я старалась объяснить бегство его дочерей тем, что Прието слишком любящий отец. Но хотя внешне я сохраняла спокойствие, внутри у меня все кипело от злости. Чтобы член правительства вел себя таким образом, сеял панику среди населения, заставлял дочь бросить родину, в момент, когда она может быть ей особенно полезна!.. Я никогда не могла согласиться с тем, что члены правительства не должны разделять тех бедствий и лишений, которые терпит вся страна. Почему, когда мадридские дети страдают от фашистских бомб, Прието должен вывозить своих дочерей из Аликанте?

В полдень паника несколько улеглась, город приободрился. Но тут нас поразила страшная весть: в Аликанте появились первые беженцы из Картахены. Фашисты совершили налеты на город: не порт, не морскую базу с убийственной меткостью, беспощадно бомбили они, а мирные улицы города. И никто не знает, сколько женщин и детей погибло во время этой бомбежки.

У меня замерло сердце. Я знала, что два дня назад Игнасио собирался обследовать аэродром в Лос Алькасарес. Обычно во время этих полетов он останавливался в одной старой гостинице в Картахене, так как казармы на аэродроме были переполнены. А сейчас фашисты бомбили Картахену!

Как безумная, бросилась я домой, к телефону. У меня так дрожали руки, что я едва могла держать трубку. Станция ответила не скоро и начала звонить в Лос Алькасарес. Занято. Прошло десять минут, пятнадцать, двадцать. Я вся похолодела от страха.

— Дайте Мадрид,— сказала я.— Военное министерство.

Опять я ждала и старалась побороть страх. Передо мной лежали утренние газеты. «Враг у ворот,— читала я.— Только рабочие дружины могут заставить его отступить».

— Мадрид! Алло, Мадрид! — услышала я. Наконец ответило военное министерство.

— Командующего авиацией,— сказала я, стараясь говорить как можно спокойнее.

Ответил незнакомый голос.

— Кто говорит? — спросила я.

Мне назвали фамилию.

В первый момент я не обратила на нее внимания, а затем меня объял ужас. Я очень хорошо знала этого человека. Это был пилот-фашист, который в 1934 году с восторгом писал Игнасио в Рим о том, как хорошо «поработали» пилоты, бывшие овьедских рабочих.

«Пятая колонна пытается захватить Мадрид»,— мелькнула у меня мысль.

— Где Идальго де Сиснерос?—закричала я, так как было очень плохо слышно.— Где Игнасио?

— Не знаю,— ответил тот самый летчик, которому доставляло удовольствие бомбить рабочих.

— Дайте Прието!

Но летчик положил трубку.

Я побежала в гараж и попросила Пако отвезти меня к губернатору. Я не хотела усиливать панику, но я должна была найти Игнасио, должна была узнать, что делается в Мадриде. Нет, фашисты не могут взять и не возьмут столицу! Но все-таки почему, когда я звонила командующему авиацией, мне ответил фашистский летчик?

Губернатор был занят, но когда я сообщила секретарю цель моего приезда, передо мной раскрылись все двери. Губернатор ничего не слышал о действиях Пятой колонны в Мадриде.

— Но... — сказал он, и голос у него дрогнул, — вызовите военное министерство по моему телефону.

Я встала и направилась к телефону. Губернатор тоже поднялся. На столе у него лежал револьвер, с которым он, видимо, не привык иметь дело. Неожиданно револьвер выстрелил. К счастью, пуля не задела никого. Посетители, ожидавшие в приемной, испугались. Женщины закричали. Поднялась паника.

Этот неожиданный выстрел отрезвил меня. Я вдруг почувствовала, что весь мой страх исчез. Мне стало стыдно: ведь я знала, что мы должны при всех обстоятельствах сохранять спокойствие.

Я быстро добилась Прието. Игнасио здоров, — сказал он. — Столице угрожает опасность, но ее не взяли и не возьмут никогда.

Я хотела расспросить Прието о фашистском офицере, с которым только что говорила, но он не стал отвечать на это по телефону.

Как выяснилось после, офицер занимал видное положение в республиканской армии — еще один пример нашей беспечности, в которой мы потом горько раскаивались.

Измученная этим тревожным днем, подавленная страшными вестями из Мадрида, я вернулась домой и включила радио, чтобы послушать правительственные сообщения.

И тут я впервые услышала голос Долорес Ибаррури, Пасионарии. Эта женщина из народа, воплощение испанского мужества, обращалась к испанскому народу в тяжелый момент борьбы, когда враг стоял у самых ворот Мадрида.

Мои питомцы окружили радио. Из кухни пришла кухарка, оставил свой гараж Пако. Все сгрудились у небольшого приемника.

— No pasarán! ¹

Ее прекрасный голос, сильный, звучный, наполнил собой всю комнату. Мы невольно выпрямились. Мы прожили весь этот долгий день в страхе и панике, вся эта неделя прошла в томительном ожидании, которое сказалось даже на детях, и вот теперь этот волнующий голос призывает нас вновь обрести веру в Испанию, веру в себя!

— Фашисты не пройдут! Они не пройдут, потому что мы не одиноки!

Я посмотрела на кухарку. Она благоговейно сложила руки на груди (жест, характерный для испанской женщины),

¹ Они не пройдут!

губы ее беззвучно шевелились, повторяя слова Пасионарии, и вся она тянулась к радиоприемнику.

— Мы не должны закрывать глаза на то, что Мадрид в опасности. Но устранение этой опасности зависит от самих мадридцев, и только от них... Все мадридцы, мужчины и женщины, должны научиться владеть оружием.

Пако с трудом сдерживал слезы. Я слышала его прерывистое дыхание.

Голос Пасионарии, сильный, спокойный, становился все более взволнованным и торжественным:

— Жизнь и будущее наших детей поставлены на карту! Сейчас не время для колебаний. Сейчас не время для робости. Мы, женщины, должны потребовать от мужчин храбрости и самоотверженности. Мы должны воодушевить их мыслью, что долг мужчины — умереть достойно.

Preferimos ser viudas de héroes antes que esposas de cobardes.

Лучше быть вдовой героя, чем женой труса!

Пятое ноября 1936 года.

Мы, в Аликанте, не знали, что в этот день решалась судьба Мадрида.

Мне удалось получить отпуск. Я не видела Игнасио почти два месяца. Он находился в Альбасете, на новом аэродроме, построенном республиканским правительством в стороне от Мадрида. Я взяла машину и выехала еще до того, как по радио стали передавать сообщения о наступлении на Мадрид.

В пути мы провели четыре часа, и когда приехали в этот маленький некрасивый городишко, было уже совсем темно. В «Центральной» гостинице Игнасио не оказалось. Портье проводил меня к нему в комнату. До его прихода я успела осмотреть пыльную, мрачного вида мебель и «горячий» и «холодный» краны, из которых шла, и то плохо, только холодная вода. Наконец он вошел.

Я обернулась, и к горлу у меня подступил клубок. Два месяца! А до войны мы с ним не расставались и на две недели.

Прежде всего мне бросилось в глаза, что он стал совсем седой. Лицо у него было очень худое, а взгляд — утомленный и озабоченный.

На одну минуту, пока он не заговорил, мне даже показалось, что он болен. Но его голос, сильный, энергичный, успокоил меня. Он только что получил повышение в чине: его произвели в подполковники, но на нем была еще прежняя форма со знаками различия майора.

Мы так обрадовались друг другу, что на секунду забыли о войне.

— Вечером я занят,— сказал Игнасио,— но обедать мы будем вместе и тогда поговорим обо всем.

Кофе мы пили в холле, который казался чем-то вроде семейного лагеря. Жены авиационных офицеров сидели в калчалках и вязали. На полу играли дети. Тут же за столиками сидели иностранные корреспонденты и интербригадовцы: эмигранты из фашистских стран, молодые врачи, адвокаты и рабочие из демократических государств, проделавшие сотни и тысячи километров, чтобы добраться до Испании и вступить в бой за демократию.

На другой день Игнасио попросил меня осмотреть госпитали, недавно переведенные в Альбасете. Я застала там довольно безотрадную картину. Под госпитали были отведены неподходящие помещения. Нехватало воды: водопровод в Альбасете был редкостью. Врачи и сестры выбивались из сил.

Игнасио просил меня также навестить раненых летчиков. В этот вечер я сказала ему, что хорошо было бы создать санаторий для выздоравливающих.

— Я стеснялся просить тебя об этом,— с улыбкой сказал Игнасио. И я тут же дала себе слово организовать санаторий для летчиков.

А затем, в течение сорока восьми часов весь Альбасете думал только о Мадриде.

Мадрид!

Марокканцы вместе с «белокуроыми марокканцами», как называл Франко свои немецкие войска, и итальянцами вплотную подошли к Мадриду. Фашисты сражались на баррикадах, выстроенных мадридцами. Все население, как один человек, поднялось на защиту своего родного Мадрида.

А шестого ноября 1936 года, в самый критический момент, когда фашистские самолеты кружили над незащищенным с воздуха городом, произошло чудо,— по крайней мере, всем в Испании это показалось чудом.

С невероятной быстротой пронеслась эскадрилья мощных, стремительных, бесстрашных самолетов,— самолетов испанского правительства. Весь Мадрид, потрясенный, наблюдал за тем, как в воздухе завязался бой и как правительственные самолеты прогнали фашистов.

Мне рассказал об этом Игнасио. Он радовался, как ребенок.

— Конни! По крайней мере одна страна понимает, за что мы боремся. Она продала нам самолеты!

Я не верила своим ушам. Самолеты, которые Испания закупила в России, прибыли в Картахену второго ноября, конечно, в разобранном виде. Механики работали четыре дня без передышки и, наконец, собрали эскадрилью истребителей. И эта эскадрилья спасла Мадрид от ожесточенной бомбежки, которая, по плану Франко, должна была быть координирована с наступлением пехоты, стоявшей у ворот города.

— Народ назвал их *chatos*, «курносыми», — с улыбкой добавил Игнасио.

Вечером седьмого ноября я присутствовала на обеде, устроенном в честь только что прибывших молодых русских пилотов. Испанские летчики с ума сходили от радости. Самолеты! Наконец-то! Игнасио старался создать воздушный флот буквально из ничего, старался обучить людей летному искусству, не имея самолетов. А теперь появились самолеты, которые спасли Мадрид от бомбежки, появились пилоты, которые будут инструктировать наших летчиков, как управлять этими новыми самолетами, появились механики, которые будут обучать наших механиков и помогать нам на наших авиационных заводах.

Обед начался весело. Один испанский летчик с гордостью сообщил мне, что уже выучил одно русское слово.

— Слушайте, — сказал он и, старательно двигая губами, произнес: — Про-пеллер!

Он страшно огорчился, когда я сказала ему, что это английское слово.

Хотя мы много шутили и смеялись, обед прошел очень торжественно. Игнасио произнес краткую речь. Он сказал, что сегодня мадридцы умирали со словами «*No pasarán*» на устах. Ему не нужно призывать своих пилотов принести родине такую же великую жертву. Он знает, что они всегда готовы отдать жизнь за свободу. Но теперь, больше чем когда бы то ни было, республике грозит опасность. И великим примером для всех испанцев служат русские пилоты-добровольцы, приехавшие помочь испанскому народу.

— *Viva la República!* — закончил Игнасио. — *No pasarán!*

— *No pasarán!* — торжественно ответили пилоты.

После обеда все вернулись на свои аэродромы.

Восьмого ноября улицы маленького Альбасете были запружены толпами местных жителей и марширующими людьми.

Это шли бойцы Интернациональных бригад, которые из Альбасете должны были выступить на помощь Мадриду. Несколько часов подряд я раздавала им брюки, куртки, свитеры, чулки. Эти юноши, которые на минуту останавливались передо мной, чтобы получить вещи, трогали меня до глубины души. Они приехали издалека, чтобы помочь нам. Они не были посланы своими правительствами. Они не были наемными солдатами — жалованье не интересовало их. На родине они оставили работу, жен, семьи. Эти люди приехали в Испанию, чтобы сражаться за свободу.

На другой день Интернациональные бригады, стройными рядами продефилировав по улицам столицы, заполнили брешь, образовавшуюся на линии обороны, — брешь, вызванную гибелью сотен мадридцев.

Честные демократы всего мира помогли Испании отстоять Мадрид!

Мой семидневный отпуск подходил к концу, и я почувствовала, что не в силах оставить Игнасио. Но проводить время в холле за вязаньем я не могла. Я хотела работать, хотела помогать Испании.

— Нельзя ли устроить санаторий здесь, в Альбасете? — спросила я Игнасио, хотя сама знала, что нельзя. А затем перед нами встал вопрос, который мы избегали поднимать в течение всей этой недели. Как быть с Лули? Руководить санаторием и одновременно воспитывать дочь мне было не под силу. Оставить же ее в детской колонии я тоже считала невозможным: там было дорого каждое место, так как эвакуация детей из Мадрида продолжалась.

Мы столкнулись с мучительной проблемой, которая стояла тогда перед всей Испанией: что делать с детьми? Фашисты не оставляли времени матерям на воспитание детей.

— Я думаю, что ей будет хорошо в России, — после долгих раздумий сказала я Игнасио.

Как раз в это время советское правительство выразило желание устроить испанских детей в хороших условиях под Москвой.

— Да, ты права, — согласился Игнасио. Но когда я подумала, сколько километров воды и суши отделяет Испанию от Советского Союза, сердце у меня сжалось.

Вернувшись в Аликанте, я почти забыла о нашем решении отправить Лули в Россию: слишком много дел нахлынуло на меня в связи с устройством санатория для пилотов. Я должна была набрать штат врачей, сестер, поваров, зака-

зять металлические кровати, упросить единственного оставшегося в Аликанте водопроводчика отложить свой уход на фронт и оборудовать еще одну ванную в доме, который я заняла под санаторий. Но не успели прибыть первые наши больные, как мне дали знать, что советский пароход, привозивший нам продукты, отбывает в Одессу и берет с собой Лули и Чарито, дочь пилота, убитого в начале войны. Нужно было немедленно вести Лули в порт.

Стоял декабрь, но в Аликанте еще ходили в летнем. У Лули не было теплого платья, и я даже не знала, где его можно купить. Вся теплая одежда в Испании отдавалась бойцам. Кроме того, откровенно говоря, у нас с Игнасио совершенно не было денег. С июля месяца никто из нас над этим не задумывался. Я не получала жалованья, но я в нем и не нуждалась: я пользовалась бесплатным столом и квартирой, а об изящных туалетах в то время в Испании никто и не помышлял.

Итак, моя Лули отправлялась в далекое путешествие без багажа. Игнасио прилетел в Аликанте на своем маленьком двухместном самолете, чтобы попрощаться со своей горячо любимой падчерицей. Он пробыл в Аликанте ровно час и улетел. Я повела Лули на пароход. Женщина-стюард показала нам нарядно убранную каюту, которую команда приготовила для двух испанских девочек. Моряки подарили Лули и Чарито самодельные игрушки. На столе стояли украшенные цветами портреты двух улыбающихся русских девочек лет восьми-девяти.

— Это мои, — пояснила женщина-стюард, — я поставила их сюда, чтобы Лули и Чарито не скучали без своих подруг.

Я все время говорила себе, что плакать нельзя. Ни одной слезы! Лули не должна знать, что мне тяжело с ней расставаться, что, в сущности, это очень грустное путешествие. Пусть она думает только о том, что это чудесная поездка в далекую страну.

Я направилась к трапу. Лули пошла меня проводить. Мать Чарито спокойно беседовала со своей дочуркой.

— До свиданья, — еле выговорила я и поцеловала Лули в лоб.

— Salud! — ответила Лули.

Никто не плакал...

Ее первое письмо, отправленное из Одессы, представляло собой дневник, в котором она описывала свою поездку на советском судне. На завтрак девочкам каждое утро подавали «три пары яиц». Моряки заводили для них граммофон,

играли с ними. Все они любили Испанию и, особенно, испанских детей.

Это письмо я получила как раз под рождество, и, благодаря этому, праздник прошел для меня веселей. Для больших мы устроили праздничный обед, а для детей, кроме того, елку. На обед у нас был жареный барашек, которого, каким-то образом,— нам не хотелось вдаваться в подробности,—раздобыл Пако.

Санаторий работал нормально, жизнь в детских колониях шла своим раз навсегда заведенным порядком, и я уже начинала испытывать чувство неудовлетворенности. Но однажды я случайно попала на аlicantийский аэродром, как раз в то время, когда там дожидались самолета несколько членов английского парламента: они должны были лететь в Тулузу и дальше, в Париж. У них произошли какие-то недоразумения с багажом. Я пришла им на помощь, взяв на себя обязанности переводчицы. Отправка самолета несколько задержалась, и у нас завязался продолжительный разговор. Один из англичан сказал:

— Когда мы увидели *chatos*, мы готовы были аплодировать им.

Перед отъездом он оставил мне свою визитную карточку.

— Жалею, что не встретился с вами раньше,— сказал он.— Нам очень помог бы ваш английский язык, а ваши пояснения чрезвычайно интересны.

Я призадумалась над его словами. Мне уже давно советовали поступить в Пресс-бюро, где могло пригодиться мое знание языков. Между тем, работа по организации детских домов и санатория подходила к концу.

Однажды я посетила военные лагеря. Командир бригады, Хуан Модесто, привел меня в восторг. Я слышала от Игнасио о том, как остро нуждается мы в подлинно народной армии, дисциплинированной и хорошо обученной. Теперь передо мной был один из ее создателей. Модесто, один из командиров знаменитого Пятого полка, формировал и обучал новую бригаду. Это был первый командир, вышедший из народа и выросший в борьбе с фашистами, с которым я встретила. В отличие от большинства кадровых офицеров испанской армии, которых я хорошо знала, это был спокойный, скромный, веселый человек; бойцы его буквально обо-жали.

Бригада Модесто придала нам бодрости и глубоко взвол-

новала нас. Модесто удалось сочетать энтузиазм первых июльских дней с настоящей военной дисциплиной. Его бойцы знали, за что они сражаются, знали, как нужно сражаться. На командиров, носивших ту же форму, что и бойцы,—разница была только в нашивках,—они смотрели как на старших товарищей, которые лучше знают военное дело, а не как на людей, стоящих выше их на общественной лестнице. Командиры не получали улучшенного питания и не пользовались никакими особыми привилегиями.

Через несколько дней после того, как я вернулась в Аликанте, мне позвонила из Валенсии Анна Луиза Стронг, американская писательница, несколько лет жившая в Советском Союзе.

— Я только что из Москвы,— сказала она.— Приезжайте, я вам расскажу про Лули.

Я не могла лишиться себя этой радости. К тому же работа в санатории и детских колониях была вполне налажена.

Я приехала к Анне и, кажется, прежде всего, спросила, есть ли у Лули теплое платье. Меня все время преследовала мысль о том, что моя дочка ходит по заснеженным улицам Москвы в своем легком летнем платье.

Анна засмеялась.

— Вы бы посмотрели на свою Лули! У нее длинная беличья шубка, меховая шапочка и меховые рукавички. Она похожа на маленького полярного исследователя.

Я облегченно вздохнула и уселась слушать про мою дочь. Лули и Чарито живут у русских, изучают русский язык и ждут приезда в Москву испанских детей. Там должны создать испанскую школу, где будут преподавать испанские педагоги, словом, точно такую же школу, какую они посещали бы у себя на родине. Все окружающие балуют Лули и Чарито.

— Лули чудесно живется,— прибавила Анна,— она здорова, счастлива, и о ней заботятся люди, которые любят ее, потому что она испанка и потому что она — Лули.

У меня отлегло от сердца.

После того как враг подошел к воротам Мадрида, правительство переехало в Валенсию: нельзя было управлять страной, находясь в городе, засыпаемом бомбами и снарядами.

В Валенсии я узнала, что при нашем министерстве иностранных дел создано Пресс-бюро.

— Вы, Конни, можете быть очень полезны в Пресс-бюро,— сказала мне сеньора дель Вайо, жена министра иностранных дел.

На другое утро я отправилась к Рубьо Идальго, главному цензору и заведующему Пресс-бюро. Разыскала я его не без труда. Пресс-бюро помещалось в большом старом, полуразвалившемся доме, на третьем этаже, куда вела деревянная ветхая лестница. Оно занимало несколько комнат, похожих на сараи и заставленных старыми столами и стульями, на которых валялись рваные плакаты, объявления, копировальная бумага, польские, швейцарские, немецкие, английские и французские газеты. Пол был усеян клочками бумаги, краска на стенах облупилась.

В первой комнате бестолково суетились человек шесть служащих. В соседней комнате, на старинной софе с высокой спинкой сидели иностранные корреспонденты, ждавшие телефонного вызова из-за границы. На креслах и столах стояли пишущие машинки. Груды старой копирки указывали на то, что машинками пользовались здесь довольно часто.

Рубьо был занят. Я села и начала прислушиваться к болтовне журналистов. Меня поразили какие-то странные выражения.

— Проскочила, сейчас мой вызов! — крикнул один из корреспондентов и бросился в соседнюю комнату.

— Телеграмма проехала, а вот обзор застрял,— сказал другой.

Я огорчилась. Мне казалось, что я знаю английский не хуже, чем свой родной язык, но за те пятнадцать минут, что я просидела в приемной, я не услышала почти ни одного знакомого слова. Очевидно, корреспонденты говорили на каком-то особом жаргоне.

Наконец меня пригласили в кабинет к Рубьо Идальго, и там мне стало совсем неудобно.

Сеньор Рубьо, он же дон Луис, как называли его особенно преданные служащие, сидел в своем кабинете, как крот в норе. Здесь было абсолютно темно. Все шторы были спущены. Только сквозь щели в дверях проникал дневной свет. От настольной лампы, затененной абажуром, исходил тусклый зловещий зеленый свет.

Но и в этой темноте сеньор Рубьо, лысый, с крошечными усиками, с одутловатым, бледным лицом, носил темные очки.

— Вы знакомы с журналистикой?— спросил он.

Это меня взбесило. Очевидно, сеньор Рубьо решил, что

я просто добиваюсь спокойного местечка, хочу избавиться от санатория и детских колоний в Аликанте. Во всяком случае, он дал мне понять, что знание языков для работы с иностранными журналистами не так-то уж важно.

К концу беседы мне показалось, что глаза дона Луиса, скрытые темными очками, смотрят на меня с презрением.

— Прочитайте дома эти статьи, — протягивая мне какие-то рукописи, мрачно сказал он, — и принесите завтра в готовом к отправке виде.

Я не имела ни малейшего понятия о том, что он подразумевает под «чтением» отпечатанных на машинке материалов, но решила не спрашивать. Это были интервью с министром здравоохранения — единственной женщиной-министром в Испании, и я редактировала и переписывала их до поздней ночи.

Утром я уже снова была в мрачном кабинете сеньора Рубьо и с удивлением узнала, что он, оказывается, «проверял» меня. Выяснилось, что мне вовсе не нужно было переписывать наново статьи, он просто дал мне их на цензуру. Прежде чем я успела разозлиться, он велел мне занять место в соседней комнате.

Итак, я стала «цензором». Я должна была сидеть в Бюро шесть часов и принимать от журналистов их корреспонденции. Моя работа состояла в том, что я просматривала этот материал, и если одобряла, то разрешала либо отправлять на телеграф, — у нас был целый полк мальчуганов, которые в одну минуту доставляли корреспонденции на телеграф, — либо передавать по телефону. Целый день журналисты звонили в лондонские и парижские редакции. Они могли вызывать от нас любую страну, кроме Германии и Италии. По ночам сотрудники ТАСС вызывали Москву.

Первые дни никто меня не замечал, мне совершенно нечего было делать, и я чувствовала себя очень несчастной.

Кроме меня, в Пресс-бюро было еще три цензора: два иностранца и один испанец. Однажды мой коллега-испанец дал мне несколько советов.

— Это очень просто, — охотно начал объяснять он. — Корреспонденты могут писать все, что угодно, если это правда и если их сообщения не могут послужить информацией для наших врагов.

Я серьезно призадумалась над его словами и несколько осмелела.

— Конечно, мы должны быть очень осторожны с военной

информацией,— предупредил он.— Сведения, которые корреспондентам могут показаться пустячными, иногда служат весьма полезной информацией для фашистов. Если корреспонденты станут возражать, напомните им о цензуре во время мировой войны.

Я кивнула.

— Я лично считаю,— продолжал он,— что мы слишком беспечно относимся к тем сведениям о положении на фронте, которые они сообщают в своих телеграммах.

— Ну, а как быть со сведениями не военного характера?— спросила я.

Мой учитель улыбнулся.

— Ну, тут уж вы сами решайте. Только не робейте. В самом деле, это очень просто. Вы получаете от корреспондента материал. Прежде всего, вы должны удостовериться, что все в нем абсолютно ясно, что в нем нет бессмыслицы, что вам понятны все слова, иначе говоря, вы должны быть уверены в том, что корреспондент не применяет шифрованного кода. Затем, если это обычная информация политического характера, то вы должны проверить, что это точные сведения, а не слухи, потому что слухи, прошедшие правительственную цензуру, воспринимаются как достоверные. Это очень важно, и вы должны будете беспрестанно разъяснять это репортерам, потому что они беспрестанно будут пытаться посылать свои «утки», то есть сведения, основанные на их собственных досужих вымыслах или на самых нелепых слухах, которые они подхватывают в кафе.

— Понимаю,— медленно проговорила я.

— И еще. Некоторые сведения политического характера имеют большое военное значение. Все, что может оказаться наруку врагу, например, рассуждения о том, на каком фронте нам следует повести наступление, пропускать нельзя.

Когда я немного освоилась со своей новой работой, многое в деятельности Пресс-бюро стало мне понятно. Мы полагали, что правда — это единственное оружие, с которым мы можем бороться против лжи и клеветы, распространяемой о нас германскими фашистами. И чтобы весь мир мог узнать эту правду, мы делали все возможное, чтобы ее узнали иностранные корреспонденты. Мы всячески помогали им в их работе и в отправке материалов за границу.

Но когда я поступила в Бюро, оно только еще начинало перестраивать свою работу. В первые дни мятежа некоторым

журналистам, именно потому, что они были иностранцы, разрешалось появляться буквально всюду, и это наше испанское гостеприимство стоило республике очень дорого. Я очень скоро поняла, что Рубьо — мало подходящий человек для работы с иностранными корреспондентами. Во-первых, — может быть, потому, что он сам много лет был журналистом, — он ненавидел всех репортеров — французских, английских, американских, шведских, русских. Во-вторых, бегло читая по-английски, он совершенно не понимал американских корреспондентов, которые говорили преимущественно не с оксфордским, а с канзасским акцентом, да еще на своем журналистском жаргоне. Поэтому он решил держать всех корреспондентов на расстоянии пушечного выстрела. Его мрачный кабинет и его странное, недружелюбное обращение с корреспондентами имели определенную цель: оградить себя от вопросов, от просьб об интервью с членами правительства, о выдаче пропуска в Мадрид, Барселону или на фронт. Отношения цензоров с корреспондентами были довольно официальные: цензоры считали, что они обязаны лишь передавать просьбы журналистов Рубьо. Тот немедленно забывал об этих просьбах. В результате корреспонденты ждали какого-нибудь разрешения по два дня, вместо того чтобы получить его через два часа. Они без толку торчали в приемной, в то время как их заявление о машине для поездки на фронт лежало на столе у Рубьо.

Я решила, что это положение нужно изменить. Недовольные журналисты стали сообщать в своих телеграммах об «испанской неорганизованности». Неприветливость Рубьо отражалась на тоне их корреспонденций.

Я весьма осторожно подошла к помощнику Рубьо, Валентину. Я сказала, что, может быть, следовало бы больше помогать корреспондентам. Ведь они, в свою очередь, помогут нам выиграть войну, если будут писать правду, но для того, чтобы узнать ее, они должны видеть ее своими глазами.

Рубьо был очень доволен, что мы освободили его от необходимости разговаривать с иностранными журналистами, сами подыскивали для них комнаты в переполненной Валенсии, устраивали им интервью с членами правительства, доставали пропуска на фронт, хлопотали насчет машин и снабжали бензином тех, у кого были свои машины.

Помню, однажды члены американского конгресса выразили желание видеть Пасионарию, и я повезла их в детский дом, где ее ждали в тот день. Американцев глубоко взволновали

горячая встреча, которую устроили дети любимому вождю испанского народа, и заботливое отношение Пасионарии к сиротам.

С известной американской писательницей Джозефиной Хербст я ездила на большой воскресный митинг, на котором выступала Пасионария. Огромная любовь аудитории к Долорес Ибаррури произвела на Хербст сильное впечатление.

Бюро относилось с искренней симпатией к посещавшим нас американцам. Большинство из них держалось очень скромно. Они жили у нас достаточно долго, чтобы понять, за что мы боремся. Они не предъявляли никаких претензий, и с ними было очень легко. Они даже старались привозить с собой продукты, чтобы нам не приходилось тратить на них свои, и без того с каждым днем уменьшавшиеся запасы. Узнав от нас все, что их интересовало, американские корреспонденты, не отнимая у нас лишнего времени, возвращались к себе на родину. И там они писали о нас правду.

Мне удалось найти в гостинице «Рипальда» двойной номер с ванной. Когда мой рабочий день увеличился с шести до шестнадцати часов, мне стали приносить оттуда обед в Бюро. В то время у нас в гостинице еще были рис, конина и мясо мула, потом и это стало большой роскошью. Обычно я возвращалась в гостиницу поздно ночью, и всякий раз меня поражало, что на темных улицах Валенсии не видно полицейских. Даже когда начались бомбежки порта, когда днем и ночью отвратительно выла сирена и с грохотом взрывались бомбы, в городе не было ни воровства, ни грабежей, и я всегда благополучно возвращалась в отель.

Я не прожила в Валенсии и недели, как вдруг мне позвонил Игнасио. Он перевел свой штаб сюда и спрашивал меня, могу ли я сейчас позавтракать с ним, с Прието и еще несколькими друзьями.

Я была так счастлива снова видеть Игнасио, что почти не заметила, как прошла первая половина завтрака. Очнувшись я только тогда, когда услышала, что Игнасио что-то очень горячо доказывает Прието. Прието тоже приехал в Валенсию и поселился в на редкость безвкусно обставленной квартире. Кажется, нигде в мире нет такой уродливой викторианской мебели, как в домах валенсийских богачей.

Но разговор за завтраком удивил меня еще больше, чем странная обстановка. У Прието была слабость к показному величию. Видимо, его ослеплял блеск офицеров старой армии с их аристократическими манерами и пышными титулами.

К несчастью для Испании, многие офицеры, отнюдь не питавшие симпатий к республике и рассчитывавшие на молниеносную победу мятежников, не были разоблачены. Разумеется, они не стали заявлять о своих истинных чувствах, иначе они были бы расстреляны своими же солдатами, и делали вид, будто хотят верой и правдой служить республике. Прието верил торжественным клятвам этих сеньорито, Игнасио — нет.

— Даже если эти офицеры действительно хорошие специалисты, — говорил мой муж, — а это, конечно, не так, потому что испанская армия никогда не могла похвастаться высокой квалификацией своих офицеров, то все равно они едва ли могут быть использованы в рядах народной армии: слишком сомнительна их «преданность» республике.

Но Прието нельзя было убедить ни в чем. Завтрак окончился временным поражением Игнасио. Прието решил сохранить всех старых кадровых офицеров. Это решение многим стоило жизни, многим принесло страдания.

Мы с Игнасио поселились в гостинице «Рипальда». Мы оба много работали и старались чаще встречаться по вечерам, за обедом. После обеда мы работали еще несколько часов.

То, что я сама жила в Валенсии, и то, что мой муж командовал воздушными силами республики, помогло мне точно и ясно, до мельчайших подробностей представить себе военную обстановку.

У нас была армия, была воля к борьбе, мы располагали достаточной территорией. У нас были даже деньги. Но у нас не было продовольствия. И не было орудий, боеприпасов, бензина, самолетов, главное — самолетов. Chatos и бомбардировщики, которые мы купили в России, должны были пробиваться сквозь итальянскую подводную блокаду. Через девять месяцев войны мы, в сравнении с немецкими и итальянскими захватчиками, были еще хуже вооружены, чем в сентябре. Ибо, пока мы вели переговоры о закупке самолетов и боеприпасов у единственной страны в мире, которая согласилась продать их законному испанскому правительству, у страны, лежащей от нас за тысячи миль, отделенной от нас враждебными землями и враждебными водами, генерал Франко ежедневно получал сотни новых самолетов из Германии и Италии. Пока мы добивались того, чтобы наши собственные заводы, плохо оборудованные и не приспособленные для производства военных материалов, стали работать на оборону, Франко получал в любом количестве немецкие и итальянские орудия и винтовки.

После падения Малаги, этой страшной трагедии, каждый испанец почувствовал, что такое интервенция.

«Взятием Малаги мы вписали в историю еще одну славную страницу»,— писал генерал Манчини, командовавший пятнадцатитысячной итальянской армией и взявший Малагу. «Славная страница» заключалась в том, что итальянцы убили сотни, тысячи испанских женщин и детей. Но у фашистов свое понятие о «славе».

Нашим ответом на захват Малаги был лозунг: «Долой иностранных интервентов!» С этого момента многие испанцы поняли, что у нас идет уже не гражданская война, но борьба за национальную независимость. И еще поняли испанцы, что плохо обученных, плохо руководимых отрядов, сформированных в первые дни войны, уже недостаточно. Падение Малаги вызвало резкую критику действий тех испанских генералов, которые должны были ее защищать. Грандиозная народная демонстрация в Валенсии, состоявшаяся после падения Малаги, прошла под лозунгом: «Единое командование армией!» Испании нужна была армия, которая могла бы сражаться с итальянскими и немецкими захватчиками.

Но этого никак не мог понять Ларго Кавальеро — премьер и военный министр. Любой боец, любой неграмотный крестьянин знал, что Испания должна иметь — *должна иметь* — настоящую армию. Но самовлюбленный Кавальеро, увидев мощную демонстрацию в Валенсии, прочитав о подобных же демонстрациях в Мадриде и других городах республиканской Испании, вообразил, что народ требует, чтобы он, Кавальеро, стал верховным главнокомандующим. Разубеждать его было равносильно тому, что говорить с глухим или что-нибудь показывать слепому.

В сентябре 1936 года мы возлагали большие надежды на нового премьер-министра, а девятого февраля 1937 года, в день падения Малаги, он доказал свою полнейшую неспособность управлять государством. Окруженный ненадежными генералами старой армии, которые пускали ему пыль в глаза, покорно исполнявший все, что ему советовали предатели и подхалимы из среды журналистов, Кавальеро настаивал на том, чтобы оставить в армии всех старых кадровых офицеров.

Но его генералы проигрывали одно сражение за другим. Они давали правительству нелепые советы и препятствовали выдвижению молодых командиров из рабочих дружин.

Народ потребовал смены командного состава армии. «Долой негодных офицеров монархистской армии!»— заявил на-

род.— Пусть останутся только те офицеры, которые своим мужеством и преданностью доказали, что они действительно стремятся к победе!»

«Координация всех военных действий!»

«Долой индивидуальные методы ведения войны!»

«Единое командование армией!»

В течение шести часов полмиллиона людей дефилировали со знаменами по улицам Валенсии, провозглашая эти лозунги. Наконец они направились к дому, где жил премьер-министр. Это была замечательная демонстрация. Народ твердо знал, чего он добивался.

Но когда все кончилось, Кавальеро уверил себя в том, что весь этот грандиозный парад был устроен в его честь!

— Он сумасшедший, он просто спятил! — стонал Игнасио на другой день.

Военное министерство не ударило палец о палец для того, чтобы выработать единый план военных действий. Защита Испании, борющейся с прекрасно обученными, вооруженными до зубов иностранными захватчиками, попрежнему зависела от «личной инициативы». В то время как Мадрид отстаивал свое существование, в каталонских траншеях анархисты играли в карты. Фашисты могли беспрепятственно посылать все свои самолеты на один участок, потому что у нас не было единого командования, которое могло бы начать операции на юге, пока фашисты вели наступление на севере.

Требование народа о всеобщей мобилизации было единодушным. Торговцы, заперев магазины, шли на военную подготовку, крестьяне обучались стрельбе. Вопреки Кавальеро, народ взялся за оружие и вынудил премьер-министра пойти на некоторые уступки. Генерал Хосе Миаха, начальник мадридской хунты обороны, был назначен командующим Центральной зоной; полковник Висенте Рохо — начальником штаба. Это была первая военная зона, в которой провели принцип единоначалия. Таким образом, бригада одной политической партии уже не имела права действовать наперекор бригаде другой политической партии, а снабжение, предназначенное для одного батальона, уже не могло быть перехвачено по пути интендантским ведомством другого батальона.

Но на этом дело и кончилось. Кавальеро ничего не изменил ни в Каталонии, ни в Северной Басконии, ни на Южном фронте. Приказ от 28 февраля касался только Центральной зоны. К тому же и Миаха и Рохо были старыми кадровыми офицерами, служившими еще королю Альфонсу и Хилью Роблесу. Народ требовал, чтобы высшие командные посты были

заняты новыми военачальниками, обучавшимися военному делу не в аристократическом монархистском училище, а в боях с фашистами. Специальные знания, конечно, необходимы,— рассуждал народ,— но нам нужны такие генералы, которым мы могли бы доверять. Разве не генералы подняли мятеж?

Кавальеро пошел на незначительные уступки, но и это дало блестящие результаты. Сражение на Хараме, где американские добровольцы храбро дрались рука об руку с нашими войсками, закончилось для нас настоящим военным успехом.

Восьмого марта фашисты предприняли самое крупное наступление с начала войны. Их план был очень ясен. Генерал Франко не смог взять Мадрид? Ну, что ж! Тогда он со своими марокканцами, немцами и итальянцами попытается перерезать коммуникации между Мадридом и Валенсией, двигаясь по Сарагосской дороге на Гвадалахару.

Когда начались бои, я продолжала работать в Бюро. Игнасио был на фронте, где он руководил действиями авиации.

Девятое марта прошло спокойно.

Десятого марта я начала волноваться. Я знала, что идут крупные бои.

Одиннадцатое марта. Я не спала всю ночь. Почему так долго идут бои? Что это — поражение? Нет, нет, не может быть! Мы должны победить.

Двенадцатого марта я пришла в Бюро с красными от бессонницы глазами; руки у меня дрожали. С Гвадалахары не поступило никаких известий.

Наконец меня позвал дежурный цензор:

— Вас вызывает командующий авиацией.

Я бросилась в телефонную будку: должно быть, что-то очень важное, если Игнасио звонит мне во время боя.

Я услышала его голос, хриплый и очень громкий:

— Мы одержали первую крупную победу над итальянцами.

Слезы радости закипели у меня в горле.

— Мы нанесли им мощный удар,— продолжал Игнасио.— Можешь передать это журналистам, пусть пошлют сообщения. Это абсолютно точно. Сегодняшняя победа — это победа над итальянцами.

Я побежала к Рубьо.

Через несколько минут те журналисты, что находились в это время в Бюро, сгорая от нетерпения, уже вызывали

лондонские и парижские редакции. У нас было только два международных телефона, и, чтобы воспользоваться ими, корреспондентам пришлось стать в очередь. Я начала звонить всем остальным корреспондентам: так мы поступали всегда, когда у нас были какие-нибудь важные новости.

Мы первые узнали о победе. Вскоре стали известны и подробности. Корреспонденты строчили свои сообщения в тот самый момент, когда об исходе сражения узнал Муссолини, находившийся в то время в Ливии; немедленно после этого он вернулся в Италию.

Всю Испанию вновь охватил патриотический подъем. Наши плохо обученные и плохо вооруженные дружинники, впервые действовавшие по приказу единого командования, одержали первую победу над иностранными захватчиками! Наша разнокалиберная, малочисленная авиация, в состав которой входили, главным образом, наспех переоборудованные гражданские самолеты, с недавно обученными, неопытными пилотами, разгромила лучшие итальянские бригады.

Через несколько дней после победы к нам в Бюро доставили большой мешок с документами, письмами и приказами, которые бросил при отступлении итальянский генеральный штаб. Наши переводчики принялись за составление «Белой книги»; испанское правительство должно было представить ее Лиге наций в качестве неопровержимого доказательства итальянской интервенции в Испании. Журналисты получили разрешение ознакомиться с документами по подлинникам и переводам и дали о них исчерпывающую информацию.

Наша победа под Гвадалахарой произвела впечатление во всем мире.

— Я тебе говорил, что итальянская армия — это блеф, — сказал мне Игнасио, когда мы с ним увиделись. — Я всегда это говорил. Мы сражались буквально голыми руками, и все-таки они бежали, как зайцы.

Он усмехнулся.

— Конечно, буря, разразившаяся одиннадцатого марта, здорово потрепала их авиацию. Аэродромы у них совсем затопило. Мы этим воспользовались и выслали все наши самолеты, не обращая внимания на ливень. Готов держать пари, что все военные атташе думают, что мы получили целую эскадрилью новых самолетов, и удивляются, как это проморгали итальянские шпионы. А мы выслали даже старые «Фоккеры» и «Брегеты», которые у нас были еще до войны. Да, мы послали на Гвадалахару все, что только имело крылья, и, по-моему, многие итальянцы погибли не от пуль,

а от изумления, когда они увидели наши бомбардировщики. Они были уверены, что таких самолетов, которые еще могут подняться в воздух, у нас не больше десяти.

Но не успело утихнуть радостное волнение, вызванное нашей победой под Гвадалахарой, как нам сообщили о наступлении мятежников на Южном фронте, на участке Пособланко. Итальянцы намеревались отнять у нас уголь, железо, свинец, ртуть и этим вознаградить себя за поражение под Гвадалахарой.

«Правительственные войска одерживают победу на всем фронте»,— сообщалось в донесении, полученном Пресс-бюро.

Я с двумя корреспондентами выехала на Южный фронт. Первую остановку мы сделали в Аликанте и переночевали в санатории для летчиков. Мои старые друзья оказали нам прекрасный прием. Утром мы поехали осматривать детские колонии. На другой день мы были уже в Хаене — маленьком городке, переполненном несчастными беженцами из Малаги. После падения Малаги прошло больше месяца, а страшная армия стариков, женщин с грудными младенцами и детей-сирот все еще продолжала свой трагический путь в Хаен. Когда мои спутники заговаривали с некоторыми из них, я брала на себя роль переводчицы.

— Они убили моего мужа, отца и трех братьев,— рассказала нам одна женщина,— а мне каким-то чудом удалось бежать, но кругом падали бомбы, и осколок попал в моего ребенка. Я положила его на землю, чтобы дать отдохнуть рукам, а он тут же на дороге умер. Теперь у меня никого не осталось.

Я переводила слово в слово. Последнюю фразу я произнесла с трудом: «Теперь у меня никого не осталось...»

За неделю до нашего приезда фашисты бомбили Хаен. Разрушенные, изуродованные дома, окна без стекол, груды кирпича в канавах были немymi свидетелями фашистского налета. Эскадрилья «Юнкерсов-52» сделала свое дело. Город был совершенно беззащитен. Он отнюдь не являлся военным объектом. Там не было войск. Там не было военных материалов, не было никаких припасов для армии. Это был захудалый городишко, не имевший никакого стратегического значения, городишко, где жили женщины и дети и куда теперь нахлынули беженцы из Малаги, спасавшиеся от итало-германского террора.

О бомбежке нам рассказывали многие, но мне хотелось, чтобы мои спутники узнали об этом непосредственно, без помощи переводчика. С этой целью я решила посетить

одного англичанина, жившего в Хаене. Чуть не целый час, под проливным дождем, разыскивали мы его дом. Он встретил нас очень любезно, сообщил, что он английский коммерсант, что в Испании он живет постоянно, что здесь у него свинцовый завод.

— Я видел, как бомбы разрушили соседний дом,— сказал он.— В нем находилось шесть человек. Должно быть, все они были убиты на месте, кроме одного: отца или старшего из двенадцати сыновей. Некоторое время я слышал хриплые стоны, но мы не могли пробраться к заживо погребенному. Наконец он смолк.

Вскоре после бомбежки я вышел в город. Убитых детей несли в морг, где их потом разыскивали матери. Но даже матери не могли опознать их — так они были изуродованы.

Мы еле сдерживали слезы. Англичанин продолжал:

— Я могу поклясться, что Хаен никогда не использовался для военных целей. Это была самая чудовищная бомбежка беззащитных женщин и детей, о которой я когда-либо слышал, а не то что видел.

Мы уехали из Хаена с двойственным чувством: с одной стороны, вид разрушенного города причинял нам острую боль, вместе с тем спокойствие и стойкость испанского народа вдохнули в нас бодрость. Теперь мы мчались по дорогам Андалусии. Здесь, на юге, весна уже сменилась летом, и кругом лежали желтые, сожженные солнцем поля. Вдали мелькали согнутые спины крестьян. Время от времени на встречу нам попадались старухи, тащившиеся куда-то по пыльной дороге. Современная война, война жестокая, напряженная, стремительная, велась немного южнее. А здесь ничто не нарушало древнего покоя мирных андалусских полей.

Всю дорогу от Хаена до Андухара тянулись серебристо-зеленые оливковые рощи, отчетливо выделявшиеся на фоне желтой, раскаленной от солнца равнины. Даже сидя в машине, можно было заметить, сколько терпения, труда и тщательного ухода вложено в них. Эти ровно посаженные и заботливо выращенные деревья вызывали восхищение моих спутников.

Но мне оливковые рощи напомнили о другой жизни и о женщине, носившей мое имя, которая когда-то жила в прекрасных домах и звала богатых и знатных людей просто по имени. В 1931 году я побывала здесь в роскошном охотничьем замке маркиза Кайо дель Рей. Эта охота явилась для меня прощанием с прошлым. Через две недели после этого мы с Лули были уже в Мадриде, и семья Кайо дель

Рей прекратила со мной знакомство, так как до нее дошли слухи о моем увлечении республиканскими идеями.

Я вспомнила оливковую рошу, такую темную и такую прекрасную при лунном свете. Я живо представила себе охотничий замок Лугар Нуэво, в котором было больше сорока комнат. Вспомнила мессу в часовне, вспомнила, как в тот момент, когда священник поднял чашу с дарами, вдруг раздались звуки монархистского гимна *Marcha Real* — маркиз желал подчеркнуть этим свою преданность трону. Вспомнила долгие прогулки верхом, поездку в монастырь Вирхен де ла Кабеса, стоящий на высокой скале, откуда видно далеко кругом.

Когда мы подъезжали к Андухару, я подумала, что Лугар Нуэво должен был оказаться в самом центре недавнего сражения, и мне захотелось узнать, что случилось с этим великолепным замком, с его дивными садами.

Но как только мы приехали в Андухар, я обо всем этом забыла. Три местные гостиницы, одинаково грязные и примитивные, были переполнены. Мы пообедали в одной из них. Вокруг нас за соседними столиками громко разговаривали люди в военной форме. Обед из трех блюд (два мясных и одно из овощей) очень удивил нас.

— У нас есть мясо, — пояснил официант, — наши партизаны прорываются в Эстремадуру и пригоняют оттуда скот.

Немного погодя мы были уже в курсе военных событий. Всеми южными армиями командовал старый кадровый офицер, полковник Хосе Моралес. Его ближайшими помощниками были два молодых республиканских офицера. Правда, они служили и в старой армии, но теперь они не за страх, а за совесть служили народу. Подполковник Антонио Кордон руководил боевыми действиями на Андухарском участке фронта, подполковник Перес Салас — на участке Пособланко.

Мы познакомились с Кордоном после обеда, и пока мы трое, как зачарованные, рассматривали карту, он объяснял нам военную обстановку на Южном фронте и, между прочим, сказал, что в данный момент Лугар Нуэво является последним прибежищем фашистов в этом районе. Местные гражданские гвардейцы, сторонники Франко, взяв с собой жен и детей, забаррикадировались в прекрасном старинном замке, где когда-то, — казалось, так давно, — останавливалась я, и в монастырской часовне, на горе. Это был маневр, которому они выучились у «героев» Алькасаара. Кордон, как и толедские республиканцы, не решался взорвать чудесное здание монастыря, где было полно женщин и детей.

— Я хочу, чтобы вы поехали посмотреть моих «агитаторов», — сказал Кордон. — Завтра Лугар Нуэво будет нашим.

Мы уже садились в машину, когда к нам подбежал Кордон.

— Лугар Нуэво уже наш, — сказал он, усмехаясь. — Мятажники, под прикрытием ночной темноты, покинули Лугар Нуэво и по горной тропинке пробрались в монастырь. Мы их выкурим и оттуда и, таким образом, очистим весь район.

Мы двинулись по знакомой горной дороге, еще вчера находившейся под обстрелом, — посмотреть на старый дом, который мятежники покинули ночью, всего часов восемь назад.

Пока автомобиль поднимался в гору, я предавалась воспоминаниям: вот здесь был охотничий пост, и я пробыла тут целый день; а здесь я часто гуляла с дочерью маркиза.

У меня сильно забилось сердце, когда за поворотом показался большой четырехугольный каменный замок с зияющими дырами вместо окон и дверей и с изрешеченными стенами. Но внутри нам открылось еще более мрачное зрелище. Пол в огромной гостиной был затоптан грязными сапогами франкистских солдат. В спальне, которую я когда-то занимала, на чудесном деревянном мозаичном полу они, очевидно, разводили костер и варили чечевицу и бобы. По углам гнили остатки пищи. Картины были уничтожены. Грязные тряпки, валявшиеся на полу, — вот все, что осталось от прекрасного столового белья, которым некогда так гордилась маркиза. Почти вся роскошная мебель, купленная в Лондоне, была сожжена. Не существовало больше и огромной библиотеки: книгами мятежники разжигали костры.

Республиканским бойцам был дан строжайший приказ — беречь все, что они найдут в домах богачей. Вспомнив об этом, я невольно улыбнулась. Ирония судьбы! Фашисты, борющиеся за сохранение старинных привилегий, символом которых являлся этот охотничий замок, уничтожили все, что в нем находилось. Те же, кого маркиз называл «красными», сохранили бы его библиотеку, уберегли бы его картины. Республиканское правительство тратило много времени и денег на охрану памятников испанской культуры, а в Лугар Нуэво я увидела, как их разрушали сторонники Франко — даже без помощи немецких или итальянских бомбардировщиков.

Впрочем, я не была уверена в том, что маркиз не одобрил бы этого разгрома, если б он его увидел. Ведь он был од-

ним из тех испанских дворян, которые, подобно тетке Болина, отказавшей мне когда-то в детской колясочке, предпочитали, чтобы их библиотеки и замки были уничтожены, чем превращены в музеи или дома отдыха для трудящихся.

Единственно, что несколько скрасило наши мрачные впечатления от разгромленного замка,— это радость дружинников, обнаруживших в погребе, в баках с маслом, коллекцию охотничьих ружей. Прекрасно вооруженным мятежникам незачем было разыскивать эту коллекцию. А у многих дружинников совсем не было оружия, и они искренне радовались своей находке. Мы наткнулись на них в погребе, где они чистили ружья и дробовики, ласково поглаживая стволы. Маркиз бежал за границу, чтобы финансировать мятежников, но его ружья остались, и теперь они послужат народу!

Уже вечерело, когда мы покинули Лугар Нуэво и добрались до расположения войск, осаждавших монастырь. Тут был и Кордон. Впереди стоял грузовик, на котором был установлен громкоговоритель.

— Я думаю, это заставит их сдаться, обойдемся без бомб и снарядов,— сказал Кордон.— Каждый вечер мы приезжаем сюда и читаем им декрет правительства об амнистии. Мужчинам мы гарантируем жизнь, женщинам и детям — полную свободу.

Каждый вечер, при заходе солнца, агитаторы с риском для жизни близко подъезжали к монастырю и начинали уговаривать мятежников сдаться. Вот и сейчас шофер дал гудок, и агитаторы влезли на грузовик. Первым выступил священник; прочитав указ об амнистии и подчеркнув, что действует отнюдь не по принуждению, он стал увещевать мятежников сложить оружие. Второй из выступавших обрисовал военную обстановку, рассказал о последних боях и о победе правительственных войск.

Мы стояли около грузовика и слушали. Из монастыря не доносилось ни звука. Время от времени над нами пролетали пули, но на них никто не обращал внимания.

Стало совсем темно. Голоса наших ораторов, благодаря усилителям, разносились далеко окрест: «Мы предлагаем вам сдаться, иначе мы будем вынуждены прибегнуть к оружию. Спасите жизнь ваших жен и детей».

— Самолеты!

Это слово прорезало ночную тишь. Громкоговоритель смолк. Кто-то схватил меня за руку. В полумраке я увидела, что мои спутники бегут вниз по дороге. Я тоже бросилась бежать. Гул моторов забивался в уши, сверлил мозг, давил

на сердце. Я бежала все быстрее и быстрее. Но гул моторов не утихал, и мне казалось, будто я стою неподвижно, попав в тиски какого-то дьявольского орудия пытки, а передо мной еще бесконечное пространство. Человек крепко держал меня за руку, сквозь гул моторов я слышала топот его ног, но и он словно бился в тисках. От быстрого бега у меня захватило дыхание. Но вот все та же рука потянула меня куда-то вниз, и я упала. Пытаясь ухватиться за что-нибудь, я стала шарить руками по земле и коснулась чьих-то ног. В рот набилась грязь, и я сплюнула.

— Здесь неопасно,— сказал мужской голос. Очевидно, это был тот, до кого я дотронулась. Я села и взглянула на него. Это был совсем молодой боец. Должно быть, это он привел меня сюда, в придорожную канаву.

— Ложись! — скомандовал он.

Я легла в канаву и почувствовала под собой мягкую грязь. Моторы гудели совсем близко.

Внезапно в горах раздался такой чудовищный грохот, что человеческий слух неспособен был воспринять его. Я чувствовала, как дрожит земля. Затем грохот начал стихать. Стало слышно, как сорвался камень и покатился куда-то вниз.

И снова гора сотряслась от взрыва. Я до боли сдавила уши, но третий и четвертый взрывы отдались в голове с прежней силой.

Наступило затишье. Я неподвижно лежала в канаве, прижимаясь всем телом к дрожавшей земле.

— Ну как, жива? — спросил боец.

— Да.

Я не узнала своего голоса. После этого грохота все звучало по-иному.

Немного погодя разорвалась пятая бомба, шестая, седьмая. Потом гул моторов стал постепенно удаляться и, наконец, стих. Земля подо мной перестала дрожать. Донеслись обычные, легкие ночные шорохи. Голоса, человеческие голоса, слышались на дороге. Боец сел.

— Это еще что!.. — сказал он.

Я не ответила. Мне не хотелось сознаваться, что хотя я пережила не одну бомбежку в городе, но эта, в горах, довела меня почти до обморока.

Я медленно встала, словно проверяя свою способность двигаться. Я заговорила с бойцом, и голос мой не дрожал. Я долго вслушивалась в него: нет, это мой обычный, спокойный голос.

Вскоре мы вернулись в город. Едва добравшись до постели, я сейчас же заснула. А через несколько часов проснулась от знакомого грохота.

Агитация Кордона привела мятежников в ярость. Генерал Кейпо де Льяно объявил по радио, что он с особым удовольствием заставляет Андухар расплачиваться за «штучки» Кордона с громкоговорителями.

За ту неделю, что мы провели в Андухаре, немецкие «Юнкерсы» бомбили его девять раз. Девять раз огромные бомбардировщики пролетали над беззащитным городом, и девять раз генерал Кейпо де Льяно смаковал по радио разгром Андухара...

И спрятаться от этих воздушных бомбардировок было некуда. Когда в церквах начинали звонить колокола, предупреждая жителей о приближении самолетов, лучше всего было оставаться на месте. Вся республиканская авиация была сосредоточена на Мадридском фронте. В Андухаре не было ни одного зенитного орудия. Если мы в это время лежали в постели, то прятали голову под подушку. Если были в столовой, то бежали на кухню,— почему-то считалось, что там менее опасно. Старая кухарка и ее дряхлый муж,— крестьяне, бежавшие из города, занятого мятежниками,— обычно прятались в чуланчике под лестницей. Менее надежное убежище трудно было найти. Впрочем, если бы бомба попала в нашу гостиницу, никто из нас не уцелел бы. Поэтому, когда начиналась бомбежка, я и два корреспондента полагались на судьбу и делали вид, что ничего особенного не происходит.

После Андухара мы посетили еще несколько участков на Кордовском и Эстремадурском фронтах. Пособланко, занятый нашими войсками, оттеснившими мятежников на окраины, имел страшный вид. Жители бежали отсюда. В городе не осталось ни одного неповрежденного здания. На улицах валялись электрические провода. Помню один разрушенный дом: бомба словно расколола его надвое. На задней стене, смотревшей теперь на улицу, висело Сердце Христово, в которое вливалась железная балка.

Насколько мы могли судить, правительственные войска стойко держались на Южном фронте. Альмаден с его ртутными рудниками был хорошо защищен. Наши войска все время теснили франкистов, захвативших ближайшие угольные и медные копи.

Но в Валенсии нас ожидали печальные вести. Немцы, которых больше интересовал индустриальный север, чем юг,

стали приводить в исполнение свой план. Наступление на севере началось в апреле с объявления о блокаде порта Бильбао.

Я застала Игнасио в Валенсии, но вскоре он вылетел в Бильбао, чтобы изучить на месте состояние воздушного флота. Страна Басков была отрезана от республиканской Испании, следовательно, о переброске войск в Басконию не могло быть и речи. До падения Ируна мы держали связь с Бильбао через Францию, потом у нас еще оставался морской путь. Но теперь немцы блокировали порт при помощи своего более мощного флота и самолетов.

Широкое применение авиации в Басконии исключалось. В этой горной стране негде было строить новые аэродромы; что же касается нескольких ранее построенных спортивных аэродромов, то они были хорошо известны немецким бомбардировщикам. Наши истребители имели слишком небольшой радиус полета. Если бы Игнасио послал истребители с ближайшего к Мадриду аэродрома, то они встретились бы с большими трудностями при перелете через горы, всегда окутанные туманом, и им пришлось бы, прежде чем вступить в бой с бомбардировщиками, пополнять запас горючего на баскских аэродромах. Ближайшие к Бильбао аэропорты, отлично известные немцам, тоже нельзя было использовать. Вряд ли немцы дали бы снизившемуся для заправки истребителю снова подняться в воздух.

Баскское правительство не захотело облегчить Игнасио его задачу. Долгое время оно пренебрегало помощью нашего правительства и слишком поздно осознало свою ошибку. В конце концов оно попросило помощи у испанского правительства, но время было упущено.

Я волновалась за Игнасио, но он вернулся раньше, чем я предполагала. Он переправил на север несколько драгоценных для нас самолетов и оставил там своего заместителя. Выехал он оттуда так поспешно потому, что в Каталонии было неспокойно.

Игнасио часто говорил:

— Я все время твержу Прието, что мы должны выехать в Барселону и объединить каталонскую авиацию с нашей. И если это удастся с авиацией, то так же нужно будет поступить и со всей армией. Пока у нас не будет единой армии, единого командования, мы не сможем оказать противнику серьезное сопротивление. Но Прието боится пойти на этот шаг, так как знает, что Кавальеро станет возражать.

Мы упускаем все возможности и, следовательно, должны быть готовы к большим неприятностям.

Я тогда еще плохо знала Каталонию, но Игнасио, вернувшись из Бильбао, рассказал мне о ней многое. После июльского разгрома местных фашистов в Барселоне наступило спокойствие. Каталонию война никак не затрагивала, перед ней не стоял вопрос жизни и смерти, как перед всей остальной Испанией, и в силу этого она служила удобной почвой для вражеских вылазок. «Пятая колонна» действовала в Каталонии энергичней, чем где бы то ни было. Надев маску «ультрареволюционеров», прикрываясь «левыми» фразами, наводнившие Барселону фашистские шпионы призывали к свержению капитализма, а сами тихой сапой подрывали мощь республиканского тыла. Борьба против фашизма в Испании требовала от Каталонии, во-первых, продуктов, во-вторых, оружия и, в-третьих, дисциплинированных добровольцев. Но здесь засели троцкисты, эти агенты Франко, действовавшие через свою «партию» — ПОУМ и пролезшие на самые высокие посты.

Положение с продовольствием усложнилось вследствие того, что эти «ультрареволюционеры», поддерживавшие самую тесную связь с Франко, принуждали крестьян вступать в плохо организованные «коллективные хозяйства». В результате урожайность сильно понизилась, и это в то время, когда мы особенно нуждались в продовольствии.

На фабриках и заводах агенты ПОУМ и рабочие-анархисты, которых им удалось сагитировать, разглагольствовали о «захвате» и «конфискации». Когда самая жизнь Испании зависела от темпов производства орудий и самолетов, эти «революционеры» объявляли забастовки. В этот ответственный исторический момент, когда Испания, как никогда прежде, нуждалась в труде квалифицированных промышленных рабочих Барселоны, производительность их труда резко снизилась.

Вопрос о каталонской армии был, пожалуй, самым серьезным вопросом, стоявшим перед Испанией. Под влиянием агентов «Пятой колонны» каталонское правительство старалось воспрепятствовать объединению своей армии с армией испанского правительства. Согласно республиканской конституции, Каталония пользовалась такими же правами, как и отдельные штаты Северной Америки, то есть там был свой язык, свои законы и так далее. Но армией и внешней политикой руководило центральное правительство. Кавальеро имел законное право, более того, он обязан был заставить

Каталонию соблюдать эту статью конституции. Единое командование в армии стало насущной необходимостью. В течение многих месяцев на Каталонском фронте царило полное затишье, тогда как правительственные войска на севере, юге и в Центральной зоне боролись за жизнь Испании. Если бы Каталонский фронт был более активным, более организованным, правительственные войска могли бы ударить на врага с фланга и тем самым оттянуть его силы от Мадрида и с юга. Но Кавальеро был нерешителен, а его советчики — связаны с теми каталонцами, которые подпали под влияние агентов Франко. Кавальеро считал, что попытка объединить армию нанесет ущерб его популярности среди крайних «левых» элементов. Ради этой популярности он готов был пожертвовать безопасностью Испании. Большинство каталонского народа требовало единого командования и горячо приветствовало его, когда оно было осуществлено. Но до этого, из-за нерешительности Кавальеро, было пролито много лишней крови.

Напряженная обстановка в Каталонии заставила, наконец, Прието принять соответствующие меры наперекор тщеславному премьер-министру. Игнасио должен был сопровождать Прието в Каталонию.

Второго мая Прието вызвал по телефону Барселону и заявил, что желает говорить с главой каталонского правительства. Телефонист, член группы заговорщиков, именовавшей себя «Друзьями Дуррути», ответил, что каталонского правительства больше не существует — есть «комитет защиты». В этом названии крылась горькая ирония: комитет возглавляли платные агенты Франко.

Казалось бы, теперь Кавальеро должен принять решительные меры. Но тщеславный старик все еще колеблется и слушает, что ему нашептывают советчики. Между тем дружинники-поумовцы, эти троцкистские «герои», игравшие с фашистами в футбол между двумя линиями окопов, оставляют Арагонский фронт и двигаются на Барселону с твердым намерением утопить ее в крови.

Бросив фронт, поумовцы тем самым невольно разоблачили себя и свою грязную игру в глазах барселонцев. Только немногие рабочие, введенные в заблуждение троцкистской демагогией, вышли на улицы. Троцкисты, которые прятали винтовки по всему городу, вооружили их, и это в то время, когда наши отважные бойцы отбивались от фашистов кулаками, потому что у республиканского правительства не было винтовок!

Игнасио, взяв с собой шестьдесят бойцов, прилетел в один небольшой каталонский городок. Бойцы вышли на улицу вместе с населением как единый боевой отряд и тем самым предупредили выступление фашистской «Пятой колонны». Игнасио видел вооруженных до зубов троцкистов: у них были даже бронемшины, в которых так нуждалась республика для борьбы против фашизма.

Наконец седьмого мая Кавальеро, под давлением кабинета министров и народа, уступил. Он послал в Барселону ударные полицейские отряды. Народ, разобравшись в истинных намерениях франкистских агентов, быстро справился с ними. И все же в эти майские дни было убито пятьсот человек и полторы тысячи ранено.

Вот во что обошлась Испании нерешительность Кавальеро. И страна воздала ему по заслугам. Дни Кавальеро, этого горе-диктатора, были сочтены. Армия должна быть объединена, тыл должен быть укреплен! Кавальеро не сумел стать подлинным вождем испанского народа. До последнего момента он не имел ни малейшего понятия о положении в стране. В ответ на критику, которой подверглась его деятельность, он предложил, чтобы ему предоставили еще большие полномочия.

Во всей стране — в любой деревне, в любом городе — народ единодушно требовал: «Долой Кавальеро!»

Кабинет Ларго Кавальеро был вынужден подать в отставку. В новый кабинет вошли доктор Хуан Негрин, занявший пост премьера, три социалиста, два коммуниста, два республиканца, один представитель Каталонии, один — от Страны Басков. Таким образом, в новом кабинете были представлены те же партии, что и в прежнем, за исключением анархистов, которые, в виде протеста против отставки премьера, демонстративно вышли из состава правительства.

Новое правительство Народного фронта приняло очень простую установку: только демократия способна разгромить фашизм. Правительство должно не на словах, а на деле представлять интересы и политические взгляды испанского народа.

Новый премьер верил в демократию — и в теории и на практике. Когда Негрин пришел к власти, он не пользовался той огромной популярностью, какую завоевал Кавальеро в первые дни своего правления. Но уже через несколько месяцев он стал одним из самых популярных деятелей испанской республики.

Негрин — крупный ученый. До войны это был один из главных столпов Университетского городка. Исследования в области физиологии интересовали его куда больше, чем политика. Человек высококультурный, он много путешествовал и имел друзей во всем мире. Когда началась война, он покинул свою лабораторию и взял на себя неблагодарный труд министра финансов. Многие недоумевали, узнав об этом назначении. Что смыслит этот профессор физиологии в финансах и в политике? Прието и другие министры с многолетним стажем политической работы были склонны отнестись свысока к этому кабинетному ученому.

Но Хуан Негрин — человек исключительно талантливый. Скромный, немного застенчивый, он никогда не кричал о своих успехах. Однако министры вскоре убедились, что доктор Негрин блестяще наладил дело в министерстве финансов. Когда мятеж вылился в прямую интервенцию, Негрин, благодаря своему знанию заграницы, стал просто незаменимым членом кабинета. Все его советы были исключительно полезны. И, что важнее всего, он принадлежал к числу тех немногих людей, занимавших у нас ответственные посты, которые никогда, ни на один момент не усомнились в нашей конечной победе, которые верили в народ, в его героизм и не теряли этой веры и присутствия духа даже перед лицом катастрофы. Мы знали, что Негрин верит в Испанию: два его старших сына находились в армии, один — в авиации. А ведь были и такие министры, которые устраивали своих сыновей подальше от фронта. Доктор Негрин, премьер-министр Испании, требовал для своих сыновей только одного: чтобы им предоставили возможность сражаться против интервентов.

Теперь, когда Прието стал министром обороны и принял на себя руководство армией, флотом и авиацией, Игнасио обосновался со своим штабом в Валенсии. Я стала подыскивать нам квартиру, так как в «Рипальда» становилось все многолюднее. Игнасио не мог спокойно поесть, потому что к нашему столику беспрестанно подходили люди, задавали ему тысячу вопросов, заводили деловые разговоры, обращались с просьбами. Валенсию бомбили почти каждую ночь, и мы не могли спать. Правда, в refugio (убежище) мы не спустились, но зато управляющий гостиницей собирал всех своих жильцов в холле. Сонные, набросив на себя что попало, мы стояли и ждали, пока нервный управляющий не убедится, что бомбежка кончилась. Иногда это случалось три-четыре раза в ночь.

Итак, я принялась подыскивать квартиру. Но очень скоро я узнала, что тысячи людей, так же как я, решили покинуть переполненные валенсийские гостиницы. Поэтому во всем городе не оказалось ни одного свободного дома. За время войны население Валенсии увеличилось втрое. Здесь находилось правительство, сюда съехались государственные служащие и штабные, иностранные журналисты и военные атташе, и, конечно, сюда же стекались тысячи беженцев.

Наконец, уже в третий раз объезжая город и его окрестности, я нашла маленький домик, стоявший недалеко от деревни, в двадцати милях от Валенсии. Там не было ни электричества, ни водопровода, зато из окон открывался чудесный вид на горы. А через неделю там уже были свет, вода и кое-какая мебель, так что мы смогли, наконец, переехать. Столовая и кухня помещались в первом этаже, наверху было еще четыре комнаты. В нескольких шагах от нас стоял другой домик, где устроились шоферы с женами и военная охрана Игнасио, от которой он, командующий военно-воздушными силами республики, не имел права отказаться.

Жизнь за городом избавила нас с Игнасио от страшного нервного напряжения, в котором жила Валенсия. По дороге на службу мы любовались зелеными полями и деревьями, и на душе сразу становилось легче. Ужин в нашем крошечном садике являлся для нас настоящим праздником, хотя ели мы всегда одно и то же: чечевицу и рис. Впрочем, иногда удавалось достать мясные или рыбные консервы и лишь изредка — баранину, которую привозили из какого-нибудь отдаленного уголка страны.

Почти у всех крестьян в нашей деревне имелись крошечные фруктовые садики, переходившие по наследству от отцов к детям. Эти крестьяне, выращивавшие в валенсийской долине лимоны и апельсины, были мало похожи на большинство испанских крестьян, которые обрабатывали сухую, бесплодную землю, обычно принадлежавшую крупным помещикам. Здесь клочок плодородной земли мог легко прокормить целую семью, и крестьяне работали на себя, а не на помещика.

Когда мы переехали сюда, крестьяне еще не оправались от сильных волнений, которые им пришлось пережить за последнее время. Дело в том, что в начале войны анархистские профсоюзы, у которых были дурные советчики и дурные руководители, пытались загонять крестьян в нежизнеспособные коллективные хозяйства. Никто, конечно, не станет возражать против того, что современные способы обработки

земли дают большой эффект при коллективном хозяйстве и что каждый крестьянин зарабатывает в этом случае значительно больше. Но организация коллективных хозяйств вещь очень серьезная: она требует длительной подготовки и разъяснительной работы среди населения. Кроме того, коллективное хозяйство без современных сельскохозяйственных машин — это нелепость, а Испания во время войны производила не тракторы, а винтовки. Крестьяне были озлоблены: зачем бы к ним ни обращалось правительство Кавальеро, они вставали на дыбы или отвечали угрюмым молчанием.

Теперь правительство Негрина разрешило крестьянам обрабатывать землю так, как они считали нужным. Правительство поддерживало коллективы там, где крестьяне получили огромные участки земли, принадлежавшие фашистам, и где сами крестьяне изъявляли желание обрабатывать землю коллективно. Но в валенсийской долине не было необходимости проводить коллективизацию, и новое правительство ограничилось тем, что обратилось к местным крестьянам с призывом предельно увеличить количество сельскохозяйственной продукции. Накопление запасов и спекуляция продуктами встречались.

Министр земледелия Висенте Урибе энергично взялся за разрешение проблемы богатейшей Уэрты, входившей в состав Валенсийской провинции. Он объяснил крестьянам их роль в нынешней войне: разгром фашизма в значительной мере зависел от продовольственного положения. В различных районах страны Урибе по-разному разрешил земельный вопрос, применительно к условиям данной местности. Во многих районах он передал крестьянам помещичьи земли, добыл им кредиты и сельскохозяйственные машины и направил туда инженеров, которые строили плотины и проводили ирригационные каналы. Сельскохозяйственная продукция резко возросла на всей территории республиканской Испании — и это во время войны!

Лучшим доказательством успеха той политики, которую проводил Урибе, явился приток в армию добровольцев-крестьян, — крестьяне не пошли бы сражаться за правительство, не сумевшее разрешить земельный вопрос. И только каталонские крестьяне продолжали выражать недовольство и не шли ни на какие уговоры. Дело в том, что по конституции сельским хозяйством Каталонии ведали местные власти. Урибе не мог проводить там свою аграрную политику, а местное правительство, с одной стороны, принудительным путем насаждало коллективы, тогда как крестьяне были к ним

абсолютно не подготовлены, а с другой, разрешало им спекулировать и делать запасы. В то время, когда мы особенно нуждались в продовольствии, в Каталонии значительно сократилась сельскохозяйственная продукция.

Утром тридцать первого мая мы с Игнасио, как всегда, выехали из утопавшей в зелени садов деревни в жаркую, шумную Валенсию. В Бюро я узнала о событиях в Альмерии. Законное испанское правительство обстреляло в порту Ибиса военные суда мятежников. Кто посмел бы сказать нам, что мы не имеем права бомбить суда, привезшие нефть и военное снаряжение фашистским мятежникам, которые пытались свергнуть законное испанское правительство? А если во время боя мы повредили немецкое военное судно, то разве мы не вправе спросить: что же делало немецкое военное судно в гавани мятежников? Не нарушило ли оно соглашения о невмешательстве?

Итак, германское правительство послало свои военные суда в Альмерию, этот мирный приморский городок, отнюдь не являвшийся военным объектом, обыкновенный городок, где дети ходили в школу, женщины занимались хозяйством, а старики грелись на солнце.

Однако наци заявили, что население Альмерии «расплатится» за инцидент на Ибисе.

Когда немецкие суда вошли в маленькую гавань, жители Альмерии, увидев наведенные на них орудия, бросились в горы и спрятались в пещерах. Немецкий офицер скомандовал, и на мирный испанский городок обрушился град снарядов.

В это знойное тихое утро альмерийцы, укрывшись в пещерах, слушали долгий непрерывный грохот орудий. А когда взрывы, наконец, прекратились и дым поднялся кверху, они выглянули из пещер и на месте города обнаружили груды развалин. Десять минут назад они еще могли видеть спокойные, тихие улицы и дома, где стояли шкафы с посудой, кровати, сундуки с нарядными платьями, которые надевались на свадьбах и в праздники... Теперь над грудями камней лениво вился дымок. На улицах больше не было домов. Впрочем, не было и самих улиц. Альмерия стала городом скорби. А наци долго еще хвастались своей «героической победой» над мирным испанским населением.

Разумеется, Альмерия была только началом. Немецкие самолеты сносили целые баскские города и деревни. Герника, Дуранго и десятки деревень были сравнены с землей «храбрыми» немецкими летчиками. Мы знали, что это немцы, по-

тому что у нас были фотоснимки. Кроме того, каждым самолетом, который мы сбивали на севере, управлял пилот, говоривший только по-немецки. В то время было очень важно собирать эти факты, подтверждавшие интервенцию. Теперь, конечно, мы располагаем более явными доказательствами: теперь мы знаем, что баскские города были уничтожены немцами, хотя бы потому, что Гитлер заявляет об этом во всеуслышание.

Я никогда не забуду тех мук, которые испытал Игнасио за эти последние недели борьбы в Басконии. Он не мог, фактически не мог послать ни одного самолета ни в Бильбао, ни в Сантандер. У нас было катастрофически мало самолетов. В сущности, у нас их совсем не было, тогда как у мятежников их было несколько сот. Для полета в Бильбао требовались идеальные метеорологические условия. Наши самолеты, с незначительным радиусом полета, должны были бы подниматься с того аэродрома, который был ближе к Мадридскому фронту. Но мятежники, прекрасно осведомленные о нашем положении, непрерывно бомбили этот аэродром. Впрочем, если бы эскадрилье и удалось сняться, она неминуемо столкнулась бы с туманом в горах. Если бы ей и удалось благополучно приземлиться на северном аэродроме, немцы разбомбили бы ее, пока она заправлялась бы горючим. В Испании мало кто знал о том, сколько самолетов погибло у нас при попытке спасти Бильбао. Каждый наш самолет — был ли то старый, переоборудованный транспортный самолет, старый «Фоккер» или какой-нибудь другой — ценился на вес золота. В то время как итальянцы и немцы ежедневно поставляли мятежникам все новые и новые самолеты, мы с ноября не получили ни одного.

И все-таки, как бы ни были драгоценны для нас самолеты, мы были обязаны попытаться спасти Бильбао. Потерять его казалось чудовищным.

Но борьба была безнадежна. Мы не могли спасти Страну Басков от полчищ, обрушившихся на нас по указу двух диктаторов. Северные провинции были отрезаны от Мадрида неумолимой географией, и мы потеряли Бильбао.

После того как мятежники, или, верней, их германские союзники, захватили север, в стене франкистов начались разногласия. Различные партии, примкнувшие к Франко, не могли договориться между собой ни по одному вопросу. После победы на Севере «левое крыло» фалангистов потребовало осуществления на практике всех двадцати шести пунк-

тов своей программы, но наваррские рекете, считая себя хозяевами северных провинций, отклонили «постороннюю помощь». Наварра была самой отсталой из северных провинций. Традиции двух карлистских войн прошлого столетия все еще сохранялись в этом районе, отделенном горной цепью от трех промышленных баскских провинций. Теперь Наварра вздумала повелевать тремя смежными баскскими провинциями.

Генерал Франко надеялся, что германские и итальянские советчики помогут ему выйти из затруднительного положения. Он провозгласил себя вождем «единой» фашистской партии, объединив двух злейших врагов: фалангу и традиционалистов-рекете, и соответствующим декретом уничтожив все остальные партии. Но объединения нельзя добиться росчерком пера, даже в том случае, если человек, держащий в руке перо, находится под защитой немецких и итальянских пушек. Свою новую фашистскую партию генерал Франко окрестил: «Falange Española Tradicionalista de las Jons», что ровным счетом ничего не значит. Франко не устранил коренных противоречий между наваррскими фанатиками и испанскими подражателями немецким и итальянским фашистам, хотя, согласно его декрету, ни фалангистов, ни рекете больше не существовало.

В то время как единство мятежников было лишь декретировано, а раскол среди них с каждым днем все усиливался, испанский народ добился подлинного единства, осуществленного правительством Народного фронта, которое возглавлял доктор Негрин. Трагические события, имевшие место в начале мая в Барселоне, научили нас многому. Теперь мы хорошо знали, кто нам друг и кто враг.

Правительство Негрина, самое демократическое и разумное правительство, какое когда-либо знала Испания, выдвинуло лозунг: «Все для победы!» Страна подверглась суровому испытанию в огне войны. Летом 1937 года мы были уже дисциплинированным народом, сознательно защищавшим родину от иностранных захватчиков. И в связи со все усиливавшейся интервенцией Германии и Италии доктор Негрин так сформулировал новое направление нашей политики: если на фашистской территории есть испанцы, которые не хотят, чтобы их родину захватили интервенты,— а мы знали, что таких очень много,— то мы должны привлечь их на свою сторону.

Фашистский тыл являлся для нас таким же важным участком, как и передовые позиции.

Летом 1937 года реорганизованная республиканская армия одержала крупную победу: она разбила мятежников под Брунете, к западу от Мадрида.

— Если б только у нас было двадцать Модесто вместо одного!— повторял Игнасио, когда мы с волнением говорили о победе.

Под Брунете была убита Герда Таро, венгерка-фотограф. Она заходила ко мне в Бюро перед самым наступлением. Меня одолевали корреспонденты, требовавшие машин для поездки в Мадрид, и я была с ней не так внимательна, как мне хотелось бы. Она написала мне милую записочку и вместе с букетом положила на стол. «Мне очень неприятно беспокоить вас, когда вы так взволнованы, так заняты и так измучились,— писала она,— но я должна быть в Мадриде до того, как окончится наступление».

Герда глубоко верила в демократию. Она считала своим долгом показать всем честным демократам, что происходит в Испании. Она ничего не боялась; она думала только о своих снимках,— о том, чтобы через них поведать миру правду о нас.

В тот вечер Герда уехала в Мадрид. Я снова увидела ее в зале валенсийского Союза антифашистской интеллигенции, где было выставлено ее тело. Я вложила ей в руки цветы.

За время войны мы перестали оплакивать мертвых. Столько близких людей каждый день умирало на полях сражения! Столько людей, с которыми мы встречались и которые успели занять прочное место в нашем сердце, значилось в списках убитых! Многие из наших знакомых уходили и больше не возвращались. Был убит Бен Лайдер, молодой пилот-американец, героизмом и талантливостью которого так восхищался Игнасио. Я жила с мыслью, что каждый день может погибнуть мой муж—много раз ему только чудом удавалось спастись. Мы все приучили себя спокойно относиться к смерти. Нужно было работать—у нас не было времени для слез.

Но я не могла не думать о Герде Таро, молодой, прелестной женщине с ласковой улыбкой и почти детским лицом и фигуркой. Я долго смотрела на цветы, которые вложила ей в руки, а потом ушла и весь этот день уже не могла работать: я молча сидела за столом и все теребила в руке ее записку.

В конце августа 1937 года часть республиканских войск, одержавших победу под Брунете, была переброшена в Бель-

чите, на Арагонский фронт. Больше года на этом фронте пробыли дружинники-анархисты, недисциплинированные, лишенные твердого руководства. Почти с самого начала войны они бездействовали, их моральное состояние было невысокое, и результаты этого не замедлили сказаться. Теперь на Арагонский фронт прибыли дисциплинированные бригады Народной армии, и победа, которую они там одержали, имела не только военное, но и огромное политическое значение: она показала военную мощь Народной армии. Лучшие отряды дружинников-анархистов теперь были рады служить под командой опытных командиров. Крестьяне встречали наших бойцов с энтузиазмом. Они убедились, что Народная армия ничего общего не имеет с некоторыми дружинниками, которые со всеми удобствами располагались у них на постой и жили на всем готовом.

Игнасио вылетел из Мадрида в Арагон, с остановкой на ночь в Валенсии. Вид у него был измученный, но довольный. Авиацию, героически сражавшуюся под Брунете, и армия и весь Мадрид называли «La gloriosa»¹. Игнасио произвели в полковники.

В Пресс-бюро было много работы, и я проводила там дни и ночи. Некоторые сотрудники, в том числе два цензора-иностранца, ушли из Бюро.

В результате объем моей работы увеличился, но зато теперь никто уже не действовал мне на нервы, и это компенсировало меня за сверхурочные часы. Да и журналисты приветствовали эту перемену. Пресс-бюро научилось работать быстро и четко, и корреспонденты были довольны тем, как мы их обслуживали.

На седьмой день боев за Бельчите я с корреспондентами выехала на фронт.

На сарагосском шоссе нам преградили путь поваленные деревья: это были фашистские заграждения. Фашисты находились в двух милях отсюда. Дорогу перерезала река Эбро, и мост через нее был взорван. Наши войска перешли реку у Пины, влево от моста. Мы проехали по неровной песчаной дорожке, которую прокладывали бойцы по мере продвижения вперед.

Неделю назад весь этот район находился в руках фашистов.

¹ Славная (исп.).

Мы остановились побеседовать с бойцами, отдохавшими в тени деревьев. Бойцы с трогательной гордостью показали нам свои окопы, которые раньше занимал противник.

Мы застали их за обедом. Они ели мясо с картошкой, а сами все заглядывали в лежавшие перед ними газеты.

— Ну как, многие из вас выучились читать в армии? — спросил кто-то из корреспондентов, очевидно, желая проверить информацию министерства народного просвещения о культурной работе в армии.

Один из бойцов отложил газету.

— Почти все ребята из нашего батальона выучились читать во время войны, — сказал он. — Раньше некоторые умели прочитать только свое имя, да еще несколько слов, и то — по-печатному, остальные же были совсем неграмотными. Я, например, не мог бы прочитать даже свою фамилию. А теперь, видите...

Он указал на газету, а затем достал из кармана записную книжку.

— Когда у нас наступает затишье, я упражняюсь, — пояснил он, и в голосе его послышалась гордость. — Посмотрите.

Мы посмотрели. В эту совсем еще новенькую книжку боец заносил свои впечатления о войне и воспоминания о родной деревне.

— Это уже третья тетрадка, — сказал он, стараясь казаться равнодушным. — Комиссар говорит, что я очень быстро научился писать. Конечно, первая тетрадка была гораздо хуже.

Он взял у нас тетрадку и принялся рассматривать сам.

— Когда я вернусь к себе в деревню, — сказал он деловито, — я буду всех учить читать. Сейчас там все неграмотные, — разве что выучились после того, как я ушел на фронт. Но я их очень скоро научу: ведь всем хочется уметь читать. Мне давно хотелось учиться, да, сами понимаете, не было никакой возможности.

Я понимала. Думаю, что понимали и корреспонденты.

Боец стал развивать нам свой план. Было видно, что он долго и тщательно продумывал его.

— Сначала, — сказал он, — мои земляки не сумеют сами прочитать газету. Поэтому я им буду каждый день читать вслух. Пожалуй, я это буду делать на площади, знаете? И все будут подходить и слушать: мои земляки — народ смешланный, они рады потолковать о том, о сем.

Мы одобрительно кивнули головой. Мы ясно представили себе его земляков: степенных крестьян, «которые любят по-

толковать о том, о сем» и которые «очень скоро выучатся читать, потому что им давно хотелось научиться, да, понимаете, не было никакой возможности...»

— Я говорил об этом с нашим политическим комиссаром, — продолжал боец, — и он дал мне много полезных советов. Женщин, например, нужно учить наравне с мужчинами, потому что женщина тоже должна во всем разбираться.

Три журналистки кивнули головой.

— Как только мы разгромим фашистов и кончится война, — продолжал боец, — я немедленно вернусь в деревню и примусь за дело. Тут одного парнишку ранили, и он возвращался домой, так я велел ему рассказать об этом моим землякам: пускай готовятся к ученью. Он прослужил в армии меньше меня, поэтому не умеет еще хорошо писать, но, может, все-таки начнет их обучать понемножку, пока я не вернусь домой.

Мы расстались с бойцом, и думается мне, что не я одна мысленно пожелала ему пройти невредимым через всю войну, поскорей вернуться в деревню и обучить грамоте своих земляков.

До Бельчите мы добрались с трудом. Главные дороги были отрезаны, но и теми, до которых не долетали снаряды, тоже нельзя было пользоваться, так как фашисты, отступая, взрывали буквально каждый дюйм. Медленно двигаясь по проселочным дорогам, проезжая через опустевшие деревни, мы все время чувствовали, что находимся на территории, которую еще недавно занимали фашисты. Наши крестьяне не оставляли невспаханными ни одного клочка земли, их пашни подходили вплотную к окопам. А здесь невозделанные поля и засохшие виноградники тянулись на целые мили. Даже силой оружия не могли фашисты заставить крестьян обрабатывать землю.

Наконец мы увидели Бельчите. В городе все еще шла стрельба. Мы остановились в полумиле и стали прислушиваться к доносившемуся до нас гулу. Последние отряды мятежников забаррикадировались в каменной церкви, и теперь одно из наших орудий обстреливало ее. Пока мы наблюдали, вражеские самолеты дважды появлялись над городом и бомбили скопления наших войск, стоявших в черте города, но бомбы падали в открытом поле и не причиняли никакого вреда.

Наш автомобиль стоял один. Остальные направились было по другой дороге, но и они остановились в ожидании, пока

утихнет стрельба. Когда пули пролетали слишком близко, мы прятались за насыпи и низкий кустарник. Было ясно, что нам не придется ночевать в Бельчите.

Мимо нас прошла группа бойцов.

— Скоро конец, — сообщили они. — У них в церкви только два пулемета.

Один из бойцов пристально взглянул на нас и сказал:

— В городе страшная вонь. Эти сукины дети, что засели в церковной башне, так и косят каждого, кто пытается перейти площадь. Она завалена трупами бойцов и мертвыми мулами. Закопать их мы не могли, а при такой жаре...

Я решила вернуться в Валенсию. Меня ждала работа, к тому же я чувствовала, что не смогу вынести того, что увижу в Бельчите, не смогу пройти по этой площади.

Журналисты остались. В Валенсию они вернулись на день позже, потрясенные страшным зрелищем.

Лето подходило к концу. Народная армия одержала две крупных победы. Народ осознал свою силу. Если бы не итало-германская интервенция, мы быстро справились бы с мятежом.

А итальянцы тем временем читали в своих газетах телеграмму Муссолини, в которой он поздравлял Франко с падением Сантандера.

Итальянская печать подчеркивала, что падение Сантандера — это победа итальянцев. Но когда английское правительство, руководившее комитетом по невмешательству, сделало по этому поводу запрос, Муссолини решительно отверг наличие какой бы то ни было «интервенции».

Германия тоже не спешила с подтверждением своего «вмешательства» в дела Испании. Лишь однажды фюрер проболтался: он упомянул в своей речи о том, какое значение имеет для Германии бильбаоское железо. Но это неполное признание было изъято из текста речи, переданного из Берлина иностранными журналистами.

А тем временем итальянские и немецкие войска, итальянские и немецкие самолеты, итальянские и немецкие летчики, танки, тяжелые орудия, пулеметы, винтовки, боеприпасы и бензин выгружались в захваченных франкистами портах.

Мы с Игнасио отчетливо сознавали, что сравнительное затишье, наступившее после взятия Брунете и Бельчите, не предвещает ничего хорошего для республиканской Испании. Фашисты понесли тяжелые потери. Теперь им стало ясно, что они сражаются уже не с неопытными дру-

жинниками, но с обученной, дисциплинированной, мощной армией. В связи с этим Муссолини и Гитлер получили новый заказ: еще людей, еще оружия. Этот период затишья был периодом реорганизации фашистских армий. У республиканцев имеется мощная армия? Хорошо, тогда и мы, фашисты, увеличим свою армию, у нее будет еще больше орудий, танков, самолетов...

— Мы должны добыть оружие для ближайших боев,— озабоченно говорил Игнасио.— Буквально все, что у нас было, мы использовали под Брунете и Бельчите. Барселона должна работать быстрее. Мы должны иметь оружие!

Осенью правительство переехало в Барселону, чтобы находиться ближе к заводам, снабжавшим нас военными материалами. Но, конечно, это была не единственная причина. Необходимо было добиться более тесного сотрудничества всех политических сил в стране, чтобы превратить Барселону, крупнейший город в Испании, во второй Мадрид или во вторую Валенсию. Весь народ должен представлять собой одно неразрывное целое, и все его усилия должны быть направлены на осуществление лозунга: «Все для победы».

Кроме того, Барселона расположена недалеко от французской границы, а ведь только через нее и можно было получать оружие. Правда, оно поступало в ничтожном количестве, но все-таки нужно было принять меры к тому, чтобы хоть эти скудные поставки попадали в руки правительства и его армии.

Валенсия, довольно холодно встретившая мадридцев в ноябре 1936 года, теперь, через год, оплакивала наш отъезд. То понимание, которого не было между столицей и провинциями в течение нескольких столетий, появилось теперь, за год совместной борьбы.

Рубьо был недоволен переездом в Барселону. В Каталонии было свое Бюро цензуры, и нам надлежало проявлять во всех своих действиях исключительный такт. Ни в коем случае нельзя было нарушать права, гарантированные Каталонии кортесами. С другой стороны, работа нашего Бюро выходила далеко за пределы проверки иностранной корреспонденции. Мы разъясняли иностранным журналистам и многочисленным гостям смысл нашей борьбы и помогали им узнавать правду о нас. Мы знали, что они будут попрежнему обращаться к нам за помощью и информацией.

Меня, по правде сказать, не столько беспокоила мысль о том, что каталонцы будут пытаться ставить нам палки

в колеса, сколько вопрос о помещении для Пресс-бюро. Это был один из важнейших вопросов, связанных с переездом в Барселону: все большие здания были заняты правительственными учреждениями.

Наконец, после длительных поисков, мы устроились в помещении отдела пропаганды министерства иностранных дел. Рубьо рвал и метал. Мало того, что его освободили от обязанностей цензора, он еще должен работать бок о бок с министерством иностранных дел!.. Решив, что здесь мы будем менее самостоятельны и менее авторитетны, чем в Валенсии, он очень скоро уехал в Париж и возглавил там правительственное телеграфное агентство. И прежде чем я успела подумать, кто же заменит Рубьо, министерство иностранных дел уже назначило меня. Я стала начальником Пресс-бюро.

Это назначение меня не очень обрадовало. Я устала, устала физически, и чувствовала, что нервы мои долго не выдержат. Последнее время в Валенсии я с трудом заставляла себя разговаривать с посетителями. Меня раздражали их голоса, их глупые, а иногда и бессердечные вопросы. Как хотелось мне остаться одной хоть на несколько минут, не отвечать ни на какие вопросы, не слышать иностранной речи, не разрешать никаких щекотливых дел!

В один из своих приездов в Барселону Игнасио нашел нам квартиру. Он должен был выехать из Валенсии на неделю раньше и оставил мне для переезда старую грузовую машину. Семнадцатого ноября в Бюро все уже было упаковано: папки с бумагами, газетные вырезки, пишущие машинки. Уложила я и свои вещи.

Утром семнадцатого ноября мы вышли из дому и окинули прощальным взглядом знакомые места. Стояла прекрасная погода. Солнечный свет мягко струился в зелени садов, а на красных вершинах гор загорались ослепительные отблески. Мне тяжело было смотреть на дом. Мы с Игнасио прожили здесь почти год — тяжелый год войны, полный тревог и опасностей. И этот домик служил нам надежным убежищем, а вид на горы часто придавал мне бодрости и успокаивал нервы. И вот теперь мы уезжаем отсюда. Скоро ли я снова увижу этот дом? Скоро ли Испания будет свободной и я смогу вернуться к моим любимым горам? Когда кругом столько горя, расставание с любимым домиком может показаться мелочью, но все же в это ноябрьское утро глаза мои были полны слез. Как долго еще будут гонять нас, испанцев, с места на место, из одного дома в другой, из провинции в провинцию? Скоро ли воцарятся у нас мир и спокойствие?

Мы уже подъезжали к Барселоне, когда хлынул дождь, да такой сильный, что за его плотной пеленой ничего нельзя было разглядеть. Часовой у штаба авиации указал нам, как проехать на ту улицу, где нам предстояло поселиться, и, под проливным дождем, мы медленно двинулись к одному из предместий Барселоны. Наконец, миновав средневековый монастырь Педральбес, мы остановились у большого дома. За сеткой дождя он казался массивным и внушительным.

Это и было наше новое жилище. Дом принадлежал главному врачу, фашисту, который бежал за границу, а до этого старался снискать благосклонность правительства и, в частности, отдал свой дом под общежитие офицеров авиации. Таким образом, мы являлись законными владельцами этого дома и всей его обстановки.

С этого дня мне пришлось жить в коллективе. Сначала мне было трудно привыкать к этой жизни, но потом я любила ее. Всего тут жило около тридцати человек: офицеры авиации с женами и несколько служащих. В доме было восемь спален, три комнаты для прислуги, зал, столовая, чулан и огромная кухня.

Нам с Игнасио, несмотря на все наши протесты, предоставили бывшую спальню «хозяина», одну из самых безобразно обставленных комнат, какие я когда-либо видела. Репродукция «Весны» Боттичелли в натуральную величину закрывала стенной шкаф. Обилие позолоты, зеркал, драпировок и цветастых ковров свидетельствовало о дурном вкусе главного врача, который, очевидно, любил эту комнату, напомилавшую, по выражению одного из наших друзей, «спальню для новобранцев из вагнеровской оперы в каталонской постановке».

Но у нашей спальни были и свои преимущества. Из окна открывался вид на Барселону. Вдали виднелся порт Монжуич и синяя полоска моря. А кроме этого чудесного вида, у нас была ванная комната с электрическим нагревателем. Кто не страдает ревматизмом и кому не приходилось целый год мыться ледяной водой, тот никогда не оценит всю прелесть теплой ванны.

Другие спальни были уже заняты: в доме не осталось ни одного свободного угла. Первое время между членами общежития отношения были несколько натянутые, но постепенно те, кто не уживался в коллективе, стали переезжать на другие квартиры. Те жены офицеров, — впрочем, таких было немного, — которые интересовались главным образом кино, вечно жаловались на плохое питание и явно

скучали во время разговоров о политике и войне, сняли квартиры в городе, а их комнаты заняли другие. Мало-помалу дом наполнился людьми, которых сближало общее дело и общая цель. Все обитатели нашего дома работали, и женщины и мужчины. Целый день мы проводили на службе и встречались только по вечерам, за обедом. Вскоре мы стали уже находить удовольствие в этих встречах за обеденным столом и в тех дружеских беседах, которые мы вели в это время. Мужчины часто уезжали, — Игнасио, например, не бывал дома месяца по два, — и мы, женщины, поддерживали друг друга. Когда начались ужасающие бомбежки Барселоны, так отрадно было провести несколько часов с настоящими друзьями.

Приехав в Барселону, я нашла Игнасио в очень скверном состоянии. По натуре это был на редкость уравновешенный человек, с поистине железными нервами. Я наблюдала за ним в течение всех пятнадцати месяцев этой мучительной войны. Сначала ему приходилось летать на старых самолетах, которые каким-то чудом держались в воздухе, потом — руководить мужественными людьми, преодолевавшими невероятные препятствия. Я была с ним в момент трагического падения Бильбао. Я видела его во время наших наступлений, когда он напрягал все свои силы, чтобы добиться победы. Но никогда не был он так бледен и худ, никогда так не дрожали его руки, никогда он так много не курил, как теперь.

— Ты ждешь наступления мятежников? — допытывалась я.

— Да, конечно, мы ожидаем, что фашисты предпримут крупное наступление, это затишье не случайно, но меня волнует не только это.

— А что же?

Игнасио молчал. Но однажды ночью он вошел в комнату и хлопнул дверью. Это было так непохоже на Игнасио, что я испуганно посмотрела на него.

— У нас в армии предатели! — крикнул он. — Предатели!

В эту ночь он высказал все, что его так мучило. Руководство армией все еще частично находилось в руках старых кадровых офицеров. Игнасио был убежден, что многие из них не только не сочувствуют республике, но являются прямыми агентами Франко.

— Еще на прошлой неделе один из них перешел к мятежникам и унес с собой планы нашего наступления, которое генеральный штаб назначил на вчера. Мы так тщательно

подготовили это наступление, а теперь, конечно, пришлось от него отказаться.

— А сегодня что тебя так расстроило?— спросила я.

Игнасио закусил губу.

— Сегодня я долго говорил с Прието, просил, чтоб он разрешил мне отстранить офицеров авиации, которым я не доверяю. Но он сказал, что не разрешит мне этого до тех пор, пока я не представлю доказательств, с которыми можно было бы выступить на суде. Разумеется, я получу эти доказательства уже после того, как они предадут нас!

Игнасио шагал по комнате, заложив за спину руки и ломая пальцы.

— Неужели демократия не имеет права защищать себя?— говорил он.— Неужели в число гражданских свобод входит и потворство врагам?

— Кого ты подозреваешь?

Игнасио особенно беспокоили два человека. Один был тот офицер, который так напугал меня, когда я звонила в Мадрид из Аликанте, тот самый, который в 1934 году писал Игнасио в Рим о том, с каким наслаждением бомбил он астурийских горняков. Другой офицер, женатый на дочери известного итальянского журналиста, был близким другом одного из виднейших приспешников Франко.

Тревога, которой был охвачен Игнасио, передалась и мне. Но через несколько дней он пришел со службы сияющий. Он опять был у Прието и на этот раз убедил министра обороны. Эти люди уже арестованы; полиция тщательно изучает все их бумаги и документы.

Но радость Игнасио была недолгой. На другой же вечер, во время обеда, ему сообщили по телефону, что Прието велел освободить арестованных,—мы так и не узнали, на каком основании. Я никогда не видела Игнасио таким страшным, как в эту ночь. Он был смертельно бледен, глаза его лихорадочно блестели, губы дрожали. Я несколько раз просыпалась и видела, что он лежит с открытыми глазами.

Рано утром он встал и, не сказав ни слова, ушел на службу. Когда я пришла домой завтракать, мой старый друг Мария, которая теперь жила с нами, встретила меня в дверях.

— Не пугайся,— сказала она сурово.— Не плачь и не сходи с ума. Игнасио болен. Его только что привезли из штаба.

Я оттолкнула ее и, с сильно бьющимся сердцем, взбежала по лестнице. Игнасио лежал неподвижно, лицо у него было

пепельно-серое, взгляд устремлен в одну точку. Оказалось, что, стоя в штабе у карты и объясняя нескольким офицерам новый план наступления, он вдруг упал: с ним случился припадок грудной жабы.

Я просидела около него весь день и всю ночь. Время от времени в комнату входил кто-нибудь из барселонских врачей. Из Мадрида прилетел известный специалист по сердечным болезням.

Но вот прошли первые страшные дни, когда мы с минуты на минуту ждали второго припадка грудной жабы, припадка, который был бы смертелен, и я облегченно вздохнула. Мадридский врач сказал, что для полного выздоровления Игнасио требуется абсолютный покой.

— Не говорите при нем ни единого звука ни об авиации, ни о положении на фронте,— предупредил он.— Держите его в постели и после того, как он почувствует себя вполне здоровым, хорошенько питайте его, заставляйте слушать музыку, читать книги, которые отвлекали бы его от мыслей о работе, и при первой возможности перемените климат и обстановку. Помните: главное для него сон, сон и покой.

Но Игнасио только посмеивался. Однажды утром он встал, заявил, что здоров, и отправился на службу. Несколько дней я со страхом следила за ним. И вот как-то, когда я пришла домой обедать, он снова лежал в постели: припадок повторился. Опять прилетел мадридский специалист и решительно заявил Игнасио:

— Если вы не будете лечиться, то я не ручаюсь за вашу жизнь, понимаете: не ручаюсь!

На этот раз Игнасио послушался доктора, и мы решили поехать в Советский Союз.

Я знала, что ни в одной другой стране Игнасио не сможет поправиться. Если бы мы поехали в какой-нибудь благоустроенный французский санаторий, нам пришлось бы жить среди богатых поклонников Франко, и это окружение до такой степени раздражало бы Игнасио, что с ним случился бы третий припадок. К тому же я страшно соскучилась по Лули.

Как только Игнасио оправился после второго припадка, мы вылетели в Тулузу. Первое, что мы там увидели, это три прекрасных военных самолета новейшей конструкции. Наше правительство купило эти самолеты у Америки, но правительство Франции не пропустило их.

Когда мы пришли в ресторан, наше внимание привлекли полные корзиночки отличного белого хлеба, стоявшие на каждом столике. Мы с Игнасио невольно переглянулись. Мы вспомнили чечевицу, которую ели изо дня в день, и подумали о том, как рады были бы этому хлебу наши барселонцы. Мы не могли его есть. Мы пробовали, но он застревал у нас в горле.

Париж показался нам безумным городом. Мы чувствовали себя здесь так, словно спустились с Марса. О чем думают эти фланирующие по улицам люди, хорошо одетые, сытые и довольные? Разве они не знают, что их враг ведет бой около их границ? Почему эти люди не помогают Испании? Или они сошли с ума? Ведь следующие на очереди — они!

Мы с радостью покинули прекрасную столицу Франции, ибо нас охватывало бешенство при виде людей, столь равнодушных к опасности, грозившей им из соседней страны. Нам было хорошо лишь на многолюдных, но отнюдь не фешенебельных улицах, среди людей, которые устраивали митинги и кричали: «*Canons et avions pour l'Espagne!*»

Мы выехали поездом в Антверпен, чтобы там пересесть на советское торговое судно. Воздушное сообщение нас не устраивало, так как, в случае вынужденной посадки в Германии, немцы отправили бы нас во франкистскую Испанию. Наш небольшой пароход не отличался особенной роскошью, зато все здесь трогательно заботилось о нас. Мы ели ту же простую, но здоровую, сытную пищу, что и команда парохода. Большую часть времени мы проводили в каюте: читали, отдыхали. За обедом к нам подсаживался один из моряков, который немного знал английский. Он улыбался и все спрашивал нас:

— Нравится море? Спать хорошо? Еще кушать?

Молодая женщина-стюард говорила только по-русски, но ее улыбки были достаточно выразительны.

Однажды вечером, когда команда читала радиосводку, которую каждый вечер передавала Москва для своих разбросанных по всему свету кораблей, матросы неожиданно вскочили и, размахивая сводкой, бросились к нам.

— Республиканцы, Теруэль! — без конца повторяли они.

Мы не верили своим ушам. Мы знали, что во время болезни Игнасио наша армия предприняла наступление, так долго откладывавшееся из-за нескольких офицеров-предателей. Но — Теруэль!.. Это замечательно!

Моряк, говоривший по-английски, подтвердил нам сообщение о взятии Теруэля. На своем ломаном английском

языке он попытался рассказать нам о сражении, но, по правде сказать, нам были понятнее его наспех сделанные чертежи и патетические жесты.

Эта весть нас очень обрадовала, но вскоре Игнасио приуныл. Если б он был в Испании! Эта победа вылечила бы его скорее, чем любой отдых! Вспомнив о наставлениях врача, я переменяла разговор, и Игнасио, все же несколько успокоенный победой, немного отвлекся от мыслей о войне.

Мы много говорили о стране, которую нам предстояло посетить. Впервые за много месяцев мы обрели способность радоваться.

На одиннадцатый день, хорошо отдохнувшие, довольные тем, что снова ступили на землю, и бесконечно благодарные парходной команде (я никогда не видела, чтобы к иностранцам относились так тепло и внимательно), мы прибыли в Ленинград.

В России замечательно то, что многое вам сразу становится понятно. Мы приехали в гостиницу «Астория», большую, удобную европейскую гостиницу. В великолепном мраморном вестибюле мы увидели одетых в старые овчинные тулупы крестьян, разговаривавших с городскими жителями, одетыми по европейской моде; подтянутых офицеров Красной Армии, одетых лучше, чем офицеры в дореволюционной Испании, и моряков с военных и торговых судов в строгих синих форменках. Глядя на этих людей, которые оживленно беседовали друг с другом, мы воочию убедились в том, что такое бесклассовое общество.

В Ленинграде мы пробыли всего два дня. Я хотела поскорей устроить Игнасио в санаторий и не могла дожидаться встречи с Лули: ведь теперь мы были от нее так близко!

Скорый поезд плавно замедлил ход у московского вокзала. Я взглянула в окно и увидела на перроне долговязую, светловолосую девочку с темными, горящими от нетерпения глазами. И эта девочка так напомнила мне меня самое, какой я была, когда ходила в монастырскую школу, что я чуть не разрыдалась.

Я крепко прижала к себе Лули и сразу заметила, как сильно она изменилась. Она выросла, ее впалые щеки округлились, руки уже не были похожи на спички. Беспокойный взгляд, который я часто замечала у Лули перед ее отъездом, исчез. Она показалась мне, если так можно выразиться, помолодевшей, повеселевшей, словно эта страна с ее лаской и гостеприимством, страна, которая спасла мою дочь от голода и фашистских бомб, вернула ей детство.

Меня поразила школа, в которой жила и училась Лули. Испанские дети занимали прекрасный комфортабельный загородный дом. В зале для игр лежал красивый кавказский ковер. На стенах висели детские рисунки и стенные газеты. Посреди еще красовалась огромная нарядная елка, убранная золотыми блестками и гирляндами из разноцветных стеклянных шариков. В углу стоял превосходный рояль — коллективный подарок профсоюзов. На их средства содержался и весь этот дом, где две тысячи испанских школьников получали питание, одежду и где они занимались. Классные комнаты были светлые, веселые, с хорошей вентиляцией, мебель — легкая, современная. На окнах стояли цветы, на стенах висели репродукции знаменитых картин. Спальни были безупречно чистые, с отдельным шкафчиком для каждого ребенка.

— Здесь очень хорошо, даже роскошно, — нерешительно сказала я заведующему. — Но ведь это не везде так: наша гостиница, например, совсем не так комфортабельна, и мебель там не новая и не очень изящная.

Он был искренне удивлен.

— Но ведь у нас в первую очередь все получают дети! — возразил он. — Новая мебель в гостинице будет потом. Все, что у нас есть, мы отдаем детям. Такое у нас правило. Первое время, когда у нас на всех нехватало продуктов, дети получали все, что у нас было. А теперь, когда у нас изобилие продуктов, дети в первую очередь получают лучшую мебель, прекрасно оборудованные ванные комнаты, хорошие картины. Иначе и быть не может! Ведь дети — наше будущее!

Испанским детям жилось здесь великолепно. Лули училась в лучших мадридских школах, но и она была в восторге от русской. Другие же испанские дети, сыновья и дочери астурийских горняков, кастильских крестьян, мадридских рабочих, убитых на фронте бойцов, чувствовали себя здесь, как в раю. Им и во сне не могла присниться такая жизнь. Они взволнованно делились с нами впечатлениями, показывали свои книги и тетради, рассказывали о своих успехах в испанском языке. Надо сказать, что это была испанская школа, где занятия велись на испанском языке, где преподавали учителя-испанцы, где детей воспитывали, как испанцев, и говорили им, что настанет день, когда они смогут вернуться на родину. Русский язык они учили как иностранный, так же как школьники в других школах изучают немецкий или французский.

Я пробыла в школе несколько дней и все время наблюдала за Лули. Эта десятилетняя девочка превратилась в настоя-

щего лингвиста. Она свободно говорила по-русски — ведь до открытия школы она пять месяцев прожила в русской семье, — и еще не забыла немецкий и итальянский. Она лучше всех училась по истории и литературе, но вот ходьба на лыжах ей решительно не давалась. А между тем, другие школьники стали за это время настоящими мастерами лыжного спорта. Не лучше у нее обстояло дело и с танцами. Ее подруга Чарито танцевала как профессиональная балерина, а я должна была примириться с мыслью, что из моей дочурки не выйдет ни артистки, ни балерины, ни певицы, ни спортсменки. И тут ничего не могли поделать прекрасные педагоги с их новыми методами преподавания. «Зато из нее выйдет ученый», — утешала я себя.

Заведующий разрешил Лули поехать с нами в санаторий. Я бывала с родителями в лучших европейских санаториях — в Германии и во Франции. Но мне еще не приходилось встречать такого чудесного санатория, как этот, расположенный в двадцати пяти километрах от Москвы. Среди зеленых, покрытых снегом сосен стоит простой, изящный дом в новом стиле. Внутри он напоминает современную комфортабельную гостиницу. Отделка всюду такая же строгая и изящная, как и само здание. Мебель простая и удобная, — американцы называют этот стиль «шведский модерн». Нам отвели три прелестных комнаты.

Время шло быстро. Мы катались на коньках, на лыжах, играли в волейбол, в шахматы, три раза в неделю ходили в кино.

Санаторий принадлежал профсоюзу советских служащих. Среди отдыхающих можно было встретить швейцаров, канцелярских работников, механиков, и мы, с помощью Лули, беседовали с ними. Все они жили здесь бесплатно. Но что нас больше всего поразило, это что при санатории имелись врачи буквально по всем специальностям. Всем нам проверили зубы, Лули вырезали гланды, меня подвергли тщательнейшему осмотру.

Игнасио почти не разрешали двигаться. Два часа в день он лежал, одетый в меха, на открытой террасе. Иногда читал книги в прекрасной библиотеке. Постепенно он становился крепче, лицо его утратило то напряженное выражение, к которому я привыкла за последнее время.

Между тем из Испании стали приходиться все более мрачные вести, и Игнасио снова начал нервничать. Противник сконцентрировал под Теруэлем огромное количество военных материалов. Было ясно, что истощенная республиканская ар-

мия, исчерпавшая свои запасы, не сможет удержать город. Офицер, замещавший Игнасио, работал плохо. Людям, которых Игнасио подозревал в измене, которых он отстранил от руководства, несправимый Прието доверил важные, ответственные посты.

— Мы должны вернуться немедленно, — сказал однажды Игнасио, прочитав корреспонденцию из Испании.

Врачи пытались отговорить его. Он должен остаться, по крайней мере, еще на две недели, — утверждали они. Но Игнасио их не послушал, а я не настаивала. Я знавала, что он нужен в Испании, а здесь он все равно будет так волноваться, что опять заболеет.

Мне было очень тяжело расставаться с Лули. Я старалась не плакать, старалась помнить о том, что ни в какой другой стране у нее не будет такого счастливого детства, таких учителей, такого питания, нигде она не найдет такой любви и заботы. И все же... Москва так далеко, ехать сюда так долго, — когда же я снова увижу мою дочурку? Я знала, что я — счастливая мать: я не должна была думать о том, что бомба может разорвать на куски моего ребенка. Но когда поезд тронулся, я, насколько могла весело, в последний раз помахав Лули рукой, уткнулась лицом в подушку и разрыдалась.

Мы вернулись в Барселону в начале февраля, и все нам очень обрадовались. Вечером у нас собрались наши друзья, и мы, в виде подарка, вручили им пакеты с продуктами. Это была очень теплая встреча.

Но Игнасио во время этого скромного торжества сидел, как на иголках. Ему хотелось как можно скорее приступить к работе. На другой день он вылетел на фронт.

Перед отъездом он зашел ко мне.

— У мятежников сотни новых самолетов, новые скоростные истребители и бомбардировщики, — сообщил он. — Наши войска несут тяжелые потери. Положение чрезвычайно напряженное.

Оставшись одни в большом доме, — почти все наши соседи выехали в другие города, — мы с Марией, вместе со всей Барселоной, стали следить за далекими боями под Теруэлем. Барселона изменилась. Это уже не был прежний равнодушный город, теперь он был охвачен тревогой за Теруэль.

Вести оттуда доходили скупо и не радовали нас. Брешь, образовавшуюся под Теруэлем, нельзя было заполнить армией, не имевшей ни винтовок, ни артиллерии, ни самолетов.

Фашистские бомбардировщики, последовательными волнами пролетая над окопами, так и косили наши войска. Теруэль стал страшной «ничьей» землей. Мы получили письмо от мужа Марии: он сообщал, что наши войска несут тяжелые потери и что Теруэль не удержать.

В Барселоне появились измученные безоружные бойцы.

Прието и его присные, которые никогда по-настоящему не верили в победу народа над фашистскими захватчиками, уже начали подумывать о капитуляции.

Слухи о капитуляции распространились в Барселоне днем. А вечером началась крупнейшая в истории Каталонии демонстрация. Пятьдесят тысяч человек, — среди них, кроме каталонцев, были и жители других городов, переехавшие в Барселону, — двинулись к зданию, где заседал кабинет министров.

Узнав о демонстрации в последнюю минуту, я присоединилась к одной из колонн, шедшей с песнями и лозунгами к правительственному зданию. Когда мы остановились, громкоговоритель объявил, что делегация от испанского народа, в которую входят представители всех партий, отправилась к министрам. В числе делегатов была названа Пасионария. Кажется, никогда еще имя Долорес Ибаррури не вызывало такого бурного восторга, никогда еще не встречали ее такими пламенными приветствиями, какими встретили ее в этот вечер пятьдесят тысяч каталонцев.

Делегация вышла и сообщила что «премьер Негрин поклялся своей жизнью, что Испания никогда не пойдет на капитуляцию».

После этого мы стройными рядами двинулись к центру города, и в тот момент, когда мы достигли его, над головой у нас загудели фашистские самолеты.

С пятнадцатого по восемнадцатое марта эскадрильи фашистских самолетов бомбили Барселону через каждые три часа. Днем и ночью. *Днем и ночью.*

Игнасио прилетел вечером того дня, когда происходила демонстрация, а наутро снова вылетел на фронт. Я была рада, что он уехал. Одна мысль о бомбежке абсолютно незащитного города, который не мог выслать ни одного самолета, чтобы отогнать фашистов, который располагал лишь несколькими весьма неэффективными зенитными орудиями, свела бы его с ума. Все наши самолеты — а после Теруэля у нас их осталось очень немного — прикрывали отступление наших войск.

Мне бы хотелось забыть эти три дня, но я их отчетливо помню. Два миллиона барселонцев жили крайне скученно.

Каждые три часа над городом появлялись самолеты. Каждые три часа ревели сирены и мчались пожарные машины. И каждые три часа беспомощные люди настораживались, цепенели и молча переглядывались.

Куда итти? Что делать? Следующая бомба, наверно, упадет на нас.

На второй день бомбежки насчитывалось свыше тысячи убитых. На третий день — около двух тысяч.

Две тысячи убитых. Несколько тысяч раненых. Нога — маленькая детская ножка — лежит на окровавленном тротуаре. Укрыться негде. Защиты нет. Нет такого refugio, которое не стало бы могилой.

Это были страшные дни.

А ночи — сущий ад на земле.

В сумерки барселонцы, с тюфяками и одеялами, медленно шли к холмам, окружавшим город. Люди продолжали работать, и надо было хоть немного поспать.

Но сна не было. На третий день нас шатало от усталости, нам страшно хотелось спать, до безумия хотелось спать, — только спать. Но город не мог заснуть. Вы идете спать. Вы ложитесь в постель, но нервное напряжение вас не покидает, и на глазах у вас слезы. Наконец вы забылись тревожным сном. И вдруг вы просыпаетесь. Кругом тишина. Который час? Вы лежите неподвижно, совершенно неподвижно, но вы не можете сомкнуть глаза. Наконец, после долгих мучений, вы опять задремали. Через десять минут вы просыпаетесь от чудовищного, душераздирающего, невыносимого грохота бомбы, разорвавшейся за два квартала от вас. Снова взрыв, взрыв, взрыв, и вы встаете, одеваетесь и, с мутными глазами, шатаясь, поминутно вздрагивая от новых взрывов, выходите на улицу.

Вот что такое бомбежка Барселоны.

В сухих военных сводках вы читали: «Война в Испании показала, что гражданское население нельзя деморализовать бомбежкой. Трехдневная бомбежка Барселоны явилась неудачей для врага. Она лишь вызвала у населения еще более твердое желание бороться с врагом до полной победы».

Это правда. В течение трех дней Барселона страдала так, как не страдал еще ни один город в мире. И все-таки фашистам не удалось сломить наш дух.

На другой день бомбежки мы перестали говорить о ней. Упомянуть о фашистских самолетах считалось дурным тоном. Никто не призывал народ к спокойствию. Барселонцы сами словно сговорились не замечать фашистские бомбы. Мы

отворачивались от тех, кто впадал в истерику. Мы продолжали работать. Заводы и учреждения работали эти три дня почти нормально. Мы попрежнему ели свои бобы и чечевицу. Мы даже ходили в кино. А почему, собственно, не ходить? Бомба с одинаковым успехом может застигнуть и в постели.

О бомбежке говорили лишь напряженный взгляд барселонцев и суровая складка в углах рта.

Даже наши журналисты старались держаться стойко. Посольства предложили им переехать в городок, расположенный в тридцати милях от Барселоны. Иностранцы покинули город при первых же разрывах фашистских бомб, а некоторые и еще раньше. Но журналисты решили остаться. Это была не обычная бомбежка, заслуживающая, в лучшем случае, заметки на последней странице. Это было событие первостепенной важности. Их долг был остаться.

Гостиница «Маджестик», где жили журналисты, едва ли могла считаться безопасным местом. «Ритц» был поврежден в первый же день, потому что на этот раз фашисты бомбили не только кварталы бедняков, около гавани, но и фешенебельные кварталы. Почти все журналисты держались мужественно. Лишь немногие укрепляли свои нервы щедрой порцией коньяку. Большинство брало пример с барселонцев и спокойно продолжало заниматься своим делом.

А я попрежнему сидела за столом и приветливо беседовала с посетителями. Мне было бы гораздо легче, если б я могла кричать. Но я должна была с улыбкой слушать болтовню журналистов.

За эти семьдесят два часа у нас перебивало больше народу, чем за все предыдущее время. Ко мне в кабинет минутно входили корреспонденты, желая узнать новости с фронта, а то и просто без всякого дела. Во время нашей беседы вдруг начинала выть сирена. Мы пересаживались на диван. В этой комнате были две стеклянные двери и большое окно. И я больше боялась битого стекла, чем бомб. Стекло может попасть в глаз, а при прямом попадании уже не о чем беспокоиться.

На третью ночь я легла в постель такая измученная, что уже не могла думать о предстоящей бомбежке. Но, конечно, я увидела ее во сне. Думаю, что других снов у барселонцев тогда не было. Мне снилось, что бомбы падают у моего окна, а весь город объят пламенем.

Но это был не сон. Две цистерны с бензином, стоявшие в гавани, были повреждены бомбами и теперь пылали. Вся

Барселона была ярко освещена гигантскими языками пламени. Я спустила жалюзи, снова легла, спрятала голову под подушку. Мне стало душно, но, чтобы приглушить шум, я накрылась ковром и, наконец, заснула.

Через два часа меня опять разбудил страшный грохот. Я затаила дыхание. Снова грохот, от которого задрожал весь дом. Я не шевелилась. Я старалась не дышать, словно малейший шум мог выдать меня беспощадному, чудовищно жестокому врагу, притаившемуся за дверью. Третий взрыв. На пол посыпались осколки стекла. Попадала мебель. Я села, туло уставясь в темноту.

— Ты жива? — крикнула за дверью Мария.

— Да; — небрежно ответила я. — А ты?

— Тоже, — отозвалась Мария.

Наши голоса прозвучали неестественно спокойно. Бомба упала к нам во двор, не задев дома.

Мы думали, верней надеялись, что это последняя бомбежка. Утром фашисты пропустили обычное время: в течение пяти часов не раздалось ни одного взрыва.

В Бюро я избегала посетителей. Я сидела за столом и смотрела в пространство. Сотрудники старались сохранять спокойствие, но работать не могли.

В полдень все окна и двери с треском распахнулись: где-то очень близко упали бомбы крупного калибра. Мы все вскочили и переглянулись. Бомбы, казалось, падали все ближе и ближе. «Они бросают бомбы более крупного калибра, чем вчера», — заметил кто-то из корреспондентов. Я кивнула. Стенографистки, не мигая, смотрели друг на друга; их руки, впившиеся в край стола, стали совсем белыми.

Наконец грохот прекратился. Звон разбитого стекла — с тех пор я уже не могу слышать его, чтобы не вспомнить бомбежку — длился еще несколько минут. Затем все стихло.

Значит, нам еще не суждено умереть... Одна девушка начала плакать, закрывшись носовым платком, и мы все взглянули на нее с упреком.

— Ничего, — сказала она. — Я просто вспомнила убитого брата.

Мы сочувственно кивнули девушке. Мы были ей благодарны за ее тактичность.

В полдень мы с моей секретаршей и ее мужем пошли в ресторан. В ресторане было полно народу, все столики были заняты. Мы подсели к чужому столику и стали обедать. Меню оказалось хуже обычного: водянистый суп, крошеч-

ный кусочек мяса с салатом и три ореха. Во время обеда снова появились самолеты. Они пролетели прямо над нами, мы видели их в окно.

Впервые за эти три дня я почувствовала, что нервы мои не выдерживают. Мне стало страшно при мысли о том, что я смогу пережить эту бомбежку. Мы находились в одноэтажном здании, значит, были совершенно беззащитны. В ресторане было столько народу! Если упадет бомба и я останусь жива, значит, я буду одна среди мертвецов. На секунду я представила себе переполненный ресторан, в который попала бомба... Только бы меня убило! Убило наповал, чтобы не мучиться, не видеть убитых и искалеченных, не слышать их криков! Только бы не слышать и не видеть, как умирают кругом!

В ресторане воцарилась мертвая тишина. Все положили вилки, ложки, ножи. Официанты стояли неподвижно, с подносами в руках. Наконец самолеты скрылись, и где-то далеко послышались взрывы. Фашисты бомбили окраины города.

Все опять заговорили. Но я не находила слов, я только чувствовала огромное облегчение.

— Посмотрите на свои руки, — сказала секретарша.

Оказывается, при виде самолетов я как вцепилась руками в край стола, так и держала их и только сейчас ощутила в ладонях боль. Я встала.

— Я пойду в Бюро, — сказала я. — Спасибо за компанию.

Я шла одна. Мостовые были разворочены. Огромные густо населенные дома превращены в груды извести и щебня. Многие дома еще горели.

Придя в Бюро, я села за стол. Зазвонил телефон. Я не взяла трубки. «Теперь пожалуйста, — повторяла я в тишине. — Теперь можно. Теперь я одна, и мне все равно. Теперь можно, мне одной не страшно, мне трудно выдержать, когда я знаю, что вокруг меня будут умирать другие...»

Я встряхнулась: надо взять себя в руки.

Дома я сразу легла и заснула. Проснулась утром. Ночью бомбежки не было.

На следующий день в Барселоне возобновилась «нормальная» жизнь. Нас больше не бомбили. Мы только оплакивали своих мертвецов.

Однажды утром в Барселоне остановились поезда и трамваи. «Воздушный налет?» — спрашивали все друг друга и с тревогой глядели на небо, ожидая увидеть беспощадные самолеты. Но прошло несколько часов, и мы все еще не слы-

шали знакомого гуденья моторов. Наконец мы узнали, что фашисты заняли Тремп, крупнейшую каталонскую электростанцию.

Барселонцы встретили эту новость с обычным для них мужеством. Днем они работали, а вечером обедали в полной темноте: во всей Барселоне нельзя было достать ни свечки, ни лампы. У нас в доме лампу заменяло одно хитроумное изобретение: бутылка из-под одеколона, в которую наливали бензин; пламя выходило из маленького отверстия в трубке. От этой лампы шла вонь и копоть, но все-таки это было лучше, чем есть в кромешной тьме. Когда, через месяц, вернулся с фронта Игнасио, он приспособил небольшой электрогенератор. А через несколько месяцев правительство по бешеной цене купило за границей уголь, и на несколько часов нам опять стали давать свет.

Весной 1938 года, после падения Теруэля, положение на фронтах значительно ухудшилось. Фашисты, великолепно вооруженные, располагавшие легкой и тяжелой артиллерией и огромным количеством самолетов, продвигались на трех фронтах. На крайнем севере им удалось после взятия Тремпа отрезать Каталонию от Франции. На другом участке Северного фронта по главной сарагосской дороге они продвигались к Лериде, рассчитывая повести оттуда наступление на Барселону. На юге Каталонии, упорно продвигаясь к Средиземному морю, они стремились отрезать ее от остальной Испании.

Весь мир, затаив дыхание, следил за испанскими событиями. А министр обороны Прието сидел в своем министерстве, словно парализованный. Он не верил в народ. Он ждал, когда сбудутся его пессимистические предсказания. Офицеры-фронтвики, взбешенные тем, что министр обороны погрузился в полнейшую апатию именно в тот момент, когда войска особенно нуждались в его руководстве, обратились за помощью к Негрину. По прошествии нескольких страшных дней, когда командиры не могли добиться ответа от министерства ни на срочные телеграммы с фронта, ни на телефонные звонки, Негрин, которого связывала с Прието многолетняя дружба, был вынужден взять на себя руководство этим министерством. Обиженный Прието заперся в своем особняке.

Перед Негрином стояла далеко не легкая задача. В большой речи, которую он произнес перед тем, как занять новый пост, он призывал испанский народ бороться с фашистами до последней капли крови. В самых простых выражениях он

объяснил, что мы можем одержать победу над фашистами лишь в том случае, если остановим врага именно *теперь*. Наши заводы в Каталонии начали выпускать орудия и самолеты. В скором времени мы уже сможем начать контрнаступление, если только бойцы и тыл поймут, что «сопротивление теперь — это первый шаг к окончательной победе».

Эти спокойные, полные надежды слова Негрина еще теснее сплотили испанцев как на фронте, так и в тылу. Но это было еще только начало. Прието оставил дела министерства обороны в невероятном беспорядке. Негрину предстояло реорганизовать армию.

Тем временем фашисты продвинулись к Средиземному морю. Пятнадцатого апреля они заняли Винарос.

Однако наша возрожденная армия, все еще плохо оснащенная, но теперь полная решимости, явилась серьезным препятствием для осуществления фашистских планов разгрома республиканской Испании. Генерал Франко предполагал повести наступление из Винароса в двух направлениях: в северном — на Барселону, и в южном — на Валенсию. Но на севере наши войска задержали итальянских захватчиков у устья Эбро. На юге валенсийцы, вдохновленные мужественным призывом Негрина к борьбе, помогали бойцам строить укрепления, которые должны были задержать фашистских захватчиков. Бойцы с исключительным мужеством защищали Сагунто, единственный центр металлургической промышленности, оставшийся у нас после потери Бильбао. С апреля по июль под городом шли непрерывные ожесточенные бои. Основной удар фашистов обрушился на храбрых защитников Сагунто. Бсрьба в Леванте, начавшаяся удачно для фашистов, кончилась победой республиканцев.

Республиканская армия не смогла бы выдержать этого колоссального напряжения всех сил, если бы не так называемые «тринадцать пунктов». Первого мая Негрин обнародовал эти тринадцать пунктов, явившихся подлинной и исчерпывающей программой испанской республики. Он объявил, что эта декларация выработана правительством национального единения для того, чтобы показать не только всему миру, но и каждому испанцу, все равно, находится ли он на республиканской или на фашистской территории, за что борется испанский народ. Это был наш призыв к тем обманутым франкистами испанцам, которые втайне ненавидели иностранных захватчиков.

Ниже я привожу все эти тринадцать пунктов, так как они представляют собой единственную официальную, подлинную

и полную программу действий нашего правительства, за которую мы боролись и продолжаем бороться:

1. Полная независимость и целостность Испании.
2. Освобождение испанской территории от иностранных оккупантов и иностранного влияния.
3. Создание народной республики.
4. По окончании войны — проведение плебисцита о форме правления.
5. Соблюдение рехьональных (областных) свобод, совместимых с единством Испании.
6. Социальные и гражданские права для всех испанцев, включая свободу вероисповедания и свободу совести.
7. Охрана частной собственности и орудий производства и, одновременно, борьба с таким накоплением богатств, которое может привести к эксплуатации граждан.
8. Полная аграрная реформа.
9. Социальное законодательство, гарантирующее права рабочих.
10. Оздоровление нации и поднятие ее культурного и морального уровня.
11. Создание армии, защищающей интересы не какой-либо отдельной партии, но всего народа.
12. Отказ от войны как орудия государственной политики и верность Лиге наций.
13. Амнистия для всех примкнувших к мятежникам испанцев, которые докажут свое желание принять участие в обновлении страны, амнистия для всех рядовых, служащих в армии мятежников.

В те тяжелые дни, когда территория Испании была расчленена надвое, программа, выработанная правительством, вновь объединила страну.

После того, как мы потерпели поражение у Средиземного моря, в Барселоне начались продовольственные затруднения. Подвоз продуктов из богатой Валенсии прекратился, враг захватил Арагон и продвигался в глубь Каталонии. У Барселоны оставался один выход: ввозить продукты из Франции. В город прибывали все новые и новые партии беженцев, положение с продовольствием все ухудшалось.

Сообщение с Южной зоной было затруднено. Лишь спустя некоторое время удалось установить с ней радиосвязь, но это нас не удовлетворяло, так как радиogramму мог перехватить всякий. Побережье неоднократно подвергалось бомбежке; суда, курсировавшие между Валенсией и Барселоной, также подвергались обстрелу и торпедированию со стороны

немецких и итальянских военных судов и подводных лодок. Единственно надежной связью между нами и Центральной и Южной зонами оставалась авиация, но и этой связью мы, в силу ограниченных возможностей, пользовались недостаточно широко.

Через день один из четырех «Дугласов», находившихся в распоряжении правительства, вылетал на рассвете из Барселоны в Валенсию или в Альбасете и возвращался на следующий день. Как часто летал на этом самолете Игнасио, и как часто я, оставшись одна, думала о нападении вражеских истребителей на незащищенный транспортный самолет! Но мятежники так и не сбили ни одного из наших самолетов, которые все эти месяцы летали над территорией противника.

Однажды «Дуглас», на котором Игнасио возвращался из Валенсии, уже собирался приземлиться на барселонском аэродроме, когда неожиданно взвыли сирены и наши зенитные орудия начали обстреливать итальянские бомбардировщики. Зенитчики с ужасом увидели, что вражеские самолеты сомкнулись кольцом вокруг «Дугласа». Однако спустя мгновение пилоту удалось прорваться, и он снизился на нашем аэродроме, в нескольких милях от Барселоны.

В июле наши войска предприняли наступление.

Заводы в Барселоне начали выпускать знаменитые *chatos*. А самое главное, нам снова удалось получить несколько русских самолетов.

Игнасио был на седьмом небе. У нас есть авиация! Вернее, несколько самолетов! Конечно, у фашистов самолетов раз в восемь-девять больше, но что ж из этого? Мы могли бы всякий раз наносить удар фашистам, если бы у нас было хоть несколько самолетов, хоть несколько орудий, но у нас их не было совсем.

Форсирование реки Эбро явилось крупнейшим событием в испанской войне.

Полковник Модесто, составивший этот план, и подполковник Листер, который привел его в исполнение, рассчитывали на внезапность и быстроту операции, на мужество и дисциплинированность своих войск.

Они переправились через реку на рыбацких лодках и высадили войска на том берегу, прежде чем итальянцы узнали, что им предстоит сражение. Жители двух первых занятых нами деревень, все до единого республиканцы, давали итальянцам ложные сведения. Пока наши бойцы занимали одну деревню за другой, они продолжали сигнализировать итальянцам.

янкскому генеральному штабу: «Здесь все спокойно. Здесь все спокойно». Одного немецкого офицера наши бойцы захватили прямо в постели.

Наконец враги узнали, что Листер проник в глубь их территории, и начали бомбить мосты, наведенные нашими бойцами. Но Модесто и Листера выручила природная сметливость, свойственная выходцам из народа. Они придумали протянуть через реку старые паруса. Итальянские пилоты принимали их за мосты и жестоко бомбили. Настоящие мосты, замаскированные землей и ветками, с воздуха были почти не заметны.

Таким образом, четырехмесячная борьба на Эбро началась для нас крупной победой.

Наш небольшой воздушный флот проявил огромное мужество, показал настоящее мастерство.

В первые же дни наступления Игнасио был произведен в генералы. Он заявил своим бойцам, что его новый чин — это лишь признание их заслуг.

Корреспонденты не выходили из Бюро. Министерство иностранных дел вновь взяло на себя обязанности цензора. Я попросила каталонского министра внутренних дел, чтобы он разрешил нам руководить иностранной прессой и цензурой, и, к моему удивлению, он согласился. Теперь отделом цензуры руководил испанский профессор-лингвист, а у меня хватало времени только на прием репортеров и передачу информации. Мой штат разросся до пятидесяти двух человек. Среди них были, главным образом, женщины, так как большинство мужчин ушло в армию. Почти все эти женщины никогда раньше не служили, но они оказались способными и исполнительными, и, благодаря этому, Бюро работало четко. У нас не было ни бюрократизма, ни волокиты, свойственных многим государственным учреждениям. Мы начали работать на голом месте, поэтому нам не нужно было ломать старые, укоренившиеся традиции. У всех была одна мысль: выиграть войну. Тот, кто не ставил себе этой цели, вскоре сам уходил из Бюро или же его просили уйти. Понемногу испанские женщины, работавшие в Бюро, сплотились в одну дружную семью. Их объединяло то, что они вместе переживали все ужасы воздушных налетов, вместе играли в прятки со смертью, вместе оплакивали потерю близких, наконец, их связывала безграничная любовь к родине.

Это чувство солидарности, которое так поддерживало нас, было нам особенно необходимо именно теперь, потому что

борьба на Эбро, начавшаяся блестяще, постепенно превратилась в душераздирающую трагедию.

Перейдя Эбро, Народная армия продвинулась на двести квадратных миль. Весь мир с изумлением увидел, что народ, который так страдал от тяжелых лишений, от непрерывных бомбежек, который изнемогал в неравной борьбе, нашел в себе достаточно сил, чтобы повести наступление. Но оно было задержано — задержано прочной стеной из стали. Итальянцы и немцы, обозленные и напуганные поражением, переправили в Испанию огромное количество орудий и самолетов. В августе полковник Модесто сказал: «Это самый страшный фронт из тех, какие я видел. На каждом участке, протяжением в четыре мили, действуют одновременно 95 танков и столько самолетов, сколько мне никогда не приходилось видеть в воздухе».

Победа на Эбро досталась нам слишком дорогой ценой. Было ясно, что эта отчаянная попытка отогнать фашистов от Валенсии отняла у нас последние силы и средства. То небольшое военное снаряжение, которым мы располагали, — самолеты, орудия, танки, пулеметы, — все оно было брошено на поддержку этого героического наступления. Когда фашисты остановили его, а затем стали шаг за шагом отвоевывать территорию, мы отдали на защиту Эбро все свои силы, все свое мужество, все те материальные ценности, какие еще оставались у обнищавшего народа.

Несколько месяцев подряд мы сдерживали фашистов. Это трудно себе представить. Ведь под конец мы остались без орудий, без самолетов, и все же мы удерживали наши позиции под ливнем бомб и снарядов. В этой борьбе фашисты потеряли 70 000 солдат. Но мы потеряли наши лучшие, отборные части. Муссолини посылал испанским фашистам все новые партии итальянского пушечного мяса — покорных, запуганных итальянских солдат. Но у нас никто не мог заменить бойцов из бригад Листера и Модесто, тех, что начали войну в славном Пятом полку, тех, чей дух закалялся в ежедневных боях, тех, что поклялись перед боями на Эбро до последней капли крови сражаться за родину. К тому времени, когда генеральный штаб отдал приказ войскам отступить за Эбро (это было 16 ноября 1938 года), почти все их командиры, их храбрые соратники, полегли на том берегу. А Игнасио уже некого было послать на смену пилотам, совершавшим героические подвиги на Эбро.

Кое-кто предсказывал, что Испания погибнет в мае 1938 года. Но до ноября 1938 года мы продержали фаши-

стов на том берегу Эбро. Мир никогда не узнает, скольких героических усилий стоила нам борьба за Эбро. Наши потери — людьми, военным снаряжением, боеприпасами — были огромны. Последние дни наши бойцы, в буквальном смысле слова, кулаками отбивались от фашистов, действовавших при поддержке тяжелой артиллерии.

И все-таки мы не падали духом. Я узнала об отступлении наших войск на Эбро еще до того, как это известие появилось в мировой прессе, но это меня не повергло в уныние.

Мы знали, что наше наступление на Эбро взволновало всю франкистскую Испанию. Оно окрылило тех честных испанцев, которые случайно оказались на захваченной франкистами территории и в душе ненавидели иностранных захватчиков, оно усилило раскол в стане мятежников. В тылу у Франко вспыхнули восстания. Участились стычки между карлистами и фалангистами. Франко стоял перед лицом неизбежной смуты.

В этот момент, когда мы так нуждались в наших лучших войсках, доктор Негрин нашел в себе мужество отчислить из армии иностранных добровольцев. У нас их было шесть тысяч — мужественных и дисциплинированных антифашистов, которые приехали в Испанию со всех концов света и сражались плечо к плечу с испанскими бойцами.

Нам было очень грустно расставаться с иностранными добровольцами. Они сражались в Испании с беззаветной храбростью и служили нам примером дисциплины и выдержки. Правда, теперь нам уже не нужно было учиться у них: в нашей армии укрепилась дисциплина. Но мы испытывали чувство бесконечной благодарности к этим людям, которые приехали из далеких стран сражаться за демократию и, если надо, умереть за нее, как умерли многие их товарищи.

Между тем, настали страшные дни. Испания на время забыла о своем горе: она глубоко переживала события в Чехословакии. Мы не отходили от радио. Нам казалось, что наша судьба решается там. Душой мы были с чешским народом.

Вскоре мы принялись за устройство проводов интербригадовцам. Игнасио опасался, что фашисты узнают о параде и снова будут расстреливать беззащитный народ. Поэтому парад не был официально объявлен. Народ, наблюдая за украшением авеню «14 апреля», старался по ходу работ определить день и час предполагаемой церемонии. Все цве-

точные киоски и магазины получили заказы от рабочих и служащих на этот торжественный день.

Наконец 17 октября, в полдень, Игнасио, придя домой завтракать, сказал, что парад назначен на сегодня. Когда я после завтрака возвращалась в Бюро, улицы уже были запружены людьми, и буквально все держали в руках букеты. На улицах не было ни марокканцев, которые сдерживали бы народ, ни полиции, которая выстроилась бы цепью на авеню и не пускала бы толпу даже смотреть на парад. Франко не мог устроить ни одного парада по случаю очередной своей «победы», чтобы не призвать чуть ли не половину своей армии для охраны «победителей». А тут вся Барселона вышла на улицу проститься с добровольцами, и нигде не было видно ни одного полицейского. Наши вожди, среди них Пасионария, направились к трибуне сквозь густую толпу, горячо приветствовавшую их.

Автомобиль Негрина проехал возле самого тротуара, и девушки забросали его цветами. Испанский народ был тесно сплочен единой целью и единой надеждой — завоевать свободу для всех.

Парад открыли лучшие части республиканской армии и флота. Я не могла удержаться от слез. Бойцы выглядели такими сильными, здоровыми, подтянутыми. Они проходили стройными рядами, с высоко поднятой головой. Многие пели. Народ бурно приветствовал своих защитников. Но мне, увы, было известно, что винтовки, которые несли бойцы, годились только для парада. Все оружие, которое еще могло стрелять, мы переправили на Эбро, но его было так мало!

За испанскими бойцами шли интербригадовцы. Их приветствовали восторженно и трогательно. Девушки бросали им цветы. Интербригадовцы шли без винтовок. Розы и еще какие-то пестрые душистые цветы украшали их шапочки и старые, поношенные куртки. Многие несли на плечах испанских мальчуганов... Пройдет время, и мать такого мальчугана скажет ему: «Когда тебе было четыре года, во время парада на авеню «14 апреля», герой-интербригадовец нес тебя на руках».

Мне кажется, я никогда еще не видела такого энтузиазма. Испанский народ, прощаясь со своими иностранными друзьями, выражал им свою огромную благодарность. А когда на трибуне оркестр заиграл траурный марш в память бойцов, которые навеки остались в Испании и никогда уже не вернуться на родину, вся Барселона, обнажив голову, плакала. Она оплакивала тех англичан, американцев, поляков, немцев,

итальянцев и французов, которые стекались к нам, вливали в сердце испанского народа надежду, силу и гордость и умирали за свободу Испании, за свободу всего человечества.

Одна из самых прекрасных повестей — это повесть об Интернациональных бригадах.

Наши приморские города подвергались непрерывной бомбежке. На Барселону налеты производились почти ежедневно. Десятки небольших испанских гаваней были стерты с лица земли. Итальянские и немецкие самолеты одно за другим топили наши суда с продовольствием.

Положение на фронте все ухудшалось. После того как наши войска отступили за Эбро, фашисты стали готовиться к крупному наступлению на Каталонском фронте. Они не хуже нас понимали то огромное значение, какое имела для республики французская граница.

В сочельник четыре итальянских дивизии повели наступление на севере Каталонии, между Леридой и Балагером. Через три дня, во время обеда, который, по обыкновению, состоял из бобов и чечевицы, Игнасио сказал:

— У них шестьсот самолетов на одном только участке Сегре.

Мы все опустили вилки и молча взглянули на него.

— А сколько у нас? — еле выговорила я.

— Штук девяносто, считая «Цирк Крона».

«Цирк Крона» — это известный во всей Европе цирк, ежегодно приезжавший в Мадрид. Его именем называли мы нашу необыкновенную коллекцию переоборудованных транспортных самолетов, которые от старости часто расплывались в воздухе.

— Ничего, — прибавил Игнасио, — мы еще можем доставить им много неприятностей.

Мы постарались изобразить на лицах улыбку и снова принялись за чечевицу.

В начале января 1939 года фашисты повели наступление на Барселону из Тортосы, все время держась берега.

Наши войска, в большинстве — неопытные, плохо вооруженные новобранцы, отступали. Полковник Модесто бросил остатки своего знаменитого корпуса, почти уничтоженного в боях на Эбро, на ликвидацию прорыва. Нам нехватало даже винтовок, а пулеметы были невиданной роскошью. Вся наша тяжелая и большая часть легкой артиллерии были использованы при попытке удержать Эбро.

Теперь фашисты наступали на Барселону в трех направлениях: с севера, запада и юга. Никогда еще не были они так прекрасно оснащены. Разведка сообщала, что они получили новые запасы военного снаряжения. На всех трех фронтах они сметали наших бойцов снарядами, косили их пулеметными очередями, высылали против них танки и самолеты — шестьсот самолетов на одном фронте и почти столько же на других. И этой стальной лавине мы могли противопоставить только нашу жизнь. Наши лучшие войска пали на Эбро. Новые пополнения состояли из неподготовленных бойцов, из людей в возрасте свыше тридцати пяти лет и юнцов, которым не было и двадцати, и вот они-то и должны были выдерживать этот ураган бомб и снарядов! Из трех бойцов один имел винтовку. Два других стояли рядом с ним и, когда он падал, поднимали его винтовку и стреляли в надвигавшегося врага.

Новый 1939 год... По утрам мы вставали, ели неизменную чечевицу и скверный хлеб, отправлялись на работу. Вечером возвращались домой, ложились в постель и пытались заснуть. Но нас не покидало ощущение удушья, мы физически ощущали руки врага на своем горле. День и ночь вся Барселона думала только о фронте. Первые дни нового года прошли под знаком глубокого отчаянья и тревоги.

Игнасио ежедневно вылетал на фронты и редко ночевал дома. В Бюро попрежнему приходили журналисты, подсаживались ко мне, говорили о погоде, передавали какую-нибудь сплетню, а затем наступало угрюмое молчание. Изредка они спрашивали:

— Что вы скажете, Констансия?

И я неизменно отвечала:

— Не может же вечно длиться наступление. Даже и они не могут без конца расходовать такое количество бомб и снарядов.

Обычно журналисты утвердительно кивали и уходили. Иногда они вяло поддерживали разговор, глядя не на меня, а на пол или на потолок или рассматривая свои ногти.

— Но если фашисты будут вести наступление в таких же масштабах...

Я и на этот вопрос отвечала не языком военных обзоров, не с деланным оптимизмом, но от чистого сердца:

— Испания будет свободной. Испания никогда не будет фашистской.

Я и сейчас убеждена в этом.

Вскоре после Нового года я отправила из Барселоны группу детей беженцев, которых мы приютили в нашем доме. Теперь бомбежки не прекращались. Днем и ночью выла сирена, днем и ночью небо освещалось заревом пожаров. По городу непрерывно разъезжали кареты скорой помощи. Санитары уносили изуродованные тела убитых во время очередного налета. Каждый день и каждый час фашисты бомбили Барселону — убивали детей, увечили женщин, доводили народ до полного изнеможения.

Положение на фронте становилось все более напряженным. Год назад с фронта поступали худшие вести, потому что тогда армия была разгромлена. Теперь наши войска не бежали. Наша армия не была деморализована. Все дело заключалось в том, что у нас не было оружия, не было даже винтовок.

Фашисты убивали безоружных людей и по трупам шли дальше, — на Барселону. Итальянские войска, вооруженные до зубов, хорошо обмундированные, продвигались под прикрытием тяжелой артиллерии и самолетов. Они подходили к одним окопам, убивали всех, кто там находился, и по трупам переходили к следующим.

Почти все бойцы, защищавшие Барселону, были призваны в армию неделю-две назад. Они не успели пройти военную подготовку. Они отправлялись на фронт безоружные. Между Барселоной и фашистами была стена из человеческих тел, и ничего больше. Наши лучшие офицеры погибли на Эбро. Даже в отборных республиканских войсках было очень мало командиров. А во вновь сформированных частях их почти совсем не было.

Вечером 22 января я присутствовала на конференции барселонских женщин. Наши мужья сражались на фронте. Женщины Барселоны объединились для того, чтобы строить укрепления в черте города.

Фашисты прорвали последнее кольцо укреплений, защищавших Барселону. И мы решили разрыть мостовую и построить из булыжника баррикады на улицах. Когда фашистские захватчики подойдут, мы будем лить им на голову кипящее масло.

Мы дорого отдадим свою жизнь.

Конференция проходила в тяжелой атмосфере. Девять раз мы были вынуждены прерывать конференцию из-за бомбежек.

Прислушиваясь к разрывам бомб, мы думали о том, чего никто из нас не смел произнести вслух.

Все мы знали, что Барселону удержать нельзя, но говорить об этом мы не могли: слова застревали у нас в горле.

Город лежит в живописной долине, окруженной холмами и легко уязвимой с юга, где протекает река Льобрегат. Враг уже близко, и как только он завладеет высотами, господствующими над городом, и Барселона будет отрезана от остального мира, он живо расправится с нею: с моря, воздуха, с суши.

В эту ночь я не сомкнула глаз. Мне было так тяжело, что я даже не плакала. Фашисты непрерывно бомбили город, но разрывы бомб не доходили до моего сознания: я думала об Испании, о моей родине, которая мне дороже жизни и которую фашисты заливали кровью.

На следующее утро я, как всегда, была на службе. В Бюро приходили журналисты. Нам, в сущности, не о чем было с ними говорить, и мы молча сидели за своими столами. Время от времени ревела сирена, но мы этого почти не замечали.

В одиннадцать часов меня вызвал к себе товарищ министра иностранных дел.

— Немедленно принимайтесь за упаковку важнейших документов,— сказал он.

Он проговорил это каким-то сдавленным голосом, не глядя на меня и нервно потирая рукой щеку. Я поднялась со стула и медленно вышла из кабинета.

Вернувшись в Бюро, я, проходя мимо моих ближайших помощниц, шепнула им: «Зайдите ко мне».

Когда все собрались, я встала и, сцепившись руками в край стола, сдерживая волнение, сказала:

— Мы сейчас же должны уложить все самые ценные документы. Остальные надо сжечь. Мы должны быть абсолютно уверены в том, что после нас не останется ничего такого, что могло бы помочь врагам или повредить друзьям.

Женщины (все мужчины, служившие в Бюро, давно ушли на фронт) молча смотрели на меня. И тут я поняла, что они и не подозревали о том, что я знала уже несколько дней. Они не представляли себе, что Барселона может пасть, им казалось, что как-нибудь, каким-то образом, она будет спасена...

А теперь они узнали истину.

— Комплекты газет нужно сжечь?

Я невольно почувствовала благодарность за этот трезвый, деловой вопрос. Задала его совсем молоденькая девушка. Ее отец и брат были убиты на фронте.

— Да, мы не можем взять с собой комплекты газет,— ответила я,— они займут очень много места, а место у нас на вес золота.

Воцарилось тягостное молчание. За последние два с половиной года десятки тысяч, быть может свыше миллиона, испанцев были изгнаны из своих домов надвигавшимися фашистами. И все-таки эти девушки и женщины никогда по-настоящему не думали о том, что значит бросить все, что имеешь, все дорогое и привычное, и перекочевать в чужой, быть может враждебный, город.

Тем не менее, никто из них не плакал. Несколько оправившись от неожиданности, они твердыми, решительными шагами, высоко подняв головы, вышли из комнаты. Через полчаса я прошла к ним и увидела, что они быстро и молча разбирают папки и ящики.

— После падения Барселоны у нас еще останется большая территория,— сказал мне как-то Игнасио.— Это отнюдь не конец войны.

Я передала его слова моим сотрудницам, и их лица прояснились, а голоса уже не звучали так напряженно.

Уложив документы, они стали обращаться ко мне с вопросами:

— Когда мы уезжаем?

— Можно взять с собой носильные вещи?

— Мы уедем одни или разрешат взять с собой и семью?

Но я ничего не могла им ответить: я сама ничего не знала. Эти робкие вопросы, которые можно было теперь слышать с утра до вечера, измучили меня, измучили товарища министра.

В полдень я зашла к нему в кабинет и попросила узнать, когда мы выезжаем.

— Мои сотрудники волнуются,— пояснила я.

Но товарищ министра, талантливый архитектор и обаятельный человек, не мог справиться с эвакуацией трехсот служащих и с отправкой бумаг и документов не только Пресс-бюро, но и всего министерства иностранных дел,— документов, которые во что бы то ни стало нужно было сохранить.

Он одобрил мое предложение — обратиться к ведавшему военными перевозками полковнику, которого я хорошо знала. Я сказала этому полковнику, что у нас есть лишь три старых машины, которые нам необходимы для иностранных журна-

листов: впрочем, может быть, последние уедут с теми журналистами, у которых свои машины. Но это все, чем мы располагаем для эвакуации.

— Для трехсот человек?— осведомился полковник.

— И для документов.

Полковник побагровел.

— Один грузовик я могу предоставить вам сегодня, может быть, два — завтра, но не больше. Почему вы не закажете специальный поезд, как это делают другие правительственные учреждения?

Товарищ министра стал добиваться поезда. Мы подсчитали, что вместе с семьями наших сотрудников нам нужно эвакуировать семьсот человек. Некоторые уехали со своими друзьями, но у большинства не было никаких средств передвижения. Их непременно надо было отправить: любого из этих семисот человек Франко подверг бы репрессиям.

Целый день мне звонил Игнасио:

— Когда вы уезжаете? Постарайся вернуться домой пораньше.

Но я не могла уйти из Бюро, не уладив вопроса с поездом. Я обещала моим сотрудникам, что поезд будет подан завтра, однако, никакой уверенности у меня не было.

В десять часов вечера, когда я все еще была в своем кабинете и снимала со стены фотографии Лули (они висели против моего стола, и, работая, я время от времени поглядывала на них: вот Лули читает, вот она играет, а вот она слушает радио), курьер принес мне письмо. Меня извещали, что ни поездов, ни грузовиков не будет. А если и будут, то их используют исключительно для армии, которой нехватает транспорта.

Я бросилась разыскивать старого толстого профессора, замещавшего дель Вайо.

— Вы должны предоставить место моим сотрудникам в поезде, который предназначен для министерства иностранных дел!— выпалила я.

Профессор хранил невозмутимый вид, и это меня бесило.

— Отчего же нет?— сказал он, пожимая плечами.— Конечно, для всех сразу места нехватит, но не волнуйтесь: впопых мы сможем получить еще несколько поездов.

Мне хотелось дать ему по физиономии. Как же не волноваться, когда полковник, ведающий эвакуацией, категорически заявил, что больше не будет ни поездов, ни грузовиков, а если они случайно и появятся, то будут использованы только для армии!..

Наконец, добившись от профессора разрешения устроить некоторых моих сотрудников в его поезде, я отправилась к товарищу министра, чтобы он подписал им разрешение на выезд. Но он был на каком-то важном заседании.

Тут передо мной возникло новое препятствие. Поезд отправляется в восемь часов утра, а сотрудники приходят на службу в девять. Как им дать знать? Номера телефонов вместе с другими делами мы уничтожили. Поймав нашего курьера, я объяснила ему, в чем дело, и он поехал на велосипеде предупредить тех немногих сотрудников, чьи адреса мы смогли припомнить.

В полночь, когда я с тремя сотрудницами все еще продолжала работать, в Бюро вошли два бойца.

Сержант сказал:

— Машина генерала у подъезда. Нам приказано немедленно отвезти вас домой.

Тут я уже не могла спорить. Я сделала для своих сотрудников все, что от меня зависело, и теперь мне оставалось только надеяться, — хотя, признаюсь, надежда у меня была слабая, — что утром все они получат места в поезде. Оставаясь в Бюро, я все равно ничем не могла бы им помочь. Кроме того, я не имела права задерживать Игнасио: он был нужен на фронте. Я попрощалась с моими сотрудницами и вышла.

В квартире у нас все было перевернуто вверх дном. Горничную я застала в слезах: она никак не могла выполнить распоряжение Игнасио — втиснуть самые необходимые вещи в два чемодана.

Кухарка и прачка рыдали. Им нельзя было уехать, так как в Барселоне оставались их мужья и родители.

— Никому не говорите, что вы работали у нас, — предупредила я их. — Никому. Иначе вы будете расстреляны.

Рыдая, они повисли у меня на шее.

Дом был полон людей, которые собирались уехать вместе с нами, среди них — одна старая глупая дама, мать товарища военного министра. Она все время ворчала на сына, предложившего ей уложить вещи в один чемодан. Когда я услышала ее глупые причитания, сердце у меня упало. Я обещала ее сыну присмотреть за ней во время эвакуации и теперь убедилась, что это будет нелегкая задача.

Пока мы наскоро ужинали, я все твердила, что не могу уехать, пока не увижу своих сотрудников в поезде. Но никто не обращал на меня внимания. Час нашего отъезда был уже назначен, все было решено без меня.

Затем пришел мой начальник и сказал, что Негрин предложил кабинету министров выехать в Фигерас и ни в коем случае не оставаться на ночь в Барселоне.

Мы решили провести ночь в загородной вилле товарища военного министра, в тридцати милях от города. Раньше мы часто ездили туда во время бомбежек, чтобы выспаться. И теперь мы делали вид, будто мы, как прежде, едем отдохнуть к друзьям. Ведь даже Негрин говорил, что, может быть, утром мы вернемся в Барселону и окажем помощь в проведении эвакуации. Но в глубине души мы сознавали, что это нам не удастся.

В четвертом часу утра мы уселись в машины. Игнасио уехал в генеральный штаб, где он должен был провести остаток ночи. Никто толком не знал, где враг, близко или далеко от Барселоны. Нашим шоферам не было известно, какие дороги свободны, какие заняты фашистами.

Три машины выехали в кромешной тьме. Не было ни луны, ни звезд, на улицах не горели фонари. Вокруг нас простирался безмолвный черный город. Все молчали. Кое-кто тихо плакал, остальные словно окаменели.

За этот год я полюбила Барселону, полюбила самый дух этого каталонского города, его своеобразную архитектуру. Но сейчас не он занимал мои мысли. Всю дорогу я думала о тех барселонцах, что не могли покинуть город, ибо у них не было ни поезда, ни легковой машины, ни грузовика, которые спасли бы их от ярости фашистов. Их настигнут, потому что у них нет сил итти пешком. Голодовка истощила их. Они не могут итти,— они оказались в ловушке.

Мы подъехали к вилле на рассвете. Все комнаты старого дома были набиты битком. Многие спали на полу. Кто-то проводил меня в комнату, где находилась еще одна женщина, жена политического комиссара. От волнения она болтала без умолку, и под ее болтовню я заснула.

Проснувшись, я пошла в кухню за горячей водой и в вестибюле увидела Игнасио. Он спал, сидя в кресле. Его шофер сказал мне, что Игнасио провел бессонную ночь на фронте, теперь он отдыхает, а затем поедет в генеральный штаб, в Вич.

Через полчаса старый дом опустел. Я осталась, ожидая, что кто-нибудь возьмет меня с собой в Фигерас. О возвращении в Барселону не может быть и речи: все дороги забиты беженцами. Я должна немедленно выехать в Фигерас и вновь организовать там Бюро.

Целый день, со все возрастающим нетерпением, ждала я машину, которая отвезла бы меня в Фигерас. Вилла стояла в двух милях от дороги, ведущей на Гранольерс, по которой должны были проезжать машины из Барселоны. Дом дрожал от непрерывной бомбежки, весь день преследовавшей беженцев. Бомбы, падавшие на шоссе, задерживали движение, поджигали бензиновые колонки. Огромные клубы дыма, поднимаясь после каждого взрыва, заволакивали все кругом.

В шесть часов Игнасио прислал за мной машину...

29 января я выехала в Фигерас под охраной летчика-каталонца. Игнасио остался в штабе.

Свернув с проселочной дороги на шоссе, ведущее к границе, мы увидели толпу барселонцев: усталые, понурые, изможденные, заочневшие, они спасались от генерала Франко.

Вся дорога была запружена ими. Беженцы ехали в легковых машинах, на грузовиках, на ослах, шли пешком. Крестьянки несли на руках детей, кур, козлят. Мы остановились и заговорили с одной молодой женщиной, которая вела четверых детей. Ее муж был на фронте. Из Таррагоны она вывезла все свое имущество, а теперь шла пешком и ничего не взяла с собой, кроме шали.

Машина у нас была небольшая, но несколько человек мы все-таки посадили. Семейные не хотели разлучаться: кто знает, что их ждет впереди! Поэтому мы взяли с собой лишь оставших и одиноких.

Люди проклинали фашистов, которые выгнали их из родного гнезда, но никакие несчастья не могли сломить их дух.

— Мы еще вернемся,— говорила женщина, и дети повторяли ее слова.— И тогда горе им!

Чем ближе мы подъезжали к Хероне, тем гуще становилась толпа. Беспомощно стояли грузовики, на которых ехали дети из приютов. У них вышел весь бензин, а колонки были пусты.

Мой шофер знал окраину Хероны, и ему удалось объехать толпу. Я все время смотрела на небо. Что если они станут бомбить Херону? Тогда эти дети погибли.

Когда мы уже подъезжали к Фигерасу, фашистские самолеты начали бомбить беззащитный город. Мы повернули назад. Не было никакого смысла въезжать в город во время воздушной бомбардировки.

Долго кружили мы по окрестным деревням, подыскивая дом, где я могла бы устроиться до приезда Игнасио. Деревушки кругом были жалкие, нищие, свободных домов не ока-

залось. Заметив, что слишком близко подъехали к французской границе, мы повернули обратно. В конце концов я указала на первый попавшийся дом. Крестьяне охотно уступили свое жилище, когда я объяснила, зачем оно мне нужно.

Летчик уехал, чтобы сообщить Игнасио, где я устроилась. Я осталась одна, вернее, с бойцом из личной охраны Игнасио. Было уже совсем темно. Я зажгла свет и увидела квадратную комнату. Каменный пол на полдюйма зарос грязью. Посредине стоял стол, накрытый грязной клеенкой. Стены, засиженные мухами, были увешаны старыми календарями.

Я легла в постель, совершенно измученная, и сейчас же заснула. Ночью я просыпалась несколько раз. Под окнами раздавались голоса.

— Дорога отрезана. Мы должны ехать немедленно! — кричал кто-то.

— Нет, нет, враки, — возражал другой. — Вы просто трус.

Потом я снова забывалась тяжелым, полным кошмарных видений, сном.

Утром, когда зимнее желтое солнце осветило мою комнату, я проснулась от стука в дверь.

— Авиационному офицеру нужно срочно поговорить с вами, — услышала я голос бойца и крикнула в ответ:

— Пусть подождет, я сейчас оденусь.

Я лежала на спине и чувствовала, как на лбу выступает холодный пот. Сон не освежил меня.

Снова стук в дверь.

— Офицер говорит, что не может ждать, пока вы оденетесь. Дело идет о жизни и смерти.

Я вскочила и, набросив на себя юбку, блузку, надев пыльные туфли, выбежала на темную ветхую лестницу.

— Да? — крикнула я.

— Идите скорей! — истерически завопил офицер. — Мы уезжаем. Дорога под Фигерасом отрезана. Мы в ловушке. Скорей!

— Что? — переспросила я сонным голосом. Мои движения все еще были скованы сном, и я осторожно начала спускаться по лестнице, стараясь рассмотреть в темноте офицера.

— Моя жена и ребенок ждут нас в машине. Я заехал за вами, но не могу терять ни минуты. Едем!

Только теперь я начала понимать, что происходит. Сан Клементе, небольшой пригород Фигераса, где я провела эту ночь и где рассчитывала устроить квартиру для Игнасио и его штаб-офицеров, стоял совсем близко от французской границы. Еще вчера ночью в наших руках была узенькая по-

лоска Каталонии, врезавшаяся клином между Францией и морем. Фигерас, расположенный в десяти милях от моря, находился в самом центре этого района. Наши войска сражались западнее и южнее Фигераса. И если дорога между Фигерасом и Хероной отрезана, значит, мы действительно попали в ловушку.

— Но как же дорога может быть отрезана? — упорствовала я. — Ведь мы еще ночью ехали по ней. И поблизости нигде не было видно фашистов.

Офицер задрожал от бешенства.

— Капитан роты карабинеров сказал, что дорога на Херону отрезана. Вы не верите? Вся деревня бежала, мы остались одни. Скорей!

Я вышла. Действительно, улицы были почти пусты. Несколько запоздавших беженцев спешили выбраться на дорогу. Я села в машину, где уже сидели жена офицера и еще какая-то пожилая женщина, окруженная тюфяками, детскими игрушками и носильными вещами.

Машина тронулась, и мы, оставляя за собой облако пыли, выехали на проселочную дорогу, которая вела на север, к границе и Пиренеям.

— Шоссе от Фигераса до границы забито беженцами. — Голос офицера все еще дрожал.

— Кто это сказал?

— Начальник карабинеров. Он знает.

Мы тряслись по проселочной дороге, обгоняя беженцев. Сон уже соскочил с меня, и я стала собираться с мыслями.

— Капитан роты карабинеров, вероятно, предатель, — медленно заговорила я. — Во всяком случае, как можно было полагаться на его слова?

— О чем тут спорить! — заорал офицер. — Дорога отрезана. Карабинеры пришли в деревню и сказали, что генеральный штаб покинул Фигерас. Он бросил людей на произвол судьбы.

Теперь мне все стало ясно.

— Глупости! — сказала я. — Генеральный штаб не бросит людей. Прежде всего он эвакуировал бы всех, кого нужно.

— Однако же он этого не сделал!

Злоба душила меня. Конечно, Игнасио не доверял этому офицеру, иначе он был бы на фронте, а не сопровождал бы женщин и бойцов, подыскивающих квартиры. Кроме того, я сама слышала, что Игнасио приказывал ему немедленно вернуться, как только он найдет нам квартиру.

— Я не верю, что дорога отрезана.

Я сказала это громко. Старуха, сидевшая сзади, начала плакать. Заплакал и ребенок. Офицер включил первую скорость. Мы поднимались в гору, и машина вся содрогалась.

— Я уверена, что капитан — изменник и нарочно устроил панику, чтобы расстроить наш тыл, — продолжала я. — А вы — трус, потому что поверили ему.

Офицер промолчал.

— Остановите машину, я выйду.

Офицер затормозил, машина подпрыгнула, остановилась, и я вышла.

Я осталась одна в самой гуще толпы. Дорога была запружена беженцами, направлявшимися к французской границе. Я стала обращаться ко всем с вопросами, но никто не хотел останавливаться. Неужели я ошиблась? Может быть, дорога действительно отрезана? Как далеко отъехали мы от Фигераса? Смогу ли я вернуться пешком? Я было пошла обратно, но охваченная паникой толпа увлекала меня вперед. Вскоре я отказалась от попытки идти навстречу людскому потоку. Постепенно меня оттеснили к небольшому холму, и вдруг я очутилась лицом к лицу с тем же офицером. Его машина стояла. Здесь дорога кончалась. Дальше тянулась горная тропа: сперва вверх, а затем вниз, — во Францию.

— Что вы намерены делать дальше? — спросила я офицера. — Я понимаю, что вам нужно проводить жену и ребенка во Францию. Но ведь вы — офицер, и вы дезертируете?

Я говорила громко. Вокруг нас стала собираться толпа.

— Где твой муж? — спросил кто-то.

Я закусила губу.

— Там, где должен быть каждый мужчина, если он не трус, — ответила я.

— Констансия! — Я оглянулась. Ко мне бежала Мария, молоденькая стенографистка, служившая в главном штабе авиации. — Боже мой, как я рада вас видеть! — тяжело дыша, воскликнула она.

Я посмотрела на маленькую курчавую девочку лет трех, которую она держала на руках.

— Это дочь одного железнодорожного рабочего, — пояснила Мария. — Он жил в Барселоне, в одном доме со мной. У него еще шесть человек детей. Я несла его девочку, когда мы вместе уходили из Барселоны, а потом меня оттеснили. На прощанье мать крикнула мне: «Позаботься о ней вместо меня». И я ее не брошу.

Растроганная, я улыбнулась, пожала руку Марии и погладила девочку по кудрявой головке.

— Добрый день, сеньора! — неожиданно проговорила девочка.

Мы с Марией рассмеялись.

Вдруг передо мной вырос боец, охранявший меня в Фигерасе. Общее смятение на него, видимо, не подействовало, и он решил до конца исполнить свой долг.

— Я провожу вас до французской границы, а потом сообщу генералу, где вы находитесь, — сказал он.

Я стала отказываться, но боец был непреклонен.

— Вам нельзя возвращаться в Фигерас, вы безоружны, — сказал он. — А у меня винтовка.

На это нечего было возразить. Мария с девочкой и я, в сопровождении бойца, начали взбираться на гору. В этом месте подъем не очень крут, но трудно было идти по скользкой грязи и острым камням. Девочку мы несли по очереди. Она ни разу не заплакала. Она все таращила свои черные глазенки на деревья и порой восклицала:

— Ой, смотрите! Птичка!

Казалось, мы здесь совсем одни, но по временам ветер доносил голоса. Мы поднялись на гору, спустились в небольшую долину, отдохнули и поднялись на другую гору. Здесь боец стал прощаться:

— Ну, вот, впереди Франция. Я скажу генералу, что вы в безопасности. Salud!

— Salud, — ответили мы, и на глаза у меня навернулись слезы.

Я еле удержалась, чтобы не последовать за бойцом. Куда я иду? Какое безумие было спускаться в эту долину! Я должна вернуться в Испанию, к Игнасио...

— Мы еще вернемся, — сказала Мария.

У нее и у меня жестоко болела спина, поэтому мы решили нести девочку вдвоем, сложив руки крест-накрест, «скамеечкой».

Тропинка неожиданно перешла в узкую проселочную дорогу. Мы увидели старый красный автомобиль, нагруженный хворостом. В кабинке сидела молодая темноглазая женщина с прелестным ребенком на руках. Мужчина, очевидно ее муж, сидел за руль. Тут они заметили нас.

— Это, наверно, испанцы, — по-французски сказал мужчина.

Женщина, посмотрев на нас, крикнула по-каталонски:

— Сеньора, сеньора, хотите, мы отвезем вашу девочку в город? Это шесть миль отсюда, а вы, должно быть, очень устали.

Мы с Марией могли только молча кивнуть ей. У нас нестерпимо ныли руки, ноги, спина, шея.

— Мы оставим ее у мэра. Город называется Порт Вендр.

Мы отдали девочку молодой женщине, она улыбнулась нам, и красный автомобиль скрылся в облаке пыли.

Теперь мы пошли немного быстрее: ведь еще только шесть миль! Было уже почти темно. Я ничего не ела со вчерашнего вечера и очень обрадовалась, найдя у себя в кармане плитку шоколада. Мы с Марией съели ее на ходу.

Неожиданно мы натолкнулись на французского гардмобиля¹.

— Оружие есть? — спросил он.

Мария протянула ему крошечный револьвер, лежавший у нее в сумочке. У меня не было никакого оружия.

— Ну, идите, только никуда не сворачивайте, пока не догоните остальных, — сказал гардмобиль.

Его грубый голос и начальственный тон смутили меня. Усталые, измученные, мы пошли дальше и на повороте увидели группу испанских крестьян. Выбившись из сил, они терпеливо ждали, когда французы окажут им гостеприимство.

Снова показался гардмобиль.

— Женщины и дети — сюда! Живо! — слышался его грубый окрик.

Крестьяне молча смотрели на него. Я перевела его слова, но они не двигались. Гардмобиль продолжал кричать, но семьи беженцев не хотели разлучаться.

У меня замерло сердце от дурного предчувствия.

Зачем этому гардмобилю непременно нужно разлучить жен с мужьями, детей с родителями?

Толпа беспокойно задвигалась, но в этот момент снова показался старый красный автомобиль, теперь уже без хвоста. Водитель заспорил с гардмобилем.

— Давайте я отвезу несколько человек в город! — сказал он. — Я их передам мэру. Они так измучены! А этих дам, — он указал на нас с Марией, — ждет ребенок и все время плачет.

Мы влезли в машину. Кое-как разместилось еще шесть че-

¹ Гардмобиль — полицейский.

ловек, среди них мальчик в рваных штанишках, потерявший родителей во время бегства из Барселоны.

— Наш кузнец усыновит его, — сказал водитель. — Он давно хотел взять на воспитание мальчика-испанца. Он будет очень рад.

Когда я перевела это мальчику, он заулыбался.

Тарахтящая машина свернула на узкую улицу, и мы увидели Порт Вендр, типичный рыбачий поселок. Машина остановилась у фонаря. На мгновение меня поразил запах соленой воды, но затем я вспомнила, что мы на берегу моря.

— Идите к мэру, прямо по дороге, желаю успеха! — сказал водитель нашим спутникам. Когда они вышли из машины, он обратился к нам: — Выходите, пожалуйста, да поскорей, чтоб вас никто не видел.

Вслед за французом мы вбежали к нему в дом и стали молча подниматься по лестнице (он предупредил нас, чтобы мы не разговаривали). Затем он распахнул дверь, и мы вошли в чистую, веселую, ярко освещенную комнату. У печки стояла хозяйка. Она повернулась к нам и ласково проговорила:

— Вы здесь у себя дома. Устраивайтесь поудобней. Не беспокойтесь: ваша девочка — у моей матери. Я ее принесу после ужина. Садитесь и отдыхайте. Помните, вы здесь у себя дома, — повторила она.

Мы с Марией переглянулись. У меня на глазах показались слезы.

— Не бойтесь, мы вас не выдадим властям, — сказал наш хозяин. — Мы гордимся тем, что принимаем вас у себя.

— У меня дипломатический паспорт с французской визой, — робко заговорила я, — а Мария — государственная служащая.

Француз покачал головой.

— Это не имеет значения. Тут до вас уже были испанцы. Со всеми, кто спускается к нам с гор, обращаются одинаково. — Тут он послал страшное проклятие французскому правительству, которое, вместо того чтобы оказать гостеприимство испанским беженцам, встретило их репрессиями.

— Садитесь кушать, — позвала хозяйка.

Мы сели за чисто вымытый стол. Хозяйка подала свежий белый хлеб с маслом и кофе. Кажется, никогда еще я не ела с таким аппетитом.

После ужина пришла бабушка с двумя девочками: годовалой француженкой и нашей приемной дочкой. Наша девочка занялась игрушками маленькой француженки и чувствовала

себя превосходно. Когда же Мари пыталась отобрать свою собственность у нашей Исавель, вся семья — отец, мать и бабушка — начинала кричать по-французски:

— Отдай их маленькой испаночке! Разве ты не понимаешь, что это испаночка? Отдай их ей!

И крошечная француженка, видимо, ошеломленная криком, протягивала игрушки торжествующей Исавель, с тем чтобы через минуту снова потребовать их назад.

В комнату вошел брат нашего хозяина. Хозяин был садовник, а брат его работал на заводе взрывчатых веществ, неподалеку от Порт Вендра. Он принес великолепный тюфяк, и наша хозяйка приготовила нам в соседней комнате постель. Всю жизнь буду я помнить белоснежные простыни, мягкий тюфяк и свежий запах чистой наволочки...

Утром, когда мы пили кофе из больших, дымящихся чашек, хозяин принес нам газету. Газета подтвердила мое вчерашнее предположение. Наши войска еще удерживали Херону. Дорога не была отрезана! Значит, Игнасио — в Фигерасе, и я должна быть с ним!

Мы с Марией немедленно приняли решение... Война еще продолжалась, даже в Каталонии. Мы еще могли держаться к югу от Фигераса. Наше место — в Испании. Мы должны найти приют для ребенка и немедленно вернуться.

Наш хозяин из-за нас не пошел на работу, а что значило для него потерять рабочий день, об этом я легко могла судить по его скромному, даже бедному хозяйству. Я мягко отклонила его совет не выходить на улицу и направилась к мэру, о котором узнала от хозяина, что он социалист и неплохой человек.

На площади перед мэрией собралось несколько сот испанских беженцев.

— Их обманули и предали, — сказала я мэру. — Капитан роты карабинеров оказался предателем: он обманул их, вызвал среди них панику. Нужно сказать им, чтобы они возвращались в Испанию и продолжали борьбу за родину.

Мэр пожал плечами.

— Скажите им сами.

Мы с Марией стали обходить беженцев и показывать газету. Беженцы заволновались.

— Конечно, мы вернемся! Конечно! — послышался радостный гул голосов.

К нам бросился гардмобиль.

— Еще одно слово, и я отведу вас в тюрьму!

Я пошла к начальнику гардмобилей.

— Люди хотят вернуться в Испанию, — доказывала я ему. — Их обманули. Они хотят вернуться. Вы не имеете права задерживать их.

— Мадам, если вы еще хоть одно слово скажете об этом беженцам, я отправлю вас в тюрьму, — заявил офицер. — А вашим дипломатическим паспортом вы меня не запугаете. Вероятно, он подложный. Я буду вынужден отобрать его у вас и проверить, а вы должны знать, что подобные документы часто теряются.

— Но ведь люди сами хотят вернуться! Я их вовсе не уговариваю. Я только объясняю им их ошибку.

Офицер мигнул сержанту. Я закусила губу и вышла. Мы с Марией побрели в кафе. Там сидел агент Франко. Разумеется, гардмобили его не трогали. Он предлагал беженцам сто франков и бесплатный обед, если они запишутся в фашистскую армию. Выслушав вербовщика, люди отходили прочь.

— Ах, если бы нам вернуться в Испанию, в нашу Испанию! — воскликнул кто-то.

Мы с Марией не собирались складывать оружие. Я разыскала офицера авиации, того самого, который накануне вывез меня из Фигераса. Ему было очень стыдно за свое поведение, и он согласился помочь нам. План наш заключался в следующем. Несколько испанских офицеров и солдат, обманутых так же, как и мы, выстроятся на площади и заявят, что они возвращаются в Испанию продолжать борьбу. Тем временем мы с Марией отправимся в соседний городок Сербер, мэр которого был другом Испании, и попросим его, чтобы он отозвал гардмобилей и приказал пропустить испанцев на родину.

Мы с трудом разыскали его. Мсье Крюзель был очень занят: он раздавал пищу и одежду женщинам и детям, накануне перешедшим границу. Пока мы его разыскивали, я наткнулась на другого штаб-офицера Игнасио. Он приехал сюда в командировку на своей машине и на другой день собирался вернуться в Испанию. Он обещал завтра доставить меня в Фигерас.

С легким сердцем (завтра я буду в Испании и увижу Игнасио!) я направилась к мэру. И здесь меня ожидала удача.

— Конечно, испанцы должны вернуться! — выслушав меня, воскликнул мэр.

Но когда я попросила его отозвать гардмобилей, по его лицу пробежала тень.

— Что ж, попытаемся,— сказал мэр, и в голосе его послышалась ненависть. Кивком головы он указал на гардмобилей, стонявших испанцев, как скот, в одну кучу, и повел меня к себе в кабинет.

Из окна я увидела несколько испанских санитарных автомобилей, окрашенных в характерный зеленый цвет. Я ахнула от удивления.

— Почему они здесь? Нам дорога каждая машина для перевозки раненых и эвакуации больных. Ах, если б у нас в Барселоне было еще хоть несколько машин! Их нужно немедленно отправить обратно!

Мэр поднял брови:

— Вы так думаете? Сомневаюсь.— Он стал рассматривать свои руки.— Эти машины прибыли сюда двадцать седьмого января, всего несколько дней назад, еще до того, как армия отступила. И прибыли они не с больными и ранеными, не с детьми из колоний и не со стариками, а с документами и имуществом кое-кого из ваших политических деятелей.

Я вспыхнула.

— Нет, не может быть! Не такое теперь время!

Мэр закивал головой.

— Однако это так. Если хотите, можете их осмотреть. Вы увидите папки с бумагами, прекрасные лампы, ковры и тому подобное. Мы их не тронули. Луис Аракистайн с женой и Ларго Кавальеро проехали в великолепном лимузине, а за ними следовали эти санитарные машины. О, это была настоящая процессия!

Я готова была провалиться сквозь землю. Кавальеро и Аракистайн опозорили испанский народ. Санитарные машины, нагруженные лампами и коврами! А в это время наши раненые умирают на поле сражения из-за отсутствия транспорта! Санитарные машины для белья и серебра! А в это время Франко расстреливает наших раненых бойцов.

— Вам нечего стыдиться,— мягко заговорил мэр.— Мы, французы, знаем испанский народ. Вас никто не станет попрекать такими людьми, как Аракистайн или этот глупый старик, который прежде стоял у власти.

Поздно ночью мы вернулись в Порт Вендр, чтобы привести в исполнение наш план и вернуть беженцев в Испанию. Гардмобили следовали за нами по пятам, но, наконец, нам удалось от них отделаться, и мы благополучно достигли

дома наших друзей. Всю ночь приходили и уходили беженцы, грязные, небритые, усталые и сконфуженные.

— Мы — дезертиры, — твердил один офицер. — Мы заслужили, чтоб нас расстреляли, как только мы вернемся в Испанию.

Наутро мы принялись за осуществление нашего плана. Триста мужчин изъявили желание двинуться в путь и перейти границу.

В этот момент перед толпой вырос человек в штатском. Я узнала его: это был капитан роты карабинеров, который пустил слух о том, что дорога под Фигерасом отрезана, и вызвал это паническое бегство.

— Она — провокатор! — завизжал он, указывая на меня. — Она хочет вести вас на верную смерть. Фигерас в руках фашистов. Вас всех убьют.

Беженцы заколебались.

— Он лжет! — закричала я.

— Я отправляюсь со своей группой немедленно, мы не можем терять ни минуты, — быстро проговорила Мария.

— Строиться по пяти! — орали гардмобили, заглушая нас.

— Не верьте ей, она лжет! — визжал карабинер.

Люди были сбиты с толку. Лишь немногие пошли с Марией, человек тридцать. Остальные начали строиться по пяти, все еще взволнованно переговариваясь. Затем гардмобили повели их неизвестно куда. Одновременно, но в противоположную сторону, двинулись грузовики, увозившие женщин и детей. Я видела эту трагическую сцену прощания; люди расставались друг с другом надолго, может быть, навсегда.

Гардмобили и фашистские агенты во Франции перехитрили нас с Марией. Здесь мне больше нечего делать, — подумала я, — надо возвращаться в Испанию.

Мы нашли семью, которая согласилась удочерить Исавель, а в три часа пришла машина Игнасио, и я выехала в Испанию.

Я возвращалась на родину в приподнятом настроении. То, что я прочитала во французских газетах, показало мне, что наше дело не безнадежно, даже в Каталонии. Мы можем удержать Херону. Генеральный штаб может остаться в Фигерасе. Кроме того, у нас остается Центральная зона. Что касается части гражданского населения, которая бежала во Францию, то это, может быть, и к лучшему: меньше го-

лодных ртов. Нет, мы еще достаточно боеспособны. Мы в силах удержать за собой Северную Каталонию.

В сумерках мы достигли Сан Клементе, предместья Фигераса. Я вышла из машины и взглянула на маленький домик, который я так безрассудно покинула три дня назад. Меня охватил стыд. Я поддалась панике. Теперь я знаю на опыте, что это такое, и никогда больше не буду верить слухам.

Часовые весело приветствовали меня.

— Ну, генерал не очень-то обрадуется вашему приезду, — предупредили они. — Он был так доволен, что вы уехали во Францию!

Я поднялась наверх и увидела моего дорогого друга Марию. Она сидела в кресле-качалке и шила при слабом свете маленькой электрической лампочки.

— Конни! — воскликнула она. — Игнасио рассердится!

— Но ведь я вернулась, чтобы продолжать работу в Пресс-бюро, чтобы смотреть за Игнасио, — смущенно пробормотала я.

Мария удивленно взглянула на меня.

— Конни, наше положение безнадежно, — мягко заговорила она. — У нас нет ни винтовок, ни боеприпасов, ни продовольствия — ничего. Мы сражаемся, чтобы прикрыть эвакуацию гражданского населения. И только. Через несколько дней все будет кончено. Все мы вернемся в Мадрид и там будем продолжать борьбу. — Она помолчала. — Игнасио думает, что в Мадриде и в Центральной зоне у нас есть некоторые шансы на успех. Нам теперь предстоит защищать суженную линию фронта.

— А! — Я кивнула головой. До сих пор я не понимала, что с Каталонией все кончено. Человек, который задыхается, вряд ли чувствует, когда от него уходит последняя капля воздуха.

— Мы, женщины, — домашние хозяйки и служащие, — должны были уехать еще вчера.

— Но кто будет готовить мужчинам? — спросила я. — Ведь должны же они что-нибудь есть!

Мария с радостью ухватилась за эту мысль. Она никак не могла заставить себя уехать.

Мы пошли на кухню и принялись застряпню. За последние дни питание в Фигерасе улучшилось: перед уходом во Францию крестьяне распродавали все, что у них еще оставалось.

Игнасио нашел меня в кухне. Сперва он сделал вид, что сердится, но потом обнял меня и сказал:

— Как хорошо, что ты здесь!

За обедом все смеялись над моими приключениями. Мы с Марией обещали уехать, как только Игнасио и ее муж скажут, что это совершенно необходимо. А пока мы остаемся с ними.

— Наши бойцы дерутся, как никогда,— рассказывал Игнасио.— Бойцы Модесто и Листера — настоящие герои. Они отступают в полном порядке,— отступают, потому что таков приказ. Я уверен, что они предпочли бы наступать, но ведь они прикрывают тыл! На них нельзя смотреть без слез. Какие это люди!

Три дня, которые я провела в маленьком деревенском домике под Фигерасом, были самыми трагическими и, в то же время, счастливыми днями моей жизни. Я видела Игнасио только поздно ночью, когда он, совершенно измученный, приходил из штаба. И все же я сознавала, что ему легче оттого, что я с ним. Он привык делить со мной все свои радости и горести, и теперь мне хотелось побыть с ним как можно дольше.

Днем мы с Марией хозяйничали. Мы отскребли и вымыли весь дом — не потому, что надеялись здесь остаться, а потому, что нам нужно было что-нибудь делать. Мы стирали и гладили белье, готовили обеды, да еще какие! Но никто к ним не притрагивался.

Третьего февраля мы с Марией поехали в Фигерас. Из-за моего глупого приключения мне до сих пор не удалось повидаться с сотрудниками Пресс-бюро. Я только послала моему непосредственному начальству письмо, в котором сообщала о своем местопребывании и о том, что у меня нет машины, чтобы ездить в Фигерас.

Фигерас представлял собой страшное зрелище. Небольшой городок, в котором в мирное время насчитывалось 15 тысяч жителей, сейчас вмещал по крайней мере 100, а может быть, и больше. Штатские и военные попеременно спали на тротуарах. Машины, брошенные из-за отсутствия бензина, загрозили улицы. Каждый уголок любого дома был набит до отказа. Одни ели, другие спали, третьи пели, четвертые спорили, дети плакали, играли, кричали: «Хочу есть!»

Замок, стоявший в полумиле от Фигераса, оказался единственным убежищем в этом человеческом муравейнике. В прежние войны в этой крепости, выстроенной в XVIII веке, помещался арсенал. И когда-то за ее толстыми стенами некоторое время жили Филипп V и его жена Мария Луиза,

итальянская принцесса. Теперь в замке приютились все испанское правительство, вывезенные им произведения искусства, а также ценности, которые принадлежали частным лицам и до последнего времени хранились в барселонских банках.

Эти ценности доставили нам много неприятностей, и мне хочется остановиться на них подробнее. В начале войны правительство предложило гражданам сдать на хранение в банки все драгоценности и ценные бумаги. Во время войны полиция — ненадежная охрана. Правительству удалось прекратить грабежи только потому, что оно предоставило населению возможность хранить ценности в банках. Я, например, отдала на хранение жемчужное ожерелье — мой свадебный подарок, кольцо и несколько брошек. В обмен я получила квитанцию.

Когда началась эвакуация Барселоны, то по распоряжению правительства эти ценности были изъяты из банков, вывезены на грузовиках в Фигерас и размещены в подвалах замка. Правительство обязано было вывезти эти ценности из Барселоны, раз оно намеревалось вернуть их владельцам. Да и с какой стати отдавать эти сокровища Франко? Чтоб он купил на них оружие и направил его против нас?

Для перевозки драгоценностей потребовалось несколько грузовиков. У каждого вкладчика был отдельный небольшой мешочек, на котором стояло его имя. Конечно, в каждом таком мешочке вместе с подлинными драгоценностями лежали безделушки, дорогие лишь по воспоминаниям. И если бы правительство имело возможность пересмотреть все мешки, то оно, вероятно, отобрало бы наиболее ценные вещи и погрузило их на одну, самое большее на две машины. Но во время эвакуации Барселоны некогда было этим заниматься. Враг подходил все ближе и ближе, и самое лучшее, что могло сделать правительство, это уложить все маленькие мешочки в большие мешки и погрузить на грузовики.

Но на этом история драгоценностей еще не кончается. Когда пришлось эвакуировать Фигерас, то машин для них нехватало. Доставить их во Францию поручили подполковнику Листеру, войска которого последними перешли границу. Он объездил окрестности города, нашел несколько машин, нагрузил мешками и под охраной отправил во Францию. А на границе бойцы, которым было приказано доставить вещи испанских беженцев в целости и сохранности, были арестованы, как воры, и присуждены к многолетнему тюремному

заклучению. Любопытная деталь, характеризующая «деятельность» агентов Франко, захвативших эти ценности!

В то утро в Фигерасе я слышала разговоры о том, что делать с этими ценностями, но, признаюсь, не очень к ним прислушивалась. Фигерас пугал меня. Тысячи беженцев, набившихся в каждом жилом помещении, как сельди в бочке, представляли собой прекрасную цель для вражеских бомбардировщиков. А между тем, в Фигерасе было только одно зенитное орудие. Мы располагали двадцатью самолетами в Центральной зоне и тридцатью четырьмя в Каталонии. Из этих тридцати четырех самолетов двадцать восемь сражались с бомбардировщиками, бомбившими наши отступающие войска. На аэродроме Фигераса оставалось всего шесть. Игнасио надеялся, что ему удастся отогнать вражеские бомбардировщики и не допустить, чтобы несчастные беженцы, укрывшиеся в Фигерасе, были разорваны на куски, но твердой уверенности у него не было.

В то утро я устроила совещание со своими сотрудниками. Двадцать четвертого января они выехали из Барселоны в битком набитом поезде и прибыли в Фигерас через двадцать часов! Мое отсутствие на работе Пресс-бюро никак не отразилось. В Фигерасе все равно ничего нельзя было делать. Не было ни столов, ни стульев, ни пишущих машинок, ни радио, ни телеграфа, ни телефона. Не было и журналистов: все они находились на французской границе.

Товарищ министра иностранных дел предложил мне перевести Бюро, конечно, сильно сократив объем работы и штат служащих, на французскую границу, в Ле Пертюс, откуда журналисты могли бы посылать свои корреспонденции. Кто-нибудь другой организует такое же Бюро в нашем консульстве в Перпиньяне. Для связи с Фигерасом мне предоставят мотоциклиста, для связи с Перпиньяном — легковую машину. Мы так тщательно продумывали наши планы, словно Фигерас стал постоянной столицей, а фронт в Хероне — постоянным фронтом. Но именно так и нужно работать в военное время. Вы живете настоящим и строите планы на будущее, которые могут и не осуществиться.

Мы с Марией выехали из Фигераса в полдень. По пути я должна была заехать в Сан Клементе, уложить вещи и проститься с Игнасио. Но едва мы успели покинуть город, как послышался такой знакомый и такой страшный грохот рвущихся бомб. Наши шесть самолетов немедленно поднялись в воздух. Они сражались весь день, несмотря на огром-

ное численное превосходство противника, а на Фигерас все падали и падали бомбы. Трудно сказать, сколько налетов было совершено в этот день: люди потеряли счет. Итальянские бомбардировщики налетали последовательными волнами и застилали небо. Никто не знает, сколько человек погибло в этот день в Фигерасе. Это была такая чудовищная бойня, что люди не могли говорить о ней. Они вырвались из этого ада смертельно бледные и проклинали фашистов.

— Улицы усеяны трупами. В домах стонут дети, придавленные рухнувшими балками, кирпичами. Это...— Они умолкали.

В эту ночь в замке ночевало четыре тысячи человек. Трудно себе представить, как они там разместились. Тысячи других беженцев, словно дикие звери, затравленные охотниками, уходили на несколько миль от обреченного города и ночевали в поле.

На другое утро, хотя мы все еще удерживали врага под Хероной, правительство стало отправлять людей, переживших бомбежку Фигераса, к французской границе. И целый день фашисты бомбили дороги, по которым шли женщины и дети.

В этот вечер мы с Марией долго ждали наших мужей. Наконец, когда в дверях показался Игнасио, я поняла, что для меня настал страшный час — час отъезда из Испании. К Марии подошел ее муж. Мы обе поднялись, и я почувствовала, как дрожат у меня колени.

— Давайте скорей обедать, — неестественно властным тоном сказал Игнасио. — На улице в машине ждет капитан, он отвезет вас к границе. Он не может долго ждать.

— Почему мы должны уехать? — задыхаясь от волнения, еле выговорила я.

— Не говори глупостей, — садясь за стол, сказал Игнасио. — И не делай из этого трагедии. Все обстоит очень просто. Правительство переезжает в Ла Агульяну, а с ним и штаб. — Угадав мою мысль, он продолжал: — Со мной тебе нельзя ехать. Об этом не может быть и речи.

Мы с Марией молчали.

— Не горюй, дорогая, — неожиданно мягко заговорил Игнасио. — Это еще не конец.

Через полчаса я и Мария ехали в Сербер. Здесь только что прошли тысячи испанских беженцев. Была ночь, и на дороге никого уже из них не осталось, но фары нашей машины время от времени выхватывали из тьмы то раскрытый

чемодан, то груды тряпок, то куклу, то дохлого мула. Нам преграждали путь сотни брошенных автомобилей с лопнувшими шинами, коляски и телеги со сломанными колесами, с разбитым передком.

При виде этих исковерканных, брошенных вещей, напомнивших о мужчинах, женщинах, детях, оторванных от родины, об этих бездомных беглецах, у меня больно сжималось сердце и к горлу подступали слезы. Так вот они, трофеи захватчиков, трофеи Гитлера и Муссолини: сломанные тележки, околевшие от голода мулы, куклы, брошенные детьми, которые были не в силах нести их дальше! Так вот они, немые и горестные свидетели исхода испанцев, за которыми охотился фашизм!

Мы подъехали к границе в три часа ночи. После некоторых препирательств нашей машине, имевшей французский пропуск, и нам, имевшим паспорта с французской визой, разрешили переехать границу.

Даже тем испанским машинам, у которых все документы были в порядке, не разрешалось выезжать из Сербера, а Сербер напоминал Фигерас, каким он был прошлой ночью. Люди спали на улицах, на берегу моря, на вокзале; разница заключалась в том, что Сербер — это Франция и здесь они могли спать спокойно, не боясь, что их разбудит грохот бомбежки.

Мы дали адрес наших французских друзей из Порт Вендра, и нам разрешили туда проехать. На рассвете мы прибыли в этот маленький городок и остановились в небольшой гостинице на той же улице, где жил наш друг — французский рабочий. Будить его нам не хотелось.

Утром я проснулась от сильных ревматических болей. Наши французские друзья пришли нас проведать и выразили сожаление, что мы не разбудили их вчера ночью. На следующий день они отвезли меня в своем старом красном автомобиле на вокзал. Совершенно больная, я села в поезд, отходивший в Перпиньян, где мне предстояло организовать Пресс-бюро.

Поезд был переполнен. Мы взяли с собой небольшие толстые чемоданы, в которых без труда уместилось все, что уцелело от бесконечных переездов. Время от времени мы поглядывали на чемоданы и думали: вот эти наши пожитки — юбка, блузка, пачка писем, коробка пудры, термометр, кусок кружева, несколько фотографий, — это все, что нам осталось

от прежней жизни, все, что мы можем назвать своей ответственностью. Это и триста пятьдесят франков.

Перпиньян напоминал сумасшедший дом. Наше консульство было битком набито людьми. Встретили нас не слишком ласково. Те, кто раньше выехал из Испании, успели найти здесь приют, тех же, кто имел мужество оставаться на родине до последней минуты, ожидал весьма нелюбезный прием. Найти номер в гостинице казалось недостижимым счастьем, но мне повезло: я встретила знакомую голландку, и она предложила мне поселиться в ее номере. На другой день номер шестнадцатый превратился в испанскую штаб-квартиру.

Несколько испанских женщин, моих хороших знакомых, которые ждали здесь своих мужей, и я решили объединить свои скромные капиталы и кормить беженцев. Мне повезло и с деньгами: одна моя приятельница была мне должна две тысячи франков, теперь она мне их выслала из Парижа.

Три дня, проведенные мной в ожидании Игнасио, показались мне тремя годами. Мы смотрели на будущее с некоторой надеждой. В руках правительства все еще находилась четвертая часть страны, включая столицу и один из крупнейших портов. Восемь миллионов испанцев все еще жило на территории демократической Испании. Предполагалось, что, как только будет закончена эвакуация Каталонии, все офицеры вернутся в Мадрид. Мы считали, что сможем продержаться, во всяком случае, еще несколько месяцев, а может быть, и победим, если развал в тылу у Франко пойдет достаточно быстрыми темпами.

В течение этих трех дней, которые мы провели в Перпиньяне, мы не получали никаких известий из Испании. В консульство не поступало никаких сведений. К тому же мы старались держаться от него подальше. Гардмоби́ли все время патрулировали район консульства и тащили каждого попадавшегося им на глаза испанца, который ожидал получения паспорта, в концентрационный лагерь.

В разговорах мы все чаще стали употреблять эти два слова. Я слышала о концентрационных лагерях в Германии и Италии. Слышала, что они существуют во франкистской Испании. Но в республиканской Испании их не было даже для пленных. Теперь мы узнали, что во Франции созданы концентрационные лагеря для испанцев.

Днем и ночью к нам в номер приходили люди, которым удалось бежать от французского «гостеприимства», и дро-

жащим голосом рассказывали об ужасах концентрационных лагерей. Людей, как скот, сгоняли на берег моря, где их засыпало песком и мучил жестокий голод. С одной стороны им преграждала путь колючая проволока и лес винтовок, с другой — море. Между проволокой и морем были только эти люди, сбившиеся в кучу, как стадо.

Мы купили спиртовку и стали готовить обеды для беженцев. Те, кому удалось бежать из концентрационных лагерей, знакомые и незнакомые, — все приходили к нам есть яичницу с хлебом и пить кофе. Наши средства были весьма ничтожны, кормить товарищей в ресторане мы не могли. При встречах хозяин гостиницы окидывал меня сердитым и подозрительным взглядом: ведь я содержала «ресторан», курировавший с его мрачным и тесным кафе.

Кроме спиртовки, мы купили две элегантные шляпки. Ими пользовались те из нас, кому надо было выйти на улицу. Мы заметили, что полиция редко арестовывает женщин, которые носят шляпы и говорят по-французски: перпиньянки похожи на каталонки, а гардмобилям не хотелось раздражать местных жителей.

Первое время иностранные корреспонденты помогали нам спасать беженцев и государственных служащих от концентрационных лагерей. С этой целью они часто подъезжали вместе с нами к самой границе и увозили тех, кого гардмобилям собиравались направить в самый страшный лагерь.

Вечером восьмого февраля я поехала с ними к границе посмотреть, как последние части наших войск перейдут через Интернациональный мост во Францию.

С корреспондентами я чувствовала себя в полной безопасности, а не будь их, гардмобилям непременно схватили бы меня и отправили в концентрационный лагерь. Дипломатический паспорт отнюдь не гарантировал мне неприкосновенности: гардмобилям ничего не стоило послать любого испанца умирать от голода или воспаления легких в чудовищный концентрационный лагерь, устроенный на берегу моря.

Мы провели ночь в Ле Пертюсе. Граница проходит через маленькую деревушку. На одном ее конце несколько домов занимали правительство и штаб армии.

— Где генерал Сиснерос? — крикнула я одному из бойцов.

Мне ответил сам Игнасио. Он вышел на балкон и помахал рукой.

— Завтра мы будем в Перпиньяне! — сказал он.

Мы медленно ехали вдоль границы. Наша армия сильно растянулась и в темноте казалась огромной. Там и сям костры освещали отдельные группы бойцов.

Всю ночь грузовики и санитарные машины переправляли через границу раненых. Всю ночь войска перевозили во Францию те немногие орудия и боеприпасы, которые еще оставались у нас. Мы надеялись, что таким образом они не достанутся Франко и что потом мы сможем переправить их в Валенсию.

На рассвете я увидела, как наши войска входили во Францию. Бойцы шли, высоко подняв головы, четко отбивая шаг под звуки полковых оркестров. Это не были разгромленные, охваченные паникой кучки бойцов. Передо мной проходила армия отважных защитников родины, которые до последней минуты сдерживали напор превосходящих сил противника и наносили ему сокрушительные удары. Последней прошла колонна интербригадцев, демобилизованных задолго до последних боев и задержавшихся в Испании из-за отсутствия транспорта. Они с песнями перешли французскую границу.

Девятого февраля, в три часа дня, в нашей гостинице разнесся слух, что в Ле Пертюсе поднят монархистский флаг. Я бросилась на улицу проверить этот слух и увидела Игнасио и еще трех офицеров, медленно ехавших в штабной машине.

Он и другие офицеры генштаба оставили Ле Пертюс за полчаса до того, как был поднят монархистский флаг. Они последними перешли границу.

Все эти дни Игнасио был всецело поглощен действиями наших войск, которые прикрывали отступление, и ему некогда было думать о том, как будут обращаться во Франции с нашими беженцами. Когда же он подъехал к границе, то у него отняли не только оружие и генеральские нашивки, но и его любимый полевой бинокль. Там уже шла бойкая торговля вещами, которые французская пограничная охрана отняла у беззащитных испанских беженцев.

Нам было очень жаль наш маленький радиоприемник и полевой бинокль, доставшиеся французской пограничной охране, но самый факт нас несколько не удивил. Правительство Далады и Боннэ было повинно в гораздо более крупном грабеже: оно отняло у испанского народа 41 850 000 франков золотом.

Испанский банк депонировал капиталы во Французский банк. Правительство Боннэ наложило на них секвестр. Когда испанское правительство предъявило иск на это золото, фран-

цузское правительство сделало ему весьма оригинальное предложение.

Еще с 1931 года, то есть с момента установления республики, в испанских судах разбирался иск одной нефтяной компании, интересы которой были непосредственно связаны с интересами французского правительства. Эта нефтяная компания требовала от испанского правительства тридцать пять миллионов франков. И теперь французское правительство заявило, что если доктор Негрин удовлетворит этот иск, но уже не в сумме тридцати пяти миллионов, а в сумме двухсот пятидесяти миллионов франков, то Испания получит назад свое золото.

Отбросив всякие дипломатические тонкости, мы твердо заявили, что не желаем иметь дело со взяточниками.

На другой день мы выехали в Тулузу, чтобы подготовить отъезд правительства и штаба в Мадрид. Следующие десять дней показались мне самыми тревожными, мучительными и страшными днями в моей жизни.

Положение Испании было чрезвычайно серьезно. Перед лицом надвигающейся катастрофы Негрин попрежнему был спокоен и полон решимости, но никто из нас не мог закрывать глаза на факты. Мы знали, что сможем продержаться в Центральной зоне еще много месяцев. Но нам были абсолютно необходимы те орудия, самолеты и боеприпасы, которые наша армия с таким трудом вывезла из Каталонии. Когда же мы прибыли в Тулузу, Игнасио выяснил, что французское правительство вовсе не собирается возвращать имущество, принадлежащее испанскому правительству. Наши самолеты, вылетевшие из Каталонии и опустившиеся на одном из ближайших французских аэродромов, были конфискованы. На винтовки, орудия и боеприпасы был наложен арест.

Этого мало. Войска Модесто и Листера, лучшие наши войска, пилоты и бортмеханики были интернированы во французских концентрационных лагерях. Даладье и Боннэ ясно дали понять, что их отпустят только в том случае, если они выедут в фашистскую Испанию и сдадутся на милость Франко.

Всюду наталкиваясь на предательство, окруженное врагами, испанское правительство делало последние отчаянные попытки собрать остатки войск и вернуться в Центральную зону.

Но теперь Негрину пришлось столкнуться с трудностями в самой Центральной зоне. Долгое время мадридские войска не имели никаких сведений о положении в Каталонии. Во время отступления всякая связь с Центральной зоной была прервана. Бомбардировка Фигераса уничтожила наскоро построенную радиостанцию. Мы знали, что командование Мадридской зоны находится в сильнейшей тревоге и может стать жертвой панических слухов.

— Теперь начнет работать вражеская агентура,— озабоченно говорил Игнасио,— это самое подходящее время для предателей, пробравшихся в наши ряды. Если бы только мы могли во-время переправить в Мадрид правительство и штаб!

Но это была нелегкая задача. Французское правительство разрешило нам оставить себе четыре старых «Дугласа» — и только. На них мы должны были переправить правительство и штаб через всю территорию мятежников, в то время как их самолеты беспрестанно патрулировали воздушные трассы.

Когда пришел окончательный ответ французского правительства, который заключался в том, что из тридцати восьми наших самолетов, находящихся во Франции, нам возвращают только четыре транспортных, я сидела рядом с Игнасио и видела, как он изменился в лице и каким гневом засверкали его глаза. Мне стало ясно, что означает этот ответ для Испании. Кроме того, я поняла, что раз у нас только четыре «Дугласа», то Игнасио не возьмет меня с собой в Мадрид.

С этой мыслью я жила весь день. Я с головой ушла в работу, виделась с журналистами, разъясняла им новую политику правительства, помогала Игнасио организовывать поездку в Париж, но мысль о том, что Игнасио будет в Мадриде один, не покидала меня ни на минуту.

Иностранных корреспондентов очень интересовала позиция испанского правительства. Однажды мне пришлось беседовать с целой группой журналистов. Они смотрели на меня как на официальное лицо, и я старалась объяснить им политику испанского правительства как можно лучше.

— Прежде всего война еще не кончена,— заявила я.— Борьба продолжается. Правительство возвращается в Мадрид и будет защищать Центральную зону. Я сошлюсь на такое авторитетное лицо, как германский полковник фон Ксиландер, который считает, что Центральную зону можно защищать.

Журналисты поспешно записывали мои слова в блокнот.

— Германский полковник заявил в печати, что немцы не должны ждать скорой победы над республиканцами в центральной Испании. Во-первых, международному фашизму придется реорганизовать свою армию, во-вторых, удерживаемая республиканцами территория обширна и трудна для военных операций. Полковник ошибся в одном: фашизм вообще не добьется победы в Испании — ни скорой, ни отдаленной.

В эту минуту я страстно желала, чтоб и в душе у меня была та же твердая вера, какая прозвучала в моих словах. И, все-таки, кое-какие шансы на успех у нас есть, и мы будем бороться до конца, — думалось мне.

Мне задали вопрос:

— Правда ли, что доктор Негрин предложил новые условия мира?

Я знала, что этот вопрос был вызван слухами, которые последнее время распространяла франкистская печать, — слухами о том, что республиканская Испания готова капитулировать.

— Да, у нас выработаны условия мира, — ответила я. — Доктор Негрин еще раз огласил их на заседании кортесов в Фигерасе. Это заседание состоялось десять дней назад, первого февраля, и с тех пор наши условия мира не изменились. Условия эти таковы: во-первых, гарантия суверенитета и независимости Испании; во-вторых, гарантия от какого бы то ни было вмешательства иностранных держав во внутренние дела Испании и предоставление народу права избрать правительство путем плебисцита; в-третьих, гарантия в том, что гражданское население не подвергнется ни преследованию, ни репрессиям.

Больше я ничего не могла сказать журналистам.

— Как будто все... — проговорила я нерешительно.

— Кто же именно вернется в Испанию? — спросил один из корреспондентов.

Я тяжело вздохнула.

— Вы знаете, ведь у нас только четыре «Дугласа»... Конечно, доктор Негрин и весь кабинет.

— А кто из командного состава?

Я заколебалась. Мне было известно, что некоторые наши командиры, охваченные глубоким пессимизмом, решили не возвращаться в Мадрид, не желая рисковать своей жизнью. Правительство не настаивало: малодушные военачальники были ему не нужны. И тем не менее, мне не хотелось говорить правду иностранным журналистам.

— В Мадрид вернутся,—медленно начала я,—полковник Модесто, подполковник Листер, полковник Кордон, товарищ военного министра, генерал Сиснерос и кое-кто еще.

Корреспонденты, казалось, были удовлетворены. В надежде, что мне удалось избежать наиболее щекотливого вопроса, я было направилась к выходу, но в этот момент в глубине комнаты послышался чей-то голос:

— Разумеется, президент Асанья вернется вместе с правительством?

Я обернулась.

— Трудно сказать...—медленно проговорила я, чувствуя, что краснею до корней волос.—Во всяком случае, не сейчас.

Журналисты насторожились. Представив себе, как они строчат свои корреспонденции под заголовком: «Асанья изменил делу республики», я едва не разрыдалась от бессильной ярости. За все время войны Асанья ничем не помог республиканскому правительству. Все помнили, что он с самого начала предсказывал поражение Народной армии. Теперь он жил в Париже, в испанском посольстве. А ведь единственно, что от него требовалось в настоящее время—это чтобы он проявил мужество, хотя бы для общественного мнения заграницы, и вернулся в Мадрид вместе с Негрином и его кабинетом.

Я подавила тяжелый вздох.

— Президент Асанья ведет серьезные переговоры с французским и английским правительствами,—громко сказала я.—Интересы нашего дела требуют, чтобы в данный момент он находился во Франции.

С чувством глубокого облегчения я отметила, что этот ответ как будто убедил журналистов.

— Какие переговоры? —спросил кто-то, но от ответа на этот вопрос легко было уклониться.

Мы с Игнасио виделись только поздно вечером, но оба были так измучены, что почти не говорили друг с другом. Мне слишком тяжело было начинать разговор о предстоящей разлуке, Игнасио тоже предпочитал не сообщать мне день своего отъезда.

Однажды, вернувшись домой, я объявила Игнасио:

— Представь, я еду в Америку!

Мы попытались улыбнуться.

Начиная с весны 1938 года, мне не раз предлагали поехать в США и взять на себя защиту интересов республиканской Испании перед американским народом. На эти предло-

жения я неизменно отвечала отказом: слишком много дела было в Испании. Но теперь мы особенно нуждались в помощи заграницы. Кто-то должен был сказать нашим американским друзьям, что борьба еще не кончена, что Центральную зону можно защищать, что Испания еще жива. Выбор пал на меня. Я решила выехать в Соединенные Штаты немедленно после того, как Игнасио вылетит в Мадрид.

— Тебе понравится в Америке,— сказал Игнасио, но я, боясь расплакаться, ничего ему не ответила.

Двадцатое февраля 1939 года.

Игнасио должен вылететь в Мадрид в десять часов вечера. Лететь через фашистскую территорию в темноте сравнительно безопасно.

Обычно мы наскоро закусывали в дешевом бистро, помещавшемся рядом с нашей старой грязной гостиницей. Но в этот вечер я решила принарядиться к обеду и надела лучшее из того, что еще оставалось в моем весьма скудном гардеробе.

Часов в семь мы пошли обедать. Игнасио повел меня в новый шестнадцатифранковый ресторан. Мы решили кутнуть напоследок и с преувеличенным вниманием принялись изучать меню. Игнасио поразил официанта, заказав лучшее вино, какое имелось в ресторане (кстати, оно оказалось не очень хорошим).

Мы болтали о разных пустяках. Я просила Игнасио поменьше курить.

— В Мадриде при всем желании много не покуришь,— улыбаясь, заметил он.

Нам подали солидный счет. Расплатившись, мы вернулись в гостиницу. Я раскрыла чемоданы и начала укладываться. Мы оба молчали.

Запирая чемоданы, Игнасио защелкнул замок, и в этом звуке, нарушившем тишину, мне послышалось последнее прости.

Мы потребовали счет от хозяина гостиницы, и, пока Игнасио расплачивался, я стояла рядом с ним и старалась запечатлеть в памяти каждое его движение.

Игнасио нанял такси. Несколько минут мы ехали молча. Где-то в глубине моего сознания возникла отчетливая мысль: «Игнасио никогда не вернется. Я его никогда не увижу. Мадрид падет, и я никогда его больше не увижу».

Словно, отвечая моим мыслям, Игнасио сказал:

— Иного выхода у меня нет. Если б можно было, я бы не расстался с тобой. Но ведь ты и сама не допустила бы, чтоб я остался.

Я кивнула. Да, он прав. Я бы не допустила, чтобы Игнасио изменил своему долгу. Если ему суждено умереть в Мадриде, значит, я должна примириться с этим. Он должен ехать, это единственный выход для честного человека.

Такси остановилось. Мы решили, что мне лучше не входить в аэропорт: французская полиция все еще разыскивала испанцев и отправляла в концентрационные лагеря.

Игнасио нагнулся, чтобы поцеловать меня, и ощутил на моем лице слезы.

— Не плачь,— ласково сказал он.— Ты только подумай: через несколько дней ты отправишь нам из Америки такое количество самолетов, что мы выиграем войну.

Я постаралась улыбнуться. И вот уже Игнасио скрылся из глаз.

В ту же ночь я выехала в Париж. В Гавре я должна была сесть на пароход, отходивший в Америку.

V

Э П И Л О Г

В Америке мне так и не удалось обратиться с призывом о помощи испанскому народу. Пятого марта нью-йоркское радио сообщило о перевороте, в результате которого вся территория республиканской Испании перешла в руки интервентов. Подробности заговора стали известны значительно позже.

В Центральной зоне у нас имелись мощные резервы. Шестьдесят дивизий, почти миллион человек под ружьем! Восемьсот орудий, танки, боеприпасы и некоторое количество самолетов. Военно-морской флот, более многочисленный и более сильный, чем у мятежников, разумеется, если не считать суда, предоставленные им их германскими и итальянскими союзниками. Наконец в наших руках оставались обширные районы, богатые ископаемыми и сельскохозяйственными продуктами. Но самым мощным нашим орудием являлось тесное единение испанского народа, достигнутое после прихода к власти национального правительства Негрина.

Негрин прибыл в Мадрид двенадцатого февраля, и первое его обращение к народу представляло собой призыв к единству: «Поддерживайте наше единство! Объедините все

свои силы для сопротивления! Заставьте мятежников принять условия, выдвинутые первого февраля в Фигерасе!»

Франко только что издал закон о «политической ответственности», согласно которому всякий боец, сражавшийся за демократию, а также все женщины и дети от четырнадцати лет, которые во время войны не оказывали активной помощи Франко, должны были быть подвергнуты репрессиям. Ясно, что при таких условиях республиканское правительство не могло пойти на мирные переговоры. Вот подлинные слова нашего премьера: «Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока не обеспечим независимость Испании. Мы должны во что бы то ни стало продолжать борьбу за ее независимость, иначе враг превратит нашу родину в море крови, ненависти и жестокости. Иначе иностранные захватчики поработят Испанию, и не только мы, но и наши дети и внуки будут стонать под игом насилия и террора».

Испанские газеты, выражавшие мнение всех политических партий и организаций, приветствовали правительство. Волна энтузиазма залила всю Центральную зону. Тысячи женщин заявили о своем желании занять места тех мужчин, которые еще работали в тылу. Женщины разгружали суда в четырех важнейших портах, принадлежавших правительству. Женщины вместе со стариками работали на полях.

С Мадридского фронта Негрин проследовал на Левантский. Предатели, окопавшиеся в столице, понимали, что присутствие правительства укрепляет народ в его решении продолжать борьбу и что поэтому им надо действовать возможно быстрее.

Псевдосоциалист Хульян Бестейро давно ждал этого момента. Правда, последователей у него не было, массы ему не доверяли, его неоднократные попытки свергнуть правительство Негрина кончались неудачей, но ему удалось приобрести союзника в лице полковника Сихисмундо Касадо.

Касадо, старый кадровый офицер, командовал центральной армией. Четвертого марта, когда Негрин все еще находился на Левантском фронте, в Картахене начался мятеж. Чтобы усилить блокаду, франкисты всеми силами старались завладеть этой военно-морской базой. Мятеж в Картахене — это дело их рук.

По обыкновению его начала «Пятая колонна», и подавить его было бы очень легко, если б гарнизон не получил от полковника Касадо приказа поддержать восставших. Бойцы гарнизона находились в состоянии полнейшей растерянности до тех пор, пока из Леванта не подоспели правительствен-

ные войска и не подавили фашистский мятеж. Но Касадо, запретив мадридским радиостанциям передавать правительственное сообщение о событиях в Картахене, дал о них заведомо ложную информацию.

Эти события взволновали народ и вызвали брожение, которое, конечно, было наруку капитулянтам. В ночь на пятое марта Касадо организовал в Мадриде так называемый «Национальный комитет обороны». Вместе с Бестейро, Мэрой и другими членами комитета он выпустил демагогический манифест, направленный против правительства.

Молниеносная расправа с картахенскими мятежниками заставила предателей, засевших в Мадриде, поторопиться.

Правительство решило сосредоточить командование всеми вооруженными силами в руках министра обороны, доктора Негрина. Исполнительная власть осталась за генеральным штабом. Некоторые лица из высшего командного состава были смещены и заменены другими, на деле доказавшими свою преданность республике. Но было уже поздно. Подполковник Сиприано Мэра, анархист, командовавший четвертой армией, предоставил своих бойцов в распоряжение полковника Касадо для ареста правительства и всех противников капитуляции.

В момент переворота, совершенного Бестейро при помощи изменников-офицеров, Негрин находился в маленьком городке под Аликанте. Он тотчас обратился к полковнику Касадо. Он даже готов был пойти на сотрудничество с «Комитетом обороны», лишь бы сохранить единство армии и гражданского населения.

Затем правительство попыталось установить связь с Валенсией и другими городами Центральной зоны. Но измена проникла всюду. Приспешники Касадо заняли все стратегические пункты в Центральной зоне.

Касадо не ответил Негрину. Тогда Негрин обратился к нему снова: «Не отдавайте народ в руки генерала Франко. По крайней мере, добейтесь у него обещания, что он не станет мстить. Спасите наш народ».

Но ответа все не было. Касадо молчал.

На заседание кабинета министров явился Игнасио.

— Войска Касадо идут на нас, — кратко доложил он. — Вы должны немедленно уехать.

Негрин встал.

— Никогда. Я и мое правительство, законное испанское правительство, — мы не оставим наш народ. Еще есть надежда.

— Разве вы не понимаете, что Франко поставил условием Бестейро и Касадо выдать ему вас и все правительство?

Негрин тяжело опустился на стул.

— Это невозможно!

— Увы, это так, — мрачно ответил Игнасио. — Полчаса назад я разговаривал с Касадо. Он все еще доверяет мне: ведь я был офицером при монархии. Он не сомневается, что я вас предам, поэтому он сообщил мне, что должен выдать вас и всех членов кабинета генералу Франко.

Вошел вестовой. Негрин прочитал вслух только что полученную телеграмму:

«Миаха присоединился к Касадо».

— Миаха в Аликанте. Он будет здесь через несколько часов, а может быть, минут.

Дряхлый генерал Миаха в тот момент, когда мадридцы с голыми руками ринулись на защиту родного города, неожиданно для себя самого попал в герои. С тех пор его имя не сходило с газетных страниц. Ему приписывались все победы Народной армии, хотя старый Миаха, никогда не пользовавшийся репутацией бравого генерала, активного участия в действиях правительственных войск не принимал.

Теперь, по наущению Касадо, Миаха предал народ, который в свое время сделал из него героя. За это Касадо пообещал Миахе вернуть сына, находившегося в плену у фашистов.

Выслушав сообщение о Миахе, Негрин встал.

— Раз у нас нет другого выхода, — сказал он с достоинством, — значит, нам придется прервать нашу работу. Встретимся на чужбине и там возобновим борьбу за свободную демократическую Испанию.

Члены кабинета и генерального штаба поднялись.

Игнасио повел их в аэропорт. У него было четыре «Дугласа» и два бомбардировщика, наскоро приспособленные для перевозки пассажиров.

Негрин, дель Вайо и другие члены правительства разместились в двух «Дугласах», которые взяли курс на Тулузу. Бомбардировщики, обладавшие меньшим радиусом полета, могли достичь лишь Орана, во французской Африке.

На рассвете Игнасио закончил эвакуацию испанского правительства. Сам он вылетел на последнем самолете вместе с Модесто, Листером и министром земледелия Висенте Урибе, который оставался с Игнасио, чтобы убедиться, что всем остальным удалось вылететь благополучно.

Как только был сформирован «Комитет обороны», четвертая армия, находившаяся под командой анархиста Мэры, получила приказ арестовать всех командиров, которые в действиях Касадо видели измену. В течение нескольких часов было арестовано свыше двух тысяч командиров и политических деятелей, противодействовавших изменникам.

Однако, прежде чем их успели арестовать, эти командиры, готовые сопротивляться до конца фашистским захватчикам, выступили против новых мятежников. Те же командиры и бойцы, которых Касадо обманул, обещав оказывать сопротивление войскам Франко, тоже, как только узнали правду, выступили против изменников. «Комитет обороны» был вынужден скрыться от народного гнева в подвалах министерства финансов.

Но измена была хорошо подготовлена. Как раз в этот момент войска Франко предприняли энергичное наступление со стороны Университетского городка. Командиры, сражавшиеся против Касадо, приказали своим войскам оставаться на фронте и не пропускать врага. Именно эти части остановили наступление франкистских войск и даже захватили у них некоторое количество военных материалов.

Но пока они вели последний бой с фашистами, предатели за их спиной готовились сдать Мадрид врагу без всяких условий. Паника распространялась с быстротой лесного пожара. Когда народ понял, наконец, что его предали, было уже слишком поздно.

По приказу Касадо было расстреляно немало офицеров и политических деятелей. Свыше двадцати тысяч патриотов было брошено в тюрьму.

Оправившись после первого потрясения, я снова принялась за работу. Я старалась помочь тысячам испанских беженцев.

С тех пор, как генерал Франко и итало-германские интервенты вступили в Мадрид, прошло несколько лет. И теперь никто уже не сомневается в том, что война в Испании, которую пытались изобразить как гражданскую войну, была по существу борьбой мирной демократической страны против захватнических армий Гитлера и Муссолини. Теперь оба диктатора открыто хвастаются в своих выступлениях победой фашизма в Испании. Они подробно рассказали о том, какую роль играли они в разгроме моей родины, начиная с июля 1936 года.

И теперь я больше чем когда-либо верю, что испанская демократия не умерла — она жива и будет жить.

Франко расстрелял тысячи людей. Еще и сейчас, когда я пишу эти строки, испанские фашисты продолжают расстреливать мужчин и женщин, оставшихся верными демократии. Тысячи испанцев томятся во французских концентрационных лагерях.

Но двенадцать миллионов испанцев, живших два с половиной года на территории демократической Испании, когда фашистские захватчики бомбили наши города и убивали наших детей, — ничего не забыли. Франко не в силах расстрелять все двенадцать миллионов.

Уже и теперь скудные вести, поступающие к нам из Испании, говорят о той борьбе, которую ведет испанский народ против иностранных угнетателей.

«Испания для испанцев! Да здравствует Республика!» — вот лозунги, под которыми борются мои соотечественники во франкистской Испании.

Фашистам не сделать Испанию фашистской. Испания снова будет свободной, и ничто не властно воспрепятствовать этому. Объединенный испанский народ возродит демократическую Испанию.

Viva la República!

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>I. Детство в старой Испании (1906—1923)</i>	3
<i>II. Замужество. Жизнь испанской женщины (1923—1931)</i> . . .	43
<i>III. Испания пробуждается (1931—1936)</i> :	98
<i>IV. Лучше быть вдовой героя, чем женой труса (1936—1939)</i> .	182
<i>V. Эпилог</i>	317

Редактор *Н. Любимов*
Подписано к печати 20 мая 1943 г. А464.
20,25 печ. л. 20,02 уч.-а. л. Цена 10 руб.
Тираж 10000 экз.

Типография „Искра революции“,
Арбат, Филипповский, 13.
Заказ 2492

48 П. 53 г. 15

1977

08

10 руб.

17

1907

1907